

Юрий
Кувалдин

1946

рассказы

Издательство
Книжный Сад
Москва
2016

ББК 84 Р7

К 88

*На передней стороне переплета: фрагмент картины
Александра Трифонова "Знак вечности", холст, масло, акрил, 60 x 80 см, 2014 г.
На задней стороне переплета: писатель Юрий Кувалдин.*

Кувалдин Ю.А.

К 88 1946: рассказы. - М.: Издательство "Книжный сад", 2016. - 352 с.

Книгу «1946» Юрия Кувалдина составили рассказы 2012-2014 годов. Сама жизнь порой навевает ужас, когда знаешь, что всё кончится смертью. Так размышляет человек, не вошедший в Слово, не постигший высшую премудрость той жизни, у которой нет смерти. Та, высшая, жизнь рождается только в тексте художественных образов. Ибо ничего нет в мире прямого, правдивого, раз и навсегда сказанного. Всё превращается под пером писателя в иносказание, в притчи, в символы. В извивы и изливы подтекста, доступного только посвященному. Художественное творчество непостижимо для людей живущих только в жизни, а не в тексте. На алтаре подвижника мысли лежит книга. Вся жизнь посвящена книге.

ISBN 978-5-85676-147-3

ББК 84 Р7

© Юрий Кувалдин, 2016

ЦВЕТЫ

Жена вошла в большую комнату с горшками фиалок в обеих руках. При слове "фиалки" представляются фиолетовые цветы, но самих фиалок здесь не было, были лопушистые листья, собранные в сферу, как гладко подстриженные округло купы деревьев.

В пятиэтажке на Азовской улице, у станции метро "Каховская", узкие подоконники. Да, собственно, подоконников вообще нет. Так, планочка в четыре сантиметра.

Жена была черноволоса, с несколькими тонкими седыми нитями, которые характерны для пожилых грузных, даже тяжеловесных женщин. Она и была смугла, с абсолютно черными глазами, когда радужная оболочка скрывала зрачки, и поэтому зрачком казалась вся эта радужная оболочка, и от этого было страшновато видеть её взгляд, да еще из-под тяжёлых, восточных, верхних век, которые хотелось поднять. И взгляд её был волооким, каким-то тягучим, расплывчатым, или задумчивым.

- Да да да цветы да иначе да не бывает да только с цветами да такими да в глиняных горшках да, - сказала она протяжно и ласково, даже как-то ватно, при этом всё время повторяя своё любимое "да".

На ней была синяя кофточка из легкой ткани в крупный белый горошек.

Размножала она фиалки довольно-таки простым способом. Отрезала листики и ставила их ножками через отверстие в картонке в стеклянные баночки из-под майонеза. Буквально через несколько дней можно было видеть, как волоконца корней выходят из кончика ножки листика в воде, быстро развиваются, превращаясь в белый корневой пучок, наподобие корней репчатого лука. Потом из этих баночек фиалки пересаживались в глиняные горшочки, коих накопилось бесчисленное количество, чему и бесконечно радовалась жена, видя труда своего творческого плоды.

На застеклённом балконе стояли трёхкилограммовые полиэтиленовые мешочки с землей, и батарея новых глиняных горшков.

- Ты еще, золотце, рассадила цветы, я вижу новые появились, - пробасил круглолицый с густыми седыми усами Чагинских, муж, надевая черную жилетку под пиджак.

На "их" у них была фамилия - Чагинских. Вы чьих? Мы - Чагинских!

Эти русские фамилии представляют собой особый тип, выдающий свое происхождение от формы родительного (и предложного) падежа множественного числа прилагательных: Белых, Черных, Крученых, Кудреватых, Долгих, Рыжих. По строгим нормам литературного языка такие фамилии не склоняются: лекции Черных, роман Седых, творчество Крученых и тому подобное. В непринужденном же нашем рассказе фамилия мужа как-то сама собой склоняется по принципу фамилий, оканчивающихся на "кий".

Чагинских и дома всегда ходил, как в школе, где преподавал химию, в костюме-тройке.

Ходил всё время в тройке с тех пор, как просидел в уборной два часа, стесняясь выйти, потому что в это время наведалась соседка, а он был в одних трусах, и пока жена два часа болтала с соседкой на кухне, откуда просматривалась дверь уборной, эти два часа проклинал в уединении всё на свете.

Жена поставила новые фиалки на самодельный стеллаж, совершенно забитый до отказа этими цветами. Кое на каких всё же виднелись мелкие белые, лиловые, синие цветочки. Стеллаж этот шаткий делали сами. Надо сказать, что зарплата у Чагинского была маленькая, а пенсия по болезни у жены - ещё меньше. Поэтому, практически, всё в квартире старались делать своими руками. Сколотили стеллаж из тонких досочек, подобранных у контейнера для хлама во дворе, куда выносили всё ненужное жильцы. Один край стеллажа привязали веревками к трубе отопления, другой край - за вбитые гвоздики, к косяку двери в соседнюю комнату.

Жена приложила пальцы ко лбу, прикрыла глаза, как бы задумавшись.

- Ты знаешь, я что-то неважно сегодня себя чувствую, давление, наверное, прыгает, надо измерить, хотела пошить немножко, но потом решила переставить сюда из той комнаты со столика эти цветы, - сказала жена и добавила: - Потом повозилась на кухне и сделала блинчики с творогом и зеленым луком.

- Тоже что-то голова как-то побаливает, но не очень, - сказал Чагинских. - Так уж человек устроен, что реагирует на каждое изменение погоды. Да ладно, умылся и полегчало. Я сейчас поем, и сбегаю в магазин за спиртным.

На стенах в розовых обоях с широкими вертикальными синими полосками в четыре ряда висели картины отца жены, серенькие и по смыслу, и по колориту. Такой соцреалистический шаблон с некоторой импрессионистической размытостью, но всё в серых тонах. И форматы все домашние. Даже не на холстах, а на фанерках. И рамки самодельные из тонких реек, как во дворце пионеров. И заметны были шляпки гвоздиков в этих рейках.

Жена сама училась в художественном училище. Сколько таких было учившихся, из которых ничего дельного не получилось. Занимали чьи-то места. Я раньше так думал. На самом деле мест чужих никто не занимает. Всем места хватит. Просто картины требуют всей жизни, без отвлечения на другие вещи, полная самоотдача и поиск своего пути, своего стиля, своих мыслей. И без вознаграждения.

Лет до тридцати жена ходила в березовую рощу с этюдником, писала березы, осины и кусты орешника. Они у неё выходили такие же серые и соцреалистические, как и у папы. Лучше у неё получались рисунки на ватмане. Она с усердием срисовывала горшки и чашки, с оттенками, с тенями. На том и кончилось её творчество. Ибо тут подоспел брак с Чагинским, который очаровал её своим басовитым голосом, игрой на гитаре, и тем, что он был строг в воспитании учеников в школе, где и жена работала учителем рисования до выхода на пенсию по инвалидности. Диабет прогрессировал.

После брака, практически, сразу, потому что у них отношения длились уже год, она родила сына. К нему они стали относиться как ко взрослому еще тогда, когда он учился в пятом классе. Дело в том, что именно тогда сын стал победителем математической олимпиады. Они стали его даже каким-то образом стесняться, мол, он "рубит" математику, как профессор, а они, гуманитарии, ничего в ней не смыслят. Хотя и преподавал Чагинских химию, но относил себя всем строем души к гуманитариям.

Уже в то время они начали понимать, что живут в параллельных реальностях. С шестого класса сын стал свободно переходить к математическому анализу. Институт он окончил без видимого напряжения, и с ходу защитил кандидатскую диссертацию. Но нашел в математике какую-то сферу, которую у нас не приветствовали, и считали пустой тратой времени, тупиковым направлением. Сын был упрям, и продолжал заниматься тупиком.

В конце концов, он решил уехать в Америку. Но сделать это было не так-то легко. Несколько лет "родные стены государства" чинили ему всевозможные препятствия. И всё же ему это сделать удалось. И с благословения родителей, сын уехал работать в гостеприимную Америку. И вот настало время, когда его уже неоднократно приглашают в Москву на симпозиумы по нелинейности пространства.

Взяв в руки гитару, Чагинских, поскрипев зубами, он всё время странно скрипел зубами, привычка такая у него была, очень низко, и, как всегда, не в ноту запел романс "Тёмно-зеленый изумруд" - вещь саму по себе очень сложную, трудную для исполнения, а тут получалось какая-то гудящая аэродинамическая труба.

Нет, ни пурпурный рубин, ни аметист лиловый,
Ни наглой белизной сверкающий алмаз
Не подошли бы так к лучистости суровой
Холодных ваших глаз,

цветы

Как этот тонко огранный,
Хранящий тайну черных руд,
Ничьим огнем не опаленный,
Ни в что на свете не влюбленный
Темно-зеленый изумруд.

Но самому Чагинскому, оглушенному своим поистине громовым басом, казалось, что он затмевает самого Федора Шаляпина, под чью пластинку Чагинских постоянно правил свой голос.

И ходил он необычно, с какими-то припрыгиваниями, при этом носки ступней располагались настолько врозь, что, казалось, они находятся в первой балетной позиции: пятки вместе, носки врозь, ступни соприкасаются пятками и развернуты носками наружу, образуя на полу прямую линию. Конечно, это только так казалось со стороны.

В школе он работал давно, и продолжал работать после пенсии. Он шел пешком до "Каховской", ехал по этой укороченной ветке до "Каширской", пересаживался на Замоскворецкую линию и доезжал до "Автозаводской", где и располагалась его школа.

Несмотря на угнетенное состояние от пения Чагинских, гости, воспитанные и музыкальные, аплодировали солисту. А что прикажете делать в гостях, когда хозяин вас достает пением? Ведь пение значительно приятнее бесконечной болтовни. Бывает ведь, соберется компания у какого-нибудь разговорчивого хозяина, и потом эту компанию к этому хозяину никогда больше не заманишь, потому что тот, наливая себе через каждые десять минут пятьдесят грамм водки, говорил без остановки три часа подряд, не давая вставить даже ни единого слова кому-нибудь из собравшихся, демонстрируя совершенно точное существование болезни под названием логорея. Недержание слов.

Проведя сверху вниз по струнам гитары большим пальцем правой руки, Чагинских уже готовился взять первую голосо-

вую ноту, пусть и приблизительно, как раздался ужасающий грохот, а Чагинскому по голове сильно ударило чем-то очень тяжелым.

Все вскочили из-за стола.

Рухнул стеллаж с цветами, а один горшок попал прямо по голове Чагинских, и еще слегка ранив некоторых из присутствующих, которые сидели, как и Чагинских, спиной к цветочной стене, и все горшки, как один, раскололись вдребезги обо всё, встретившееся на пути, а сам шаткий стеллаж лег на стол, пошибав с него бутылки, вилки и тарелки с закусками. Чагинских лежал без движений, в черепках, земле и листьях с белыми пучками корней. Он открыл глаза только тогда, когда муж сестры, врач офтальмолог, а по-простому - глазник, энергично приподнял его под локти и принялся встряхивать, как бутылку шампанского на пьедестале победителей автомобильных гонок формулы 1, чтобы было побольше пены, до тех пор, пока не появились признаки жизни, после чего уложил его на диван.

Гости как-то все притихли, и потихоньку начали расходиться.

- В другой раз!

- Через недельку!

Голова у Чагинского болела всю ночь, но к утру перестала.

Он рассказал жене то ли свой сон, то ли представление своё о сне:

- Мысль рождается через образ, возникающий спонтанно и, главным образом, во сне, но тут же исчезающий, как только ты открываешь глаза. Помнишь только стены, железную лестницу, висящий на одном крюке балкон. Стена стоит высокая, и всё с неё падает в какую-то бездну, которая оказывается дорогой. И ты уже едешь в автобусе, и даже не едешь, а рулишь автобусом, как в детстве, бегая вокруг клумбы на даче с крышкой от бака, как будто у тебя в руках руль того самого автобуса в котором ты едешь в бездне по дороге, ведущей к очень высокой стене, на которой болтается со скрипом и скрежетом металла под сильным ветром балкон, на котором ты стоишь. Причем, кругом

ночь, тьма, но ты сам себя отчетливо видишь в ярком свете осветительной пушки. Так в детстве я видел над Красной площадью высвеченные прикрепленные на дирижабле в круге профили Ленина и Сталина.

Чагинских замолчал, а жена сказала:

- У меня тоже много таких нелогичных сюжетов во сне. Можно было бы их как-то нарисовать. Жаль, что я бросила живопись...

- Да не стоит об этом думать, - вздохнул Чагинских.

- Я понимаю, но...

Чагинских промолчал.

В школу он пошел в несколько развинченном, но все-таки рабочем состоянии. В костюме-тройке. С портфелем. В фетровой черной шляпе с широкой шелковой лентой по ободку.

Проходясь вдоль доски, поскрипывая зубами, над чем ученики 9-го класса тихо посмеиваются, в своем черном костюме тройке, Чагинских говорит:

- На прошлом уроке мы познакомились с основной характеристикой подгрупп кислорода и азота. Мы видели, что теоретические знания могут позволить предсказать свойства вещества, как физические, так и химические. Сегодня я хочу познакомить вас с удивительным веществом, которое, на мой взгляд, имеет необыкновенные свойства. Девизом сегодняшнего урока я предлагаю взять известные высказывания Л. К. Полинга и О.М. Нефедова: "Я думаю, что химики - это те, кто на самом деле понимает мир. Этот огромный мир - удел химиков" (Л. К. Полинг). Подумайте, ребята, преувеличили ли значение химии эти ученые или они абсолютно правы? Сегодня на уроке мы будем пользоваться не только привычными для вас карточками-подсказками, но и опорным конспектом (он включает технологическую карту и вопросы к уроку) - все это вы видите на столах...

Школьники оживились, зашелестели конспектами, а Чагинских продолжил:

- Вещество, о котором пойдет речь, имеет древнюю историю. Вас взволновало то, что вы сейчас увидели, как густой

дым наполнил колбу и начал выливаться на стол? А представьте, как были взволнованы алхимики, когда имели дело с этим веществом! Посредине ливийской пустыни стоял храм, посвященный богу Амону Ра. В древности арабские алхимики получали из оазиса Амон, находившегося около храма, бесцветные кристаллы. Они звали вещество "нушадир", его растирали в ступках, нагревали - и всякий раз получался едкий газ. Сначала его именовали аммиак, а потом сократили название до "аммиак". В средние века этот газ называли почему-то "щелочной воздух", а его раствор и поныне называется "нашатырный спирт". Давайте, ребята, проведем небольшое исследование и решим, откуда у этого газа столь необычные свойства и названия. Формула аммиака - NH_3 , т.е. это водородное соединение азота.

Но тут Чагинских вдруг, отвлекаясь от темы, начинает рассказывать ученикам о Леонардо да Винчи.

- Мадонна с младенцем на руках - вечная и неисчерпаемая тема. Взгляните! С таинственных холстов, хранящихся в Эрмитаже, на нас смотрят прекрасные и загадочные лики мадонн Леонардо. На одной из них ("Мадонна с цветком") молодая мать, сама почти девочка, которая еще недавно играла в куклы, с наивной радостью и увлечением весело играет со своим младенцем. Другая Задумчивая и даже печаль ("Мадонна Лита"). В ее взгляде, полном материнской любви и нежности, уже угадываются предчувствия будущей судьбы сына, материнская боль за ожидающие его страдания и сознание своего бессилия избавить его от них. Мы считаем, что они красавицы. А Леонардо любовался не внешним обликом, а духом и утверждал: "Не всегда хорошо то, что красиво". И еще: "Хороший художник должен уметь писать две главные вещи: человека и представление его души". Но дано ли нам понять внутреннее значение этих картин? - скрипнув очень громко зубами, как будто он перегрызал кость, спросил у класса Чагинских, риторически спросил, не ожидая ответа, потому что пошел сам дальше. - Вершиной его мадонн стала Сикстинская. Необыкновенная чи-

стота юной матери с детским и в то же время самоотверженным взглядом, не по-детски прозорливый взгляд младенца, уже постигшего сокровенный смысл жизни в смерти, удивительная одухотворенность обоих - все это делает "Сикстинскую мадонну" одним из величайших созданий европейской живописи.

И Чагинских зарывался, поскрипывая зубами, как волчонок, между необъятными обнаженными грудями своей жены, утонул в бездонном чернокудром розовом лоне с головой, сам преображаясь в сексуальный цветок.

Чагинских почти заснул, когда почувствовал, что жена подходит к кровати. Они всю совместную жизнь спали вместе. Когда начинаешь анализировать это словосочетание "спали вместе", то на ум приходят разные мысли, главная из которых для десятилетий совместной жизни - "инерция", спали в самом прямом, без излишеств, смысле. Ложились и, закрыв глаза, засыпали, до утра, иногда вставая в туалет, но именно спали, как спят люди в одиночестве, ложатся и спят, с закрытыми глазами, иногда видя занимательные сны.

Чагинских приоткрыл глаза, увидел белую ночную рубашку жены, и, если бы на его глаза падал свет, то было бы заметно, что в них загорелись огоньки. По нитке дойдешь и до клубочка.

Когда глаза привыкают к темноте, то начинаешь видеть даже то, что при свете дня не замечаешь. Чагинских подтянул и согнул ноги, как это обычно делал, когда жена ложилась к стенке. Странное дело, всегда, когда вот так в рубашке жена приходила, Чагинских сразу же видел её голой. Ночная рубашка рядом говорила о том необходимом, что происходило между зарегистрированными в районом загсе 50 лет назад мужем и женой. Зарегистрированный секс. Не странным ли кажется, что для совершения акта любви требуется штамп в паспорте?! Они его давным-давно поставили, и теперь обнимались каждую ночь, иногда и днём. И им это бесконечное сближение не надоедало. Вот это самое поразительное!

Чагинских привычно, но в то же время и осторожно, с некоторым волнением положил руку на низ подола рубашки и, лаская через ткань мягкое тело, завернул подол до самого подбородка, обнажив необъятные груди, которые раскатились по бокам, как два мешка с сахарным песком. Именно вкус сахара каждый раз ощущал Чагинских, когда, сжав в ладонях одну грудь, целовал крепкий сосок, облизывая его языком, как варенье, отчего жена эротично вздрагивала.

И всегда это было новым, он как бы не верил, что перед ним лежит голая большая женщина, к которой он притрагивается первый раз в жизни. Всегда, и это очень странно, как впервые!

Затем он нетерпеливо, но в то же время не очень быстро, перевел руку на влекущие холмы ягодиц и бережно запустил пальцы, возбужденные, как и его всегда цветущий фаллос, к её изумительным и непостижимым волосатым недрам. При этом всегда как бы неожиданным, как бы сверх дозволенного, как бы совершенно невероятном с точки зрения приличия движении рук мужа полные и нежные ляжки жены плавно и широко раздвинулись, пропуская желанно осторожные пальцы мужа во влажное скользкое горячее лоно.

Жена погладила прохладной ладонью живот мужа, опустила руку ниже и обхватила возбужденный цветок пальцами и крепко сжала.

Прежде жена никогда этого не делала.

Чагинских ощутил ещё больший прилив желания.

Но дальнейшее было для Чагинского сущим откровением.

Жена отбросила одеяло, приподнялась, как бы рассматривая величественный фиолетовый цветок, затем склонила к нему лицо, и осторожно обхватила твердую, налитую силой сферу губами, шире открыла рот и пропустила нежно и сладостно почти весь цветок до самого маленького гортанного язычка...

- Стой! - закричал в это время поручик Пирогов, дернув шедшего с ним молодого человека во фраке и плаще. - Видел?

- Видел, чудная, совершенно Перуджинова Бианка.

- Да ты о ком говоришь?

- Об ней, о той, что с темными волосами. И какие глаза! божье, какие глаза! Все положение, и контура, и оклад лица - чудеса!

В субботу снова, по заведенному распорядку, как на репертуарный концерт, собрались гости. Чагинских не мог без них. Он каждую неделю всех обзванивал и собирал на свои домашние концерты.

Каким-то новым взглядом обвел Чагинских комнату и гостей, поднялся, прошелся осторожной походкой туда-сюда по квартире, и вдруг почувствовал, что в душе его произошла какая-то необъяснимая перемена.

Выпили с нескрываемым удовольствием, и как-то само собой, тихо и мирно, сгладились. Пошли сначала сдержанно, тихо, а потом оживленнее и громче разговоры на отвлечённые, как это обычно бывает, темы. Выпили после небольшого перерыва еще. Потом, практически, тут же повторили. Кто-то наигранно весело, с явным пережимом крикнул:

- За талант хозяина!

Его дружно поддержали, зазвенели бутылки и рюмки, застучали вилки по тарелкам.

Чагинских, погладив свои седые усы, и заметно волнуясь, предложил тост за жену. И она воскликнула, веселя:

- За цветы! - и прибавила обычное, как бы скороговоркой, просто так, для себя, но чтобы слышали все: - Да да да цветы да иначе да не бывает да только с цветами да такими да в глиняных горшках да...

- Да, да, да за цветы! - каким-то другим, как будто бы и не его, мягким и проникновенным голосом поддержал муж, поглаживая голову.

Все как-то по-особенному прислушались к его новому голосу.

А Чагинских взял гитару. Сосредоточился. Все уже готовы были снисходительно принять зубовный скрежет, но его не последовало. Он задумчиво и грустно этим другим голосом с точностью до ноты запел романс "Темно-зеленый изумруд".

юрий кувалдин

Мне не под силу боль мучительных страданий;
Пускай разлукою ослабят их года, -
Чтоб в ярком золоте моих воспоминаний
Сверкали б вы всегда,
Как этот тонко ограненный,
Хранящий тайну черных руд,
Ничьим огнем не опаленный,
Ни в что на свете не влюбленный
Темно-зеленый изумруд.

Ещё некоторое время в полнейшей тишине жалобно звенела гитарная струна, когда умолк Чагинских.

Никто из гостей, как ни пытался, не мог узнать в нём прежнего навязчивого самодеятельного, дующего в одну дуду любителя пения. Пред ними выступал настоящий артист, исполнитель великих русских романсов.

"Наша улица" №148 (3) март 2012

КНЯЗЬ

Всему свой ряд и лад и срок:
В один присест, бывало,
Катал я в рифму по сто строк,
И всё казалось мало.
Был неогляден день с утра,
А нынче дело к ночи.
Болтливость - старости сестра, -
Короче. Покороче.

1969

Александр Твардовский

Он стоял в ванной перед зеркалом и намыливал щеки для бритья. Брился он с 5 класса.

Зазвонил в прихожей телефон. С намыленными щеками он подбежал, поднял трубку.

- Можно Аделаиду Никифоровну? - раздался басовитый мужской голос.

Прижав трубку к груди, крикнул в сторону кухни:

- Ма, тебя к телефону.

Из кухни вышла высокая, большая женщина в шелковом с розами по черному фону халате.

Он продолжил бритьё.

Он собирался на пруд купаться. С подружкой.

- Хороший день, - сказал он, приставив козырек ладони от солнца ко лбу.

Она промолчала, шла тихо.

И он замолчал. Так и шли.

Князь, можно было подумать, что фамилия у него была "Князев", но нет, фамилия у него была самая обыкновенная - "Мышкин", а вот прозвали его "Князем" потому, что он всю дорогу читал роман "Идиот", и сколько его знали ребята, он всё время таскал с собой эту книгу, и сейчас на пруд он притащил-

ся с нею. Тогда многие стали читать этого "Идиота", потому что по телевизору показали такой фильм с артистом Юрием Яковлевым из театра Вахтангова в роли этого самого Мышкина.

А Мышкин как узнал, что у князя была фамилия "Мышкин", так сразу вцепился в книгу. Сначала он, конечно, очень обиделся.

И ещё изумился, что там действует Аделаида, как его мама.

- Мам, а ты знаешь, что ты есть в "Идиоте"? - спросил Князь.

- Конечно, - воскликнула мама, помешивая овсянку в ковшике. - Это дедушка так меня назвал. Он обожал Достоевского.

- Он и сейчас в Париже преподает Достоевского? - спросил Князь.

- Да.

Большая комната вся была в книгах, справа и слева до потолка возвышались книжные шкафы.

Но школа отбила интерес к классике. Князь с восторгом читал всё антисоветское: Солженицына, Шаламова, Мандельштама, Булгакова - то есть всё то, что читали под партой его сверстники.

У нас здесь всё делается поперёк!

До этого Мышкина он уже один раз удивлялся фамилии "Мышкин", не своей, к своей он привык, а вратаря хоккейной команды "Крылья советов". В воротах стоял Мышкин. Прямо опечалился, как это так может быть. Объясняли ему - это однофамильцы. Но почему? Отвечали, что когда-то, в давние времена, были родственниками.

А у нас так повелось, как что по телевизору покажут, так то сразу начинают все вместе читать, все экземпляры в библиотеках разберут и дружно всей страной читают. Бывало, едешь в метро, а все только то и делают, что читают "Идиота", дожидаясь того места, когда Настасья Филипповна начнет деньги в камин швырять.

Но до камина Князь ещё не дочитал. Он очень хотел дочитать до этого места, но прочитав с самого начала страниц десять, останавливался. По разным причинам. Но главная из них

была - невыносимая скука, которая охватывала Князя после первых же строк романа. Черт знает, сколько раз он начинал читать роман, но так и не продвинулся дальше этих десяти страниц.

Он открывал книгу почему-то всегда с самого начала, пролистывал титул и натыкался на первые фразы:

"В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что насилу рассветело; в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы; но более были наполнены отделения для третьего класса, и всё людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые, под цвет тумана..." И тут Князь останавливался.

Какой-то тормоз срабатывал. Стоп, и далее ни в какую!

А хотелось заставить себя дочитать, хотя бы первую часть. А их, заглядывая в конец книги, в оглавление, четыре. Спрашивать у ребят, читали ли они "Идиота", он не решался из-за опасения поставить друзей в неловкое положение. Они скажут, что читали, а на самом деле только смотрели кино. Многие так и отвечали. А Князь полистал эту толстенную книгу и понял, что кино-то кончается только на первой части. Князь выхватывал куски, фразы. Даже в самый конец романа заглядывал, чтобы узнать, чем там всё дело кончится, но ничего не понимал.

Вообще, надо сказать, это был какой-то неподъемный для Князя текст. Вроде сначала он понимал слова, а потом, по мере нарастания этих слов, он переставал понимать, что там и к чему.

Даже под настроеньице не получалось пройти дальше. Вроде бы настроился, начинает вчитываться, а тут тебе тяжелые, плохоперевариваемые вещи, какие-то усложненные, не как принято писать в романах. Хотя бы того же Льва Толстого. Пишет - и всё видишь, понимаешь. А у Достоевского ничего не

видно, нет лиц, нет картин, хотя он рисовать их пытается, но образы и лица тонут в безостановочном потоке слов.

Вот у тропинки слева, под кустами, расселись какие-то цыгане, разложили на газете закуску, и сидят весело выпивают.

Одна с золотыми зубами зовет:

- Молодые, садитесь к нам, стаканчиками чокнемся!

Князь с некоторым испугом ответил:

- Спасибо, мы к урокам готовимся. - И приподнял в руке толстую свою книгу.

Они шли по аллее к пруду.

Много лишних слов написал Достоевский.

Это теперь туго уяснил Князь. Но отказаться от чтения "Идиота" не мог.

И опять попадал на то самое, которое почти наизусть выучил: "В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что насилу рассветело; в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы; но более были наполнены отделения для третьего класса, и всё людом мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые, под цвет тумана..." Нажми, водитель, тормоз наконец!

Какой тормоз? А это он на маге с ребятами слушал:

Нажми, водитель, тормоз, наконец,

Ты нас тиранил три часа подряд.

Слезайте, граждане, приехали, конец -

Охотный ряд, Охотный ряд...

Заставлял сам себя. Поставил задачу, не перепрыгивая с куска на кусок, прочитать подряд весь роман. Так эту задачу нужно решить. Ну, чтоб самому перед собой не было стыдно. И вот Князь почти третий месяц носит всюду эту книгу, что называется, мусолит без толку.

- К каким урокам? - спросила девочка.

Две вороны пролетели над головой, держа в клювах с двух сторон батон, летели параллельно и не падали, и не роняли батон.

- Это я так, - сказал Князь, и пожал плечами.

Он остановился.

Всюду на аллее было битое стекло, какие-то ржавые гвозди, бутылочные пробки...

Князь зачем-то пригласил эту девочку. Сидели на берегу, смотрели на воду, и стеснялись раздеться. За спиной тихо шелестели листвой березки. Как это чувство передать? Пошел с девочкой купаться на пруд. Место Князю там понравилось. С ребятами несколько раз сюда раньше ходил. А тут решил с девочкой пойти. Хотя встречался с ней два три. Читать под палящим солнцем на берегу - было полнейшим идиотизмом. Что бы сказала девочка? Даже еще не целовались.

Как-то Князь пошел в соседнюю школу на вечер, где и познакомился с ней, ученицей 8 класса, пригласив с колоссальным чувством стеснения её на танго.

И вот сидят у большого пруда, недалеко от станции электрички, и не могут пошевелиться. Она какая-то странная, молчит всё время. И у Князя от этого какое-то торможение возникло, как будто вообще говорить разучился.

Когда встретились, она спросила, кивая на книгу в газетной обертке:

- Что читаешь?

Князь поднял глаза.

- "Идиота".

- А-а, - протянула она рассеянно и замолчала.

Вокруг была Москва, с рельсами, с электричками, с заборами и бесконечными складами.

Они шли по забору в зелени, сочной среди лета и жаркого дня, погруженные сами в себя, смотря по сторонам и не видя ничего. Далеко начинался шум за спиной, въезжала в слух эле-

ктричка, шум нарастал, свист, вой, скрежет тормозов. А они уходили по аллее все дальше от путей, от складов и заборов. Нужно было идти и о чем-нибудь болтать, но Князь впал в какое-то сопротивление речи. Он крутил, как колеса велосипеда, в своей голове какие-то фрагменты неясных образов, пытался облечь их в слова, но один вид спутницы заковывал его уста. Трудно объяснить, что это было за состояние у школьника 9 класса.

Князь забыл, но, кажется, её звали Наташа. Беленькая, волосы длинные, сзади собраны резиночкой. Глаза голубые. Верхняя губка вздернута. Добавить ли, как он Наташу провожал в Измайлово, где она занималась в конной секции? Это для Князя было странно. Такая красивая девочка, и трясется на лошади. При этом он чуть отставал и быстро, чтобы Наташа не заметила, смотрел на её попку, не большую, и не маленькую, но такую, которую очень хотелось погладить.

Его сердце учащенно забилося, испуганное, но с едва чувствуемым проблеском надежды.

И тут против воли, как будто это был не он, Князь взял и ущипнул ее за эту соблазнительную попку.

А Наташа хоть бы хны! Или сделала такой вид. Хихикнула, но не проронила ни слова.

Когда Князь ходил по улицам, в школу, или просто с ребятами прошвырнуться, то всё время вглядывался в лица прохожих, чтобы убедиться, что "все лица были бледно-желтые, под цвет тумана". Он, конечно, без тумана вглядывался, и собственно, тумана настоящего никогда у себя на Перовской улице не видел. И где эти бледно-желтые лица гуляют? Может быть в Кусково? На улице Юности. Вот это в самый раз. На улице Юности Достоевский разглядел бледно-желтые лица Рогожина и Мышкина. То есть моё лицо разглядел.

В это время Князь повернул и приподнял свое лицо к солнцу, чтобы оно перестало быть бледным, да еще с желтизной.

И, конечно, нужно было прочитать "Идиота", и мама всё время об этом говорила, потому что маму звали Аделаидой.

Редкое имя. Для кого-то другого. А для Князя было самое привычное. Аделалиада.

И Князь услышал.

На скамейке сидели две женщины, разговаривали.

- Это всё философия, - заметила одна, обращаясь прямо к нему, как будто они давно были знакомы, - вы философ и нас приехали поучать.

- Вы, может, и правы, - улыбнулся Князь, - я действительно, пожалуй, философ, и кто знает, может, и в самом деле мысль имею поучать... Это может быть; право, может быть.

Князь не удивился, но прошел с подружкой дальше.

Через некоторое время попалась другая скамейка, на которой сидел бородатый человек со спортивной сумкой на коленях. Пока Князь с подружкой приближался к нему, тот вынул из сумки пластиковый белый пакет, поднёс ко рту, мелькнуло горлышко плоской бутылки, должно быть коньяка, отпил, чуть-чуть поморщился, и поспешно спрятал бутылку.

- Молодой человек, - сказал он, когда Князь с подружкой поравнялся с ним, - у меня есть, что вам рассказать по той книге, - он кивнул на толстую книгу под мышкой у Князя, - которую вы никак не можете одолеть.

Князь сильно удивился. Откуда мог знать бородач, что и как читает он?

- Так вот, - сказал, поднявшись, бородач, - я просидел в тюрьме двенадцать лет. Впрочем, дайте-ка книгу. - И он, не глядя, без спросу, вытащил из-под мышки Князя книгу. Но открывать её не стал, а сразу глухим, каким-то сиплым голосом, стоя перед Князем, забубнил, как дьячок на амвоне:

- Прямо на площади возле церкви сколотили сцену, вроде летней эстрады, эшафотом еще её называют. Там поставили три столба. Привязали меня к одному. Солдаты ружья подняли. Лучи церковного креста бьют мне в глаза...

- Лучи, - повторил еще раз Князь.

- Потом мешок на голову мне нахлобучили...

- Мешок, - повторил Князь.

- Ну и почему же вы не можете пойти далее десятка страниц? - спросил, закашлявшись с хлипами и хрипами человек.

- Да если б там так было кратко сказано, как вы только что описали, я бы всё прочитал взахлёб... Но там же такой наворот слов, что в них тонешь! Ну всё уже, кажется сказал, так нет, вот вам еще, пожалуйста семьсот двадцать три словечка на закуску! - воскликнул Князь. - Вроде бы по отдельности слова понятны. А как их все вместе начинаю читать, то теряю смысл.

И вот то же место Князь обнаружил в книге. Именно обнаружил, почти на целую страницу, что в три слова выразил пьяненький.

Куда столько слов?! Убийца смыслов!

- Мама, а ты сама можешь читать Достоевского? - спросил Князь, садясь завтракать.

- Ну, это исключено. Я люблю Хемингуэя. Вот кого читать истинное удовольствие. Я очень люблю его "Праздник, который всегда с тобой".

- Ты права, - сказал Князь. - Я сам с восторгом эту вещь читаю. Париж, художники... У Эренбурга тоже этот свободный художественный Париж описан. "Люди, годы, жизнь" чудесная книга.

Мама, задумавшись, посмотрела в окно. Её профиль походил на профиль Ахматовой в молодости, на тот период, когда она позировала Модильяни.

- Кстати, - сказала Аделаида Никифоровна, - Эрнест Хемингуэй тоже говорит с большим недовольством в этой вещи о Достоевском. И прямо говорит, что он чрезвычайно многословен.

Лучи от водной глади били в глаза. Князь заслонился ладошкой.

- Ключет! - закричал какой-то рыбак поодаль своему задремавшему приятелю.

Смелый писатель Достоевский. Он повторяет свою петрашевскую историю почти во всех своих произведениях, и забывает об этом.

Ладно.

Хоть до этого места теперь дочитал.

- А вот ты почитай дневники Елены Штакеншнейдер, - сказала мама.

- Где они стоят? - спросил Князь.

- В среднем ряду над телевизором, между болотным Достоевским и Людмилой Сараскиной.

- А... Вот! - отозвался князь, снимая с полки старую в коленкоровом коричневом переплете книгу.

Книга была с пометками, с номерами страниц, вынесенными на форзац, вернее - на нахзац, задний форзац. Должно быть, дед в своё время пометил. Князь принялся читать по этим указаниям:

"1880 год

Воскресенье, 19 октября.

Сегодня были опять все наши и еще Бестужева и Достоевская с детьми. Дети играли и резвились, а большие не резвились, но тоже играли в карты в моей комнате, чтобы не мешать детям. Мы, то есть Соня, Маша, Оля и я, сидели с Анной Григорьевной. И отвела же она наконец свою душу. Сестры слушали ее в первый раз и то ахали с соболезнаванием, то покатывались со смеха. Действительно, курьезный человек муж ее, судя по ее словам. Она ночи не спит, придумывая средства обеспечить детей, работает, как каторжная, отказывает себе во всем, на извозчиках не ездит никогда, а он, не говоря уже о том, что содержит брата и пасынка, который не стоит того, чтобы его пускали к отчиму в дом, еще первому встречному сует, что тот у него ни попросит.

Придет с улицы молодой человек, назовется бедным студентом, - ему три рубля. Другой является: был сослан, теперь возвращен Лорис-Меликовым, но жить нечем, надо двенадцать рублей, - двенадцать рублей даются. Нянька старая, помещенная в богадельню, значит, особенно не нуждающаяся, придет, а приходит она часто. "Ты, Анна Григорьевна, - говорит он, - дай ей три рубля, дети пусть дадут по два, а я дам пять". И это повторяется не один раз в год и не три раза, а гораздо, гораздо чаще. Товарищ нуждается или просто знакомый просит - от-

каза не бывает никому. Плещееву надавали рублей шестьсот; за Пуцыковича поручались и даже за м-м Якоби. "А мне, - продолжала изливаться Анна Григорьевна, - когда начну протестовать и возмущаться, всегда один ответ: "Анна Григорьевна, не хлопочи! Анна Григорьевна, не беспокойся, не тревожь себя, деньги будут!" "Будут, будут!" - повторяла бедная жена удивительного человека и искала в своей модной юбке кармана, чтоб вынуть платок и утереть выступившие слезы; а сестры меняли смех на ахи!

"Вот получим, - всхлипывая, говорила она, - от Каткова пять тысяч рублей, которые он нам еще должен за "Карамазовых", и куплю землю. Пусть ломает ее по кускам и раздает! Вы не поверите, на железной дороге, например, он, как войдет в вокзал, так, кажется, до самого конца путешествия все держит в руках раскрытое портмоне, так его и не прячет, и все смотрит, кому бы из него дать что-нибудь. Гулять ему велели теперь, но он ведь и гулять не пойдет, если нет у него в кармане десяти рублей. Вот так мы и живем. А случись что-нибудь, куда денемся? Чем мы будем жить? Ведь мы нищие! Ведь пенсии нам не дадут!"

И в самом деле ее жаль, трудно ей в самом деле. Но как не удивляться ему и не любить его? А еще говорят, что он злой, жестокий. Никто ведь не знает его милосердия, и не пожалуется Анна Григорьевна, и мы бы не знали. Я слышу все это, и еще гораздо больше, не в первый раз; она часто жалуется мне в этом роде и плачет.

<...>

Он много рассказывал о Сибири, о каторге, о поселении, но передать его рассказы уж не могу, не припомню теперь, да и перепутались они с "Записками из Мертвого дома" и кое-чем из "Дневника писателя". Но один рассказ как-то врезался в память, а именно о том, как счастлив он был, когда, отбыв каторгу, отправлялся на поселение. Он шел пешком с другими, но встретился им обоз, везший канаты, и он несколько сот верст проехал на этих канатах. Он говорил, что во всю свою жизнь не был так сча-

стлив, не чувствовал себя никогда так хорошо, как сидя на этих неудобных и жестких канатах, с небом над собою, простором и чистым воздухом кругом и чувством свободы в душе.

Жили Достоевские где-то далеко, и жили бедно и в каком-то странном доме. Не припомню теперь, какой он был, каменный или деревянный, но помню, что к ним вела какая-то странная лестница и потом открытая галерея. Кто-то заметил, что Достоевский всегда любил квартиры со странными лестницами и переходами; такова была и та. Я робела, а встретил он меня в высшей степени ласково, даже более того, точно я ему оказала какую-то честь своим посещением, познакомил со своей женой и сказал, что помнит и меня и всех нас и помнит даже, в каких платьях я ходила десять лет тому назад, и что рад возобновить знакомство.

Достоевский не вполне сознавал свою духовную силу, но не чувствовать ее не мог и не мог не видеть отражения ее на других, особливо в последние годы его жизни. А этого уже достаточно, чтобы много думать о себе. Между тем он много о себе не думал, иначе так виновато не заглядывал бы в глаза, наговорив дерзостей, и самые дерзости говорил бы иначе. Он был больной и капризный человек и дерзости свои говорил от каприза, а не от высокомерия. Если бы он был не великим писателем, а простым смертным, и притом таким же больным, то был бы, вероятно, так же капризен и несносен подчас, но этого бы не замечали, потому что и самого его не замечали бы.

Чем больше я думаю о Достоевском, тем больше убеждаюсь, что значение его среди современников вовсе не в литературном его таланте, а в учительстве.

Как сравнить его как романиста с Тургеневым? Читать Тургенева - наслаждение, читать Достоевского - труд, и труд тяжелый, раздражающий. Читая Достоевского, вы чувствуете себя точно прямо с утомительной дороги попавшим вдруг в незнакомую комнату, к незнакомым людям. Все эти люди толкуются вокруг вас, говорят, двигаются, рассказывают самые удивительные вещи, совершают при вас самые неожиданные действия. Слух ваш, зрение напряжены в высшей степени, но не гля-

деть и не слушать невозможно. До каждого из них вам есть дело, оторваться от них вы не в силах. Но они все тут разом, каждый со своим делом; вы силитесь понять, что тут происходит, силитесь присмотреться, отличить одного от другого людей этих, и если при невероятных усилиях поймете, что каждый делает и говорит, то зачем они все тут столкнулись, как попали в эту сутолоку, никогда не поймете; и хоть голова осилит и поймет суть в конце концов, то чувства все-таки изнемогут.

Его называют психологом. Да, он был психолог. Но чтобы быть таким психологом, не надо быть великим писателем, а надо уметь подходить к душе ближнего, надо самому иметь душу добрую, простую, глубокую и не умеющую презирать.

Надо иметь не гордую душу, а мягкую, склоняющуюся, которая может нагнуться, умалиться и пройти в душу ближнего; а там уже видно, чем больна эта душа и чего ей нужно, можно понять ее. Вот его психология и психиатрия, и это к писательству не относится, хотя он умеет об этом писать. Лучше сказать, к таланту романиста не относится.

Достоевский знает все изгибы души человеческой, предвидит судьбы мира, а изящной красоты от пошлой не отличит. Оттого ему и не удаются женские лица, разве одни только мещанские. Многие, со страхом подходя к нему, не видят, как много в нем мещанского, не пошлого, нет, пошл он никогда не бывает, и пошлого в нем нет, но он мещанин. Да, мещанин. Не дворянин, не семинарист, не купец, не человек случайный, вроде художника или ученого, а именно мещанин. И вот этот мещанин - глубочайший мыслитель и гениальный писатель".

Князь даже не заметил, как с непонятым увлечением прочитал всё это. И подумал, вот так бы интересно писал сам Достоевский.

Весь мир, вся жизнь состоят из разных совпадений. Но вот это интересно, как это сам Достоевский рассказал о своей казни своему герою Мышкину? И где и при каких обстоятельствах встречался Достоевский с Мышкиным? Откуда Достоевскому стала известна фамилия Мышкина и его мамы?

Ответьте, будьте любезны?

Дед в Париже преподаёт Достоевского, а я его никак не разгонюсь прочитать. Что-то постоянно тормозит. Что?

Нет ответа.

Молоденькие. На пруду. Пахнет водорослями, рыбой. Он первый раз с девушкой. Пригласил её. Беленькая, со вздернутой верхней губкой, видны передние белые резцы. Стесняются раздеться. Князь сидел с ней в одеждах почти без движений. Очень странное стеснение. Какое-то одеревенение. До красноты.

Князь был в белых брюках, Наташа была в белой юбке. На траве сидеть было опасно, дабы не испачкаться, не подзеленить одежду. Покрывал, подстилок они с собой не взяли. Поэтому он сидел на романе "Идиот", толстой книге, положив её на бугорок, а Наташа сидела у него на коленях. И он боялся пошевелиться, ощущая с каждой минутой страшную энергию возбуждения.

А вы слышали барабанный бой перед казнью?

Князь едва заметно для самого себя, медленно, очень медленно пропустил свою ладонь под её маечку на живот, и стал опускать руку по телу всё ниже, пока пальцами не почувствовал колющую щетину, каковую утром обнаружил на своих щеках. Он в испуге остановил руку. Наташа оглянулась глаза в глаза, и тихо сказала:

- Ну это после того... Я сделала...

- Что? - не понял Князь.

- Ну это... Неужели ты не понимаешь? - голос её дрогнул, и она напряжённо замолчала, чтобы подавить стыд. На глазах у нее выступили слезы.

Князь пытался понять, но в голове стоял другой Князь.

ЗАКУРИТЬ

Тут суть вот в чем. Мы с Широковым после коньячка вышли через длинную арку подворотни из Сверчкова переулка в Потаповский.

По старой Москве вечерней, синей.

Ну это там через двор, одна часть которого была ещё покрыта тонкой коркой почти черного льда, а другая казалась почти белой от высохшего асфальта, и вот между льдом и асфальтом пробегала зигзагообразная, как молния, линия длинной лужи, отражавшая в сумерках светящиеся кое-где окна домов и фонари, ну там, в этом большом дворе, где стоят каменные палаты семнадцатого века, красные, с белыми наличниками.

Словно во двор монастыря попадаешь.

Была неестественная для центра тишина. Мы сели на скамейку и выпили из белых пластиковых стаканов, которые хорошо были заметны в темноте, за два раза маленькую, уж чуть побольше тех двух, что мы проглотили прямо в клубе, в 250 грамм коньяка. От легкого весеннего опьянения захотелось закурить. И это при том факте, что я двадцать лет не курил. Широков, кажется, курил до недавнего времени.

В это время у Широкова в кармане зазвонил мобильник. Полный Широков какими-то тяжелыми движениями, с одышкой расстегнул пуговицы плаща, покопался в карманах, и извлек белого цвета мыльницу. Мыльница-мобильник была приложена к уху. И по откликам Широкова стало понятно, что его ведет на коротком поводке жена.

- Да я уже вышел из клуба, - оправдывался Широков.

От подъезда клуба я сразу пошел на противоположную сторону, к подворотне, ведущей на Малую Лубянку...

Правильнее было бы сказать, от подъезда Торгового дома Трындина. Об этом потом хорошо написала в своём блоге Маргарита Прошина:

"Я с Анной Гришуниной, заместителем директора библиотеки Плехановского института, от клуба МВД на Большой Лубянке пошла вниз к Лубянской площади. Вечер был синий, как у Михаила Анчарова вещь, которой мы зачитывались в юности "Этот синий апрель", кстати говоря - эту вещь хотели ставить в студии Владимира Высоцкого и Геннадия Яловича. Мы шли почти по сухому московскому асфальту, любуясь фасадами старых московских домов. На некоторых лепных карнизах сидели голуби. Дома я посмотрела историю дома № 13, в котором расположен ныне клуб МВД России, по Большой Лубянке, называется, он принадлежал одному из богатейших граждан Москвы купцу Трындину. Там, где играли в начале 60-х годов свои спектакли молодые Владимир Высоцкий, Георгий Епифанцев, Валентин Никулин, Елена Ситко и будущий писатель, студиец Юрий Кувалдин, у Трындина был огромный, как ныне говорят, торговый центр, где продавалась оптика, которая в то время была столь же нова, как ныне компьютеры и мобильники. Обо всем этом мне рассказала перед началом великолепного концерта Анатолия Шамардина Нина Краснова, пригласившая нас на этот вечер. Анна Гришунина сказала, что, несмотря на иноязычные изыски певца, ей больше всего понравилось в его исполнении знаменитое танго "Утомленное солнце". Мы шли, и дышали предвкушением неминуемой весны".

На концерте я сидел рядом с Маргаритой Прошиной, напоминавшей мне одну из пышных светловолосых красавиц с рубенсовских картин, и однажды, глядя на сцену и состроив притворно грозную мину на лице, когда Шамардин запел песню о любви на японском языке, проронил:

- Убирайся со сцены, кому я сказал! - Конечно, это я проговорил тихо, а не так громко, как это кричат из зала расслабленные ребята в "Риме" Федерико Феллини, недовольные выступлением одного артиста. - Я кому сказал, уходи со сцены! - повторил я, и Маргарита Прошина заслонила лицо ладонью и прыснула со смеху, при этом выразительно мелькнули красивые пальчики с бордовым маникюром.

- Мне тоже не нравится, когда Шамардин поет на иностранных языках, - сказала она.

- Да, - согласился я. - Теряется и смысл и сама художественность. Ведь в песне важно всё, и то, и другое. Я много раз говорил об этом Шамардину, даже предлагал программу из русских песен.

- И что же он? - спросила Маргарита.

- Но зачем, спрашивается, Шамардину на корпоративах и в ресторанах смыслы?! Там нужны два притопа, три прихлопа, что и здесь на концерте он показывает, выбегая со сцены в зал то ли с немецкими, то ли с греческими выкриками, которые бьются в стены, как шарики для пинг-понга, без душевного отклика зрителей.

- Шарики?

- Шарики... Вы же помните, Маргарита, как он здорово пел в галерее на моем юбилее?!

- Да, он пел замечательно, - согласилась Маргарита.

- Это потому, что я его ограничил пятью песнями из репертуара Георгия Виноградова.

В это время Шамардин закончил одну песню на греческом языке и собирался петь другую на итальянском, из репертуара, кажется, Клаудио Виллы. Я воспользовался короткой паузой и промурлыкал один куплет из Виноградова:

Счастье моё я нашёл в нашей дружбе с тобой,
Всё для тебя - и любовь, и мечты...
Счастье моё - это радость цветенья весной,
Все это ты, моя любимая, всё ты...

- Какой чудесный вечер, - сказал Широков. - Надо бы добавить.

До этого Нина Краснова за успешное окончание концерта вручила мне маленькую, прямо-таки детскую, бутылочку коньяка, в сто грамм объемом. Мы вернулись с Широковым уже в опустевший зал, сели на первый ряд, я отвинтил крышечку и

дал выпить первому Широкову. Тот поднес горлышко к открытому рту, перевернул, и струйкой махнул сразу чуть ли не всю бутылочку, крикнул, посмотрел на остаток и, протягивая её мне, сказал:

- Не могу остановиться, пошла, как по маслу.

Я с усмешкой допил оставшиеся двадцать грамм и отломил по кусочку шоколада, данного мне Красновой на закуску.

Потом мы вернулись в фойе, где в углу Краснова торговала дисками и кассетами Шамардина. Мы подошли к её столику. У стены лежала толстая книга отзывов.

- Витя, напиши, - сказал я Широкову, кивая на книгу.

Широков исполнил незамедлительно просьбу почти стихами, возвышенно. Он очень любит Шамардина.

Следом склонился над книгой отзывов и я. Рядом толкались почитатели таланта Шамардина и довольно бодро покупали его записи. Краснова шелестела деньгами, принимала, давала сдачу. Я написал, что Шамардин пел на той сцене, где стартовали мы...

Ну, и так далее. И расписался. А перед автографом, для непонимающих, печатными буквами написал: "Писатель Юрий Кувалдин. 4 апреля 2012 года".

Широков тут же перехватил ручку, и тоже дополнил под своим плохо читаемым текстом, - у Широкова ужасный почерк, который никто, кроме него, не может разобрать, - так же печатно написал: "Поэт Виктор Широков".

В это время я склонился к порозовевшему от торговой суеты ушку Нины Красновой и спросил:

- Ниночка, нет ли у тебя ещё такой прелестной бутылочки?

- Есть! - весело сказала Краснова, и достала вторую "малышку", добавив: - Это, Юрочка, специально для тебя!

Тут высокая дама в черном длинном платье, черноволосая, с прямым пробором, оказавшаяся поэтессой Еленой Геринг, пригласила нас сказать несколько слов перед телекамерой клуба о вечере Анатолия Шамардина. Я сказал что-то хорошее, помянув и вдохновенную артистическую юность. И Широков

тоже сказал что-то приятное в адрес певца и организаторов концерта, испытывая первые признаки радостного легкого опьянения.

В комнате, где в молодости с нами занималась сценической речью Татьяна Фёдоровна Рябчук, по мужу Ситко, за длинным столом уже пили чай. Мы с Широковым тоже присели, огляделись, но поняв, что нашу бутылочку здесь доставать неприлично, вежливо ретировались, попрощавшись с ведущим концерта черноволосям, в черной рубашке с белым шарфиком Сергеем Златкисом, который листал подаренную ему Красновой книгу её избранного, которую я недавно издал, и с самим Шамардиным, который был в красной рубахе навывпуск, как цыган, готовый угонять лошадей.

Через Сретенский и Бобров переулки мы вышли к ВХУТЕМАСу. Я вспомнил героя моего романа "Родина" Алёшу Саврасова, подумал вслух:

- Хорошо бы его пригласить третьим...
- Кого? - спросил Широков.
- Саврасова...

Мы шли по Кировской-Мясницкой мимо чайного магазина, мимо нового книжного с яркими витринами на той стороне в поисках винного отдела.

- Если на углу закрыт, значит, пойдём в сороковой, - сказал Широков.

Но на углу Лучникова-Большого Златоустинского, бывшего когда-то и Большим Комсомольским, переулка узкий магазинчик со стеклянной дверью был открыт. Стеллаж от пола до потолка был заставлен всевозможным спиртным.

- Вот бы при совке так! - улыбнулся Широков, и грузно склонившись, стал внимательнейшим образом осматривать нижние ряды.

Как раз в том месте и стояли плоские бутылочки коньяка в 250 грамм. То что нужно! Я снял армянский пятизвёдочный. Повернулись к кассе. Витя барским жестом остановил мою руку, полезшую в карман, и бросил на прилавок зеленую тысячу.

- Пойдем во двор к Нагибину, - сказал я.

- Пойдем, сказал Широков.

Тут у него зазвонил в кармане мобильник, и он сказал, что уже вышел и идёт.

Мы зашли в дом 7 по Армянскому переулку, в большой квадратный двор, описанный в своё время Нагибиным в одном из рассказов. Пошёл мелкий дождик. В углу стояла парковая скамейка из реек со спинкой. Но с навеса прямо на нее лилась вода. Мы постояли, раздумывая, где бы приткнуться. Колодец в три подворотни. Правая вела в бывший двор Нагибина. Всё там было перестроено, и огорожено. Пить мы здесь не стали, и я повёл Широкова проходным двором в Потаповский-Архангельский, из него в Сверчков, и на правой стороне во двор, где и сели на скамейку недалеко от боярских палат.

Иногда надо закурить. Хороший старый способ - стрельнуть у прохожих, которых в это вечернее время, практически, не было. Но вот как только у меня какая-нибудь мысль мелькнёт в голове, так сразу же она начинает материализоваться.

Навстречу шли молодые люди. Я спросил, нет ли у них закурить. Они сказали, что нет. Мы постояли с Виктором некоторое время. Стояли перпендикулярно Сверчкову переулку. Два желтобоких особняка, типично московских, начинали его от Потаповского. Пока мы так стояли, Широков заметил, что молодые люди остановились, покопались в карманах, и один, совсем юный, подошел к нам с раскрытым портсигаром. Я даже немного смутился от такого широкого жеста, выказанного нам, тем более таким странным образом. Сначала у них не было закурить. Потом у ворот другого дома они, подумав, покопавшись в карманах, решили одолжить закурить пожилым писателям. Хотя они, разумеется, не знали, кто мы есть. Причем всё это происходило в ранний весенний вечер, когда еще не совсем стемнело, но всё вокруг стало синим, и фонари зажглись уже, когда апрель только начал подтапливать кучи снега, и на сухой асфальт после солнечного дня потекли ручейки.

Я слышал живой голос Мандельштама сегодня ночью. Оказалось, мне приснился Лев Шилов, щуплый, интеллигентный, черные волосы зачесаны назад по моде 60-х годов. Он и остался в тех оттепельных годах. Помимо Осипа Эмильевича, Лев Алексеевич Шилов давал мне голос Макса Волошина для вечера в Литмузее на Петровке весной 1977 года, когда Волошину стукнуло 100 лет. Я снял с полки книгу Льва Шилова о звучащих голосах. Он работал в музее Маяковского на Таганке, где я частенько бывал на вечерах Окуджавы, Новеллы Матвеевой, Давида Самойлова...

- Я знал Лёву, - сказал Широков, убирая мыльницу во внутренний карман плаща.

Я не удивился, что Широков слышал мой внутренний монолог, как будто я ему говорил о звукоархивисте Шилове по мобильнику.

Потом Лев Шилов переключался на Ленинский проспект, и вечера уже не проводил. У него там была студия для обработки звукозаписей. Хорошая половина его книги посвящена советским поэтам, к которым я потерял интерес, да и вся структура книги была советской, мертвой, для прохождения цензуры. Вообще звучащие голоса есть часть эстрады, для быстрого восприятия. Вот почему триумфовали при жизни Высоцкий и Окуджава. Теперь ажиотаж поутих, а на бумаге они все-таки слабоваты. Литература есть движение букв по бумаге, в тишине, в чтении про себя. Движение букв - Литера Тора. Звучащие голоса раздражают. Хочется одиночества и тишины с другими книгами, не звучащими. Лев Шилов был не в литературе, а техническим работником при литературе. И тихо жил и умер при литературе, в Переделкино.

Ну, и так далее.

То есть, я хочу сказать, что нужно сделать совершенно достоверный поэтический рассказ о том прекрасном концерте Шамардина в клубе МВД, и после него нашу прогулку по старым переулкам Москвы с Виктором.

Оказывается, фильм, в котором единственный раз вместе снялись в крохотном эпизоде Геннадий Ялович и Владимир Вы-

соцкий, назывался "Наш дом". Вышел он на экраны в 1965 году, а снимался раньше, когда я с Яловичем и Высоцким ходил на репетиции в один клуб милиции на улице Дзержинского, дом 13. В этом же фильме снялся в эпизоде мой знакомый артист Николай Михайлович Бармин, добродушный в жизни человек, а здесь изобразивший правдоискателя, вступающего в конфликт с шофером междугороднего автобуса, подсаживающего пассажиров без билетов. Кстати говоря, у Бармина я взял некоторые черты для актёра Александра Сергеевича из моей "Вороны":

"- Да так, - неопределенно махнул рукой Александр Сергеевич. - Словеса. Помню, во время войны я снимался в роли комбрига. Входит капитан, а я ему: "Как стоите перед комбригом?!" Да... Вот были роли! Вот были тексты! А теперь... Одно недоразумение. Не могут о простом сказать просто... Я всю жизнь играл в эпизодах, но! - Александр Сергеевич поднял палец. - Играл генералов. Фактура у меня генеральская. Запускают фильм про войну, так режиссеры уже знают, кто генерала будет играть, звонят, страничку с текстом на дом привозят. У меня там десять слов, но каких! Например: "Вторая армия ударяет в направлении Киев - Житомир!" А я стою у огромной карты, указкой вожу по ней, подчиненные мне командиры смотрят на меня во все глаза, каждое слово ловят! Вот было время, вот были фильмы!

Ветер шевельнул занавеску на окне. Где-то в кустах запел соловей. Затем вступила скрипка, поддержанная виолончелью..."

Я пишу о Николае Бармине потому, что сидел с ним много раз рядом на диване, и даже несколько раз выпивал. А он читал мои книги - "Философию печали", "Улицу Манделштама". Он очень много читал, уйдя от жизни в свой единственный мир собственных иллюзий.

После того, как я сказал, что человек становится тем, кем хочет стать, я разовью мысль о том, что писатель - это не социальная функция, а совершенно автономное существование в одиноком создании своей вселенной. Многие, выбирая профессию, включают себя сразу в социум, определяют свои па-

раметры, рамки, в которые они себя ставят, или, как пел Высоцкий, попадают в колею, по которой они, как трамвай, катят всю жизнь и безвестными исчезают. Конечно, это можно понять, поскольку невозможность жизни без еды делает из человека послушное животное, продающее свой труд за деньги. Но когда, имея на каждый день еду, деньги становятся целью этого животного, оно становится втроене зависимым от социума. Некоторые полагают, что деньги дают свободу. Нет! Деньги порабощают человека, делают его жизнь невыносимой, уничтожают окончательно. Я говорю, что там, где начинаются деньги, там кончается искусство. Смысл жизни человека заключается в обеспечении бессмертия своей души, то есть воплощении себя в Слове, в персонификации. А деньги не имеют ни имени, ни фамилии, деньги бесцветны, и предназначены для тех, кто исчезает с лица земли бесследно. А уж собственность - худший вид кабалы! Ты голым пришел в этот мир, голым и уйдешь. Вот почему написано, что Бог есть Слово. Не денежные знаки, не собственность, а Слово, которое есть дух, ибо Слово нематериально. Писатель для меня - это Бог, который над схваткой, а не в толпе белых или красных. Писатель выходит вообще из социума. И это не профессия, это миссия, или служение, вот так, примерно, скажу высоким стилем.

А знаете ли, что у алжирского дея под самым носом шишка? Следом выливались фразы. Был в театре. Играли русского дурака Филатку. Очень смеялся. Как они хотят поскорее разделаться со мной, догнать и прибить гвоздями к забору при жизни. Горят огни родного агитпункта. Я сегодня все утро читал газеты. Читал стихи. Думал, что это пишут курские помещики, но оказалось, что это сочинение Евгения Лесина:

Южную Осетию еще не признали,
А там уже революция и война.
Предвыборные агитации всех задолбали.
Коробочка полным-полна.

закурить

Сняли фильм "Высоцкий-наркоман".
Скоро его покажут всем.
Если ты в шесть еще не пьян,
Значит, напьемся в семь.

Россия уверенно идет вперед.
Впереди неопишное счастье.
Радуетя российский народ,
Что у него замечательные власти.

Им не совсем понятно, сколько может делать один человек! Постоянно будут стаскивать меня с пьедестала вниз, и приравнивать к себе. Но я каким-то невероятным образом ускользаю. Придя на выборы, возьми бюллетень для голосования, зайди в кабину и съешь его. Потому что ты - инкогнито! Прибыл по особому распоряжению. Сегодняшний день - есть день величайшего торжества! В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я. Именно только сегодня об этом узнал я. Им остается только копить деньги на памятник мне, на который они накопят за 500 лет, как раз к тому времени, когда моя слава затмит солнце.

Я и есть солнце.

Там, где теперь буфет, сидели репетировали мою композицию по Мандельштаму. Высоцкий опаздывал. Когда он вспотевший влетел, то с порога своим несколько ехидным мальчишеским голосом крикнул:

- Ну что, стакановцы, по стакану?!

Мы тогда постоянно искажали Стаханова под стакан, что более подходило к образу шахтера.

В школе-студии МХАТ пели поначалу Епифанцев и Ялович. У них и учился Высоцкий. Он смотрел на пальцы Яловича, и говорил:

- Ген, ну покажи аккорды, Ген, ну покажи.

Длинноногий Ялович, выше Высоцкого на голову, сажал того рядом с собой, брал его пальцы и расставлял на струнах для правильного зажима.

До упора, то есть до самого утра, из угла слышался звонкий, без намёка на хрипоту, голос Высоцкого, поддерживаемый гнусавым голосом Яловича:

Товарищ Сталин, вы большой ученый,
В языкознании познавший толк,
А я простой советский заключенный...

Именно этим "Й" в слове "советский" любовался в песне Высоцкий, и после песни так хохотал, что дрожали струны, и допевал:

И мой товарищ - серый брянский волк...

Вообще он был, как тогда говорили, духарной парень. И очень любил щипать за одно место то Лену Ситко, то прочих девочек, то Ирочку Голышеву, выскочившую за Вацлава Скраубе, который тогда играл в театре Станиславского, а мы погуляли всей студией у них на свадьбе.

В те времена было модно выпивать. Мода эта восходила к тостам зв Родину, за Сталина, о чём я когда-то написал в рассказе "Мейер", который напечатал в "Независимой газете" любитель стаканчиков гранёных Женя Лесин, хороший парень.

Ну и, конечно, без моего друга-толстяка Саши Чутко этот рассказ будет не полным. Мы сидели как-то у Чутко в примерной в Театре Армии и, разглядывая друг друга в зеркалах, вспоминали юность. У Саши Чутко в примерной стоит прелестное трюмо, в котором мы и отражались.

В 56 году открылся театр "Современник". Новый, ни на кого не похожий, странный театр, с другим дыханием, со своей странной интересной жизнью. непохожий на театральные привычки того времени. Это потянуло за собой остальных. Курс, на котором учились Высоцкий с Яловичем, выпустил Павел Владимирович Массальский. Курс был сильный. Начинал этот курс Борис Ильич Вершилов. Великий педагог школы-студии МХАТ, ученик Михаила Александровича Чехова. Когда они

учились на втором курсе, он скончался, к сожалению. Они закончили в 60 году, в 54 поступили. Когда пришел Массальский на курс, он сказал: "Я не смогу заменить вам Бориса Ильича, он такой потрясающий педагог, что его заменить не может никто. Я предлагаю вам вместе найти достойный выход из этой трудной ситуации". Он своими словами всех обаял, курс тут же пошел за ним, они вместе собрались, проучились два года и замечательно закончили курс.

И начали создавать свой театр в клубе МВД. Володя Высоцкий тогда не работал в театре на Таганке. Он был артистом театра на Малой Бронной, театра Пушкина. Уходил из театров, не уживался. Не уживался по разным причинам и по особенностям своего характера, которые ему потом мешали очень сильно. Он был то ли в свободном полёте, то ли в свободном пролёте. Начальник нашего ДК, сказал: "Ребята, выделили бы кого-нибудь из своей среды, который вел бы у нас театральный коллектив, а мы ему деньги бы платили".

Оказалось, что Володя нуждался, ему сказали: "Возьмешься? Давайте". Когда я пришел туда, там было 10 человек. Высоцкий, совершенно еще молодой человек, вел с нами занятия по актерскому мастерству, вел этюды, упражнения. Мы знали, что он выпускник школы-студии МХАТ, что он хороший артист. Потом увидели фильм "Живые и мертвые", где он сыграл небольшую роль одного из солдат. Даже в крохотном эпизоде он был такой яркий, такой странный... Выпал из ансамбля. Да, был такой интересный с его необычным голосом.

Конечно, теперь понятно, что Высоцкий ярко высвечивает всех. Действительно, это был поразительно сильный курс. И Валентин Никулин был. Они рассказывали, был такой педагог, он приходил к ним и читал лекцию о древнегреческом театре - Александр Сергеевич Поль. Он был небольшого роста, широк в плечах, почти плоский, голова была без шеи, у него был бас. Все знали, что этим голосом он ломает стаканы. Их приняли, первое занятие по истории театра. Открывается дверь в аудиторию, очевидно от сильного пинка ногой, они вздрагивают, потом вле-

тает старинный портфель кожаный, с монограммой, он летит, кувыркается и шлепается прямо посередине учительского стола, поднимая пыль. Они вскакивают со своих стульев, потом влетает трость, тоже с монограммой, шлепается рядом с портфелем. Они не знали, что им делать, к потолку прыгать, прятаться ли за стулья. Потом вкатывается на коротких ножках, которые двигаются как некие рычаги, человек с огромной, в плечах косая сажень, головой, небольшого роста и плоский. Голова вынимается из туловища без шеи, смотрит перед собой огромными глазами, не глядя на них, жутким голосом, от которого дрожат стекла, говорит: "Я Поль, но не Робсон, Александр Сергеевич, но не Пушкин. Я буду читать вам историю зарубежного театра".

Они с ним подружились, полюбили его, он к ним хорошо относился. С 3-го курса он с ними занимался. Однажды, когда сдавали ему экзамен по истории зарубежного театра и литературе, была такая история. Валентин Никулин пришел в школу-студию МХАТ, по-моему, из МГУ с филологического факультета. Он был образованным человеком, много читал и знал. Александр Сергеевич его любил. Валентин Никулин вытащил билет, Александр Сергеевич спросил: "Ну что там у вас, Валечка? - У меня Божественная комедия. - Что вы можете сказать по этому поводу? - Это божественно. - Идите, 5". Как только он вышел в коридор, то стал дико смеяться. Все стали спрашивать, что ты так смеешься? Он рассказал, как сдал экзамен Полю: "Смотрите ребята, какую записку мне Валька Буров передал". Вытаскивает записку, там написано: "Вале Никулину, от Вали Бурова: - Валечка, срочно напиши мне краткое содержание Дон Кихота".

Была история с Жорой Епифанцевым, который был мастер спорта по боксу. Яркий, энергичный человек... Центральная роль в его биографии - это Угрюм-река. До этого был Фома Гордеев. Это был случай, когда в школе-студии МХАТ, студенту разрешили сниматься в этом фильме. Фильм был интересный... А клуб на улице Нагорной? "И где-то в дебрях ресторана гражданина Епифана Сбил с пути и с панталыку несоветский человек.

Епифан казался жадным, хитрым, умным, плотоядным, Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел". Это все во многом про Жору Епифанцева написал потом Володя Высоцкий. Спортивный человек, замечательно дрался, профессионально, интересно было с ним взаимодействовать. У них была очаровательная педагогиня по французскому языку. Она благоволила к Жоре Епифанцеву, уважала, нежно относилась к нему. Жора родился в поселке Камыш-Бурун Краснодарского края, потом жил с родителями и учился в городе Керчи.

Родители присылали ему деньги для занятий с педагогом французским языком. Он, естественно, пускал деньги на другие нужды. На занятия по языку не ходил, потому что всё время снимался в кино. Когда наступил момент госэкзамена, надо было прочитать небольшую статью из газеты "Московские новости". На постановочном факультете учили английский язык, актеры французский. Когда очередь дошла до Епифанцева, педагогиня сложила губы бантиком в ожидании чуда. Ведь он же говорил ей, что занимается в свободное время со своим платным педагогом. Жора Епифанцев берет газету "Нувель де Моску": "Я, пожалуй, начну". Жора Епифанцев прочитал: "Лес де нувелес де москоус". Педагогиня упала в обморок.

Вообще, курс был удивительный. Володя Высоцкий после занятий с нами пел свои песни: "Я моря не видел вовек, хоть я обыкновенный человек", "Я здоров, чего скрывать, я пятаки могу ломать, а недавно головой быка убил...". Это его ранние песни, блатные. Форма была блатная, а песни были... в каждой песне была судьба, было приключение, какой-то переворот, который случался с этим человеком или с людьми. Театральная закуска влияла на его сочинительство. Каждая его песня - это ... театральное. Именно с этими песнями в 64 году Высоцкий пришел показываться Юрию Петровичу. Юрий Петрович рассказывал, пришел в кепке, в буклевом пиджаке и пел блатные песни.

В студийные годы мы красного выпили столько, что хватило бы наполнить Язу, на берегах которой жил мой друг, врач-кардиолог, Юра Парийский. И вот мы как-то с горочки Николо-

воробьиного переулка спустились с Высоцким и Севою Абдуловым в тот домик у реки. Ныне домика нет, хотя он был прочный, кирпичный, прошлого века. Но Юрий Парийский не стал знаменитостью, и домик сломали, хотя в нём выпивали и закусывали многие будущие знаменитости. Кухня была разгорожена клеёнкой, за которой стояла пожелтевшая ванна, в которую, однажды, Высоцкий бросил матрас, и спал там. Впрочем, Валерий Золотухин мне рассказывал, что через пару лет, когда Любимов взял Высоцкого на Таганку, они еще и не так отдыхали. Даже спали в ящике за кулисами, и очнулись прямо во время какого-то спектакля, где они не были заняты, но не растерялись, Высоцкий ударил по струнам, и прошли по сцене под хриплую песню:

В меня влюблялася вся улица
И весь Савёловский вокзал...

Зрители подумали, что так надо.

Явление Высоцкого - это явление блатной песни. Меня умиляет, когда лакировщики действительности называют его песни, да и не только его такого же стиля, городским романсом. Ничего себе! Это не городской, а гулаговский романс! Зверская страна, преследовавшая интеллигенцию, вообще умных людей из всех слоев, была превращена зверями в одну большую тюрьму. Один палач, Хрущев, хотел отделаться от другого палача, Сталина, но все они были заместителями должности императора Российской империи, задержавшейся в истории на 500 лет. Высоцкий заорал - а он именно орал, ибо ни музыкальной памяти, ни тем более абсолютного слуха у него не было, потому что новому времени нужна была луженая глотка "оскорбленных и обиженных". Тогда ворвался с "Одним днем Ивана Денисовича" Солженицын, тогда зазвучал неподражаемый Окуджава, с песен которого и начался Высоцкий. Помню, он стоял у окна, постукивал в такт костяшками согнутых пальцев по подоконнику, и пел:

закурить

Вы слышите, грохочут сапоги,
И птицы ошалелые летят,
И женщины глядят из-под руки,
В затылки наши бритые глядят...

Разумеется, Булат имел в виду затылки заключенных, этап. Высоцкий пел именно "бритые", да и у Булата сначала было так, но с годами он стал всё приглаживать, потому что он не шел в атаку, как Высоцкий, а протаскивал антисоветские мысли через "гламур", как бы сейчас сказали, через свои несколько слащавые романы.

А ещё Высоцкий пел из Окуджавы самую пронзительную, пожалуй, песню:

Ах, какие удивительные ночи!
Только мама моя в грусти и тревоге:
"Что же ты гуляешь, мой сыночек,
Одинокий, одинокий?"

Из конца в конец апреля путь держу я.
Стали ночи и короче и светлее.
Мама, мама, это я дежурю,
Я дежурный по апрелю...

В это время Витя Широков глубоко затянулся, и выдохнул с таким наслаждением, как будто возносился к куполу Меншиковой башни. Справа, за желтым особняком, виднелось здание бывшего "Московского рабочего", в который после крушения партийной империи я привел Нагибина, Искандера, Ковальджи, чтобы спасти, как говорил Дмитрий Евдокимов, директор, издательство от гибели. Юридически издательство из партийного (МГК КПСС) сделали писательским (Союз писателей Москвы). Кстати говоря, тогда и единый Союз писателей СССР со скандалами развалился на несколько осколков. Писатели объединились в наш, мой, Союз писателей Москвы, а вся номенклатура обосновалась на Комсомольском проспекте, 13. Потом я подружился с Нагибиным, бывал у него на даче в Пахре, из-

дал его "Дневник", который сам Юрий Нагибин не увидел, внезапно покинув сей свет.

- Я тоже был на его похоронах, - сказал Широков. - А вы меня не упомянули! - с чувством добавил он.

Вот странная вещь, Витя всё время обращается ко мне на "вы", хотя я его зову на "ты". Впрочем, кому как нравится. Например, Кирилл Ковальджи я называю по имени-отчеству и на "вы", а он меня зовёт "Юрой" и на "ты".

Да, в эссе "Нагибин" я не упомянул Широкова, потому что тогда просто не был с ним знаком. А он был влиятельным сотрудником "Литературной газеты". Время так складывается, что один попадает в "обойму", а другой нет. В чём тут дело?

Отвечу просто: в логосе. Как ты перенёс свою душу в текст, так и сохранишься в вечности.

Мы шли к Чистым прудам, в лёгком опьянении, покуривая. Небо открылось широкое, быстро темнеющее, с россыпью крупных звезд.

Я с какой-то юношеской жадностью затянулся, выпустил голубоватый дымок, и почувствовал легкость во всём теле, какую-то необычайную сладость и прелесть. Это чувство я испытывал в молодости, когда работал в одном министерстве, и мы всем отделом ходили несколько раз на день в роскошный буфет пить кофе. Да, то был настоящий кофе из шипящей машины, которая выпускала кофейный пар, наполнявший ароматом весь коридор, подходящий к буфету. Мы пили кофе в коридоре, выходили из буфета к окну, и курили.

Кофе и сигарета были ежедневным меню рабочего дня.

И поэтому я был очень худой и высокий, и все девчонки и женщины были стройными, и мужчины походили на легкоатлетов. Я доставал тогда прелестный "филипп морис" с фильтром шоколадного цвета, и это выделяло меня из окружения. Но я не брезговал и "явой" "явской". Потому что была похуже "ява" "дукатская". Первую свою сигарету, вернее папиросу, я закурил в пять лет под нашим огромным круглым столом. То был "казбек", который курил мой отец. И вот на моем дне рожде-

ния, когда мне исполнилось пять лет, мы с ребятами и девчонками забралась под стол и закурили. Взрослые были в другой комнате, но когда они почувствовали запах дыма, то, войдя, увидели самый настоящий дым, потому что, когда мы все - человек пять-шесть - закурили, задымилась еще и бахрома бархатной скатерти, не известно как и каким образом нами подпаленная. Искра, наверно, попала.

И теперь, в переулке, я наслаждался после коньяка хорошей сигаретой.

Дано мне тело, говорил Николай Гумилев, и спрашивал, что ему делать с ним. Тело должно сидеть за компьютером и писать рассказы. Тогда совершенно необычное удовольствие испытываешь от передвижения тела в пространстве. Нет, не в жизни. Движение тела в тексте. Особенно, если пошел вдруг ливень из одного единственного облака. Все тела побежали, а это тело замедлило шаг, совсем остановилось. Для этого тела главное событие - остановка. Для других тел - план жизни - передвижение с места на место. Тело делает самолеты на военном заводе напротив стадиона "Динамо". Дом для "Динамо" на Большой Лубянке построили в 20-х годах. КГБ - это "Динамо". В Главном разведывательном управлении тело изготавливает копии "Ракового корпуса" и "В круге первом". На ул. Дзержинского в доме номер 13 (теперь это Большая Лубянка) тело занималось в театральной студии при Московском экспериментальном театре под руководством Владимира Высоцкого и Геннадия Яловича. Повторяю, всё это происходило в доме номер 13 по улице Дзержинского, ныне Большой Лубянке, в клубе МВД, до этого он назывался клуб Министерства охраны общественного порядка, а чуть ранее клуб Совета народного хозяйства СССР, это Никита Хрущев придумал Совнархозы и семилетки, и охладил пыл КГБ и МВД, отобрав у них многие дома отдыха, санатории и клубы. В это "окно" и попали мы, когда клуб вышел из подчинения силовым структурам, и где в 1919 году из торгового зала сделали зрительный зал со сценой и балконом, чтобы железный Феликс мог собирать своих орлов и докладывать им, сколько контры он пустил в расход.

Валентин Гафт вспоминал как-то, что его Владимир Высоцкий приглашал в клуб КГБ на Лубянке. Конечно, Валентин Гафт ошибся, он был приглашен к нам в клуб МВД, в дом 13. Я Валентина Гафта видел в зале тогда, он уже был достаточно известен, снялся с Михаилом Козаковым в "Убийстве на улице Данте".

И сейчас на Большой Лубянке дом 13 все тот же клуб МВД, правда, называется он Культурным центром МВД. Замечательный артист Театра на Таганке Феликс Антипов мне недавно сказал о Владимире Высоцком: "Надо было употреблять что-нибудь одно - либо водку, либо наркотики". Нет, Владимир Высоцкий не мог делать что-нибудь одно, он страстно хотел делать всё, он был страшно заводной, не сидел на месте, страстно хотел возвыситься, выдвинуться в другой мир.

Запредельный.

И опять выпивали, и не закусывали.

За водкой бегали в тот самый сороковой гастроном КГБ, который упомянул Широков в случае закрытия магазина в Лучниковом, в тот самый дом общества "Динамо", на задах главного страшного дома КГБ.

Потом тело остановилось, перестало жить в жизни, и стало жить в тексте.

Так появился писатель Юрий Кувалдин.

Хрустящие вафельные стаканчики - отдельно. Мороженое в кастрюльке - отдельно.

Мороженое изготавливается при тебе, пока у тебя текут слюнки. В стаканчик кладется шарик специальным половничком. Такие маленькие шарики утрамбовываются в стаканчике, пока над его бортиками не вырастает солидный купол.

ГУМ!

Резинка была тонкая, между двумя завязанными петлями расстояние в пять-семь сантиметров, а если присмотреться, то вблизи эта горчичного цвета резинка была в сечении квадратная. Так вот, надеваешь одну петлю на большой палец левой руки, другую петлю - на указательный. Вот и получилась мобильная рогатка. Далее нужно было изготовить изрядное количество снарядов, которые скатывались между ладонями, да еще посплывав, из полосок тетрадной бумаги. Полоски не должны были быть шире полутора сантиметров. Чем меньше получалась пуля, тем стремительнее она неслась к цели, сорванная резко, с оттяжкой, как стрела с тетивы, с резинки между пальцами.

Скатывали столько пулек, что они едва помещались в брючный карман. Такие самокруточки, плотные, как гвозди, и согнутые пополам, как галочки, были готовы к бою с невидимым, или видимым противником. Подцепляешь её к резинке между пальцами левой руки, правой рукой оттягиваешь резинку, и пулька бешено и почти бесшумно бьет в лоб Димке-невидимке в Центральном детском театре. Актриса-травести, вроде Сперантовой, вскрикивает от боли и непонимания, что происходит тут на сцене.

И вот с теми же снарядами стоим на балконе второго этажа ГУМа, и метко обстреливаем людей в очередях. После каждого залпа, быстро поворачиваемся спинами к перилам, как будто так себе стоим, болтаем.

Когда же кто-то из пораженных пулькой догадывался, глядя вверх и тыкая в нас пальцем, мы кричали: "Атас!", - и разбегались в разные стороны. В театре разбегаться было некуда, и, в конце концов догадавшись, кто обстреливает артистов, нас прямо среди действия выводили чуть ли не за уши на улицу.

Там на мосту есть уголок, с которого узбеки и китайцы в полосатых халатах фотографируются на фоне Кремля, подернутого весенней предгрозовой сиреневой дымкой. Может быть, даже еще и вьетнамцы и киргизы, казахи и японцы, таджики и тайцы... В общем, все сплошь узкоглазые, шумные, толпами глазуют на Кремль с Москворецкого Моста. Разговаривают они на уровне крика, жестикулируя, перебивая друг друга, как на восточном базаре. А по серой реке, вздыбливая воду винтами, идут один за другим речные трамваи. И на них я вижу узбеков и китайцев... Все с узкими глазами и выражениями лиц древних верблюдов. Халды-балды!

Какое лето! Молодых рабочих
Татарские сверкающие спины
С девической повязкой на хребтах,
Таинственные узкие лопатки
И детские ключицы. Здравствуй, здравствуй,
Могучий некрещеный позвоночник,
С которым проживем не век, не два!

Осип Манделъштам увидел, а ныне всё это разваливает потихоньку мир без букв и без названий, превращая его в западный свет. Япония первой уступила чужим влияниям: хотя она расположена на самом дальнем Востоке, это напрямую сближает ее с американским Западом. Туда же, вслед за Японией, наполовину оторвалась Корея, туда же смотрит посткоммунистический Китай. Россия - вдали от этих краев, размывающих Восток как к европейскому, так и к американскому западу; это самая середина.

Поэт увидел их уже тогда - этих узкоглазых рабочих, облепивших строительные леса новой Москвы.

У меня была первая любовь в третьем классе - Щелкунова Верочка, коса до поясницы с огромным бантом. Я сжимал в руке её потную ручку, и мы шли в ГУМ покупать подарок к 8 марта учительнице. И 8-го же марта у Верочки был день рождения. Она жила в проезде Куйбышева во дворе, увитом лестницами и балконами. Москва - удивительный город. Даже архитектурное вмешательство советского периода не испортило её самобытный, необыкновенный облик. За массивными зданиями центральных улиц прячутся кварталы старого города типичной московской застройки. Старый город называется Китай-город, где родился и вырос я. В Китай-городе сосредоточено огромное множество памятников истории. Славяно-греко-латинская академия, печатный двор, Заиконоспасский монастырь... Особый интерес вызывает в Китай-городе архитектура жилых домов. Тип "московского дома" возник в первой половине XIX в. Лестницы пристроены к зданиям снаружи. Вход в комнаты - с балкона. Открытые балконы, или галереи, украшенные резьбой, являются обязательной частью дома. В таком доме жила Верочка. С балкона мы проходили прямо в комнату. Этот двор и сейчас мало изменился. Переулок теперь называется Богоявленский. И если идти от моей Никольской улицы, то двор Верочки будет слева почти перед Биржевой площадью.

Мы сидели на диване, покрытом колючим ковром, и ждали, когда все разойдутся, и мы с Верочкой будем целоваться, и больше того, она мне покажет то, что показывать нельзя, и будем делать то, что делают папа с мамой.

Я помню ГУМ битком набитый народом. Особенно выделялись женщины в серых пуховых платках, да и в других платках. Я тогда еще не знал, что русские - это татары-диссиденты времен Ивана Грозного, повернувшиеся лицом на Запад. Их сжигали, казнили, а они учили латынь, читали Данте и "Цветочки Святого Франциска Ассизского".

Национальность - это вход в какой-нибудь язык или выход из него в другой.

Узкие глаза - это приспособление людей востока к песчаным бурям и цунами. Все они шурились от пыльного ветра.

Они ходили с кривыми ногами, коротконогие, по пояс в песке, наматывали на голову баранью шкуру, и падали в обморок при виде книги.

Для узкоглазых книга была приговором к смерти. Ты рожден тупым и темным, так и умрешь тупым и темным. В пуховых платках женщины падают в Москве на колени, руки кладут на пол, и на руки опускают головы. Староверы. То есть мусульмане. Иначе - москвичи. Ибо Москва в переводе с английского означает мечеть.

Жуткая хроника начала века - все женщины в хиджабах, а мужики в картузах.

Коран есть интерпретация Торы. Тора есть книга Эхнатона (Яхнатона, Яхветона, Яхве, Яхуя). Ветхий завет есть интерпретация Торы. Евангелия есть интерпретация Ветхого завета. Одно растет из другого, и ничто не возникает из пустоты. Пустота - это то, где нет Слова. Тора - это начало Слова. Коран - это продолжение движения Торы по арабской вязи. Всё отличие - в начертании знака. Арабская вязь, египетский иероглиф, китайский иероглиф, латиница... Всё это интерпретации графическая одного и того же - Имени Бога, запрещенного к произношению. Тора есть начало Литеро-Торы. Движение букв. Исходя из этого в ГУМе нет национальностей.

В мире нет национальностей.

Об этом говорит ГУМ.

ГУМ - это поэзия моего детского сердца.

Это три улицы, перекрытые стеклянными крышами. Это волшебный город моего детства. По улицам ГУМа мы гуляли почти каждый день в течение всего учебного года. Летом разъезжались по дачам и пионерским лагерям.

Особенно приятно было гулять по улицам ГУМа в мороз или в дождливую погоду. Ты чувствовал себя в каком-то ином, прекрасном и шумном мире, наводненным народом из всех уголков Советского Союза.

Прямо с вокзалов приезжие ехали в ГУМ. В ГУМе можно было купить всё: от трусов до зимнего пальто.

Вместе с портфелем (о ранцах тогда и слыхом не слыхивали) я таскал мешок со сменной обувью. Те ботинки, в которых пришел, снимались на скамейке у гардероба, и надевались легкие чистые туфли. Этими мешками мы почему-то все время пока шли в школу, и выходили из школы в сторону ГУМА за мороженым, били друг друга по головам. Однажды я так долбанул Витьку Скорикова, что тот упал без сознания. Правда, сознание к нему сразу вернулось, как я начал его поднимать, и он, еще окончательно не придя в себя, так врезал мне по фуражке своим мешком, что у меня из глаз посыпались искры, точно такие же, как от абразивного круга точильщика, который приходил к нам во двор каждую неделю точить ножи, ножницы, а кому-то и топоры.

В пионеры меня принимали в музее Ленина. Мы шли туда строем попарно и пели звонко:

Отцы о свободе и счастье мечтали,
За это сражались не раз.
В борьбе создавали и Ленин, и Сталин
Отечество наше для нас.

Припев:
Готовься в дорогу на долгие годы,
Бери с коммунистов пример.
Работай, учись и живи для народа,
Советской страны пионер!

Чтоб мы комсомольскою сменою стали,
Чтоб нами гордился народ,
В труде и науке, как Ленин и Сталин,
Пойдем неустанно вперед.

Припев:
Готовься в дорогу на долгие годы,
Бери с коммунистов пример.

юрий кувалдин

Работай, учись и живи для народа,
Советской страны пионер!

Мы слово своё пионерское дали
Достойными Родины быть
И Родину нашу, как Ленин и Сталин,
Всегда беззаветно любить.

Припев:
Готовься в дорогу на долгие годы,
Бери с коммунистов пример.
Работай, учись и живи для народа,
Советской страны пионер!

Мы выстроились в белых рубашках в линейку, а старшая пионервожатая подходила к каждому и повязывала алый галстук.

Я, юный пионер Советского Союза,
Перед лицом своих товарищей, торжественно обещаю...
Били палочки по барабану и фальшиво звучал горн.

Потом все строим из музея Ленина шли по брусчатке Красной площади в мавзолей Ленина-Сталина, клясться вождям в бесконечной вере в победу коммунизма на всем Земном Шаре.

Спасибо скажем Родине, Родине советской,
За светлое, и ясное, и радостное детство.
Спасибо скажем Армии, Армии любимой -
За то, что мир хранит она для нас неутомимо!

Спасибо скажем Родине, Родине советской,
За светлое, и ясное, и радостное детство!
Спасибо скажем Партии, Партии любимой -
За то, что жизнь в стране родной привольна и счастлива!

Чемодан по уроку труда, такой большой, с двумя застежками и металлическими уголками, я поставил в угол в писчебумажном отделе, чтобы не держать его в руках. В чемодане бы-

ла механическая дрель, тиски, молоток, плоскогубцы, отвертки, напильники и очень много гвоздей и шурупов. Была зима, я был в пальто с цигейковым воротником и в шапке-ушанке. Пот с меня лил, как вода при умывании под краном. Кстати, горячей воды в доме у нас не было, была большая водонагревательная колонка. Умывался я для быстроты холодной водой. Очередь была большая. Всё стояли школьники. Кто за ватманом, кто за чернилами в чернильницах-непроливайках, кто за кнопками, кто за готовальнями, кто за линейками и треугольниками, кто за ручками перьевыми (шариковых тогда не было), кто за тетрадками в клетку, а кто - в линейку. Я купил три листа ватмана для очередных номеров стенгазеты, которую я делал два раза в неделю. И пошел. Про чемодан по труду забыл.

Дошел уже до проходного двора дома 13, как ударил себя по лбу - чемодан! Побежал в ГУМ, в писчебумажный отдел. В угол. Чемодана нет. Протиснулся к продавщице: не видела ли мой чемодан. Она сказала, что все пропавшие вещи находятся там, под лестницей в специальной комнате. Я рванул туда. Там на лавке лежало несколько чемоданов, один даже огромный фанерный, и в нем были гирьки и пластиночки для мер и весов. Я сказал, что это не мой.

Не приносили ещё туда классный чемодан по труду. Зачем только я взялся его тащить отставному полковнику - нашему трудовику домой. Он чего там у себя хотел чинить.

Расстроенный я вышел прямо к мороженщице. Она ловко маленьким черпачком вынимала из бидона мороженое, переноса его в вафельный стаканчик, пока не набивала его доверху. Я не мог спокойно наблюдать это сладостное действие, и на остатки мелочи наскреб себе на порцию. отошел к стене в сторону, и вижу - стоит мой чемодан у зеркальной тумбы. Спокойно так стоит, бочком прижавшись.

Я для верности подскочил к чемодану и сел на него, с удовольствием лизнув купол белой массы.

Ко мне подлетает белокрылая девушка из парфюмерного отдела с палочками разных запахов. Купите!

На уроке алгебры я сидел бесшумно и читал Иммануила Канта. Я не заметил, как Павел Васильевич, учитель математики, подошел сзади и взял у меня из-под рук книгу. Он приподнял очки на лоб, вгляделся в ту страницу, на которой я сидел, и на весь класс прочитал: "Формальный и логический образ действия разума в умозаключениях уже в достаточной степени указывает, на каком основании будет покоиться его трансцендентальный принцип в синтетическом познании посредством чистого разума".

- Вы что-нибудь поняли? - спросил он риторически у класса, и, не дожидаясь ответа, сказал: - Нужно заниматься алгеброй - царицей наук, такой ясной, красивой.

С этими словами Павел Васильевич закрыл книгу и понес её к своему столу, положил на стол, сам подошел к доске, взял мел и стал выводить свои "иксы" и "игреки", говоря:

- Если x и y - два числа, то их сумма обозначается $x + y$, а разность $x - y$. Если одно из встречающихся в задаче чисел указано явно или заранее известно, например число 2, то сумма двойки и любого не указанного заранее числа x алгебраически записывается в виде $2 + x$ или $x + 2$, а их произведение - как $2x$. Множитель 2 в произведении $2x$ называют коэффициентом.

Ну, и так далее.

На фоне этой алгебраической галиматъи Кант мне показался прозрачно ясным.

ГУМ открылся как магазин после смерти Сталина в 1953 году. До этого в здании ГУМа заседали различные конторы, управления, главки и даже была там типография. Я в серой солдатской форме школьника - гимнастерка, широкий ремень с бляхой, фуражка с кокардой - ходил в ГУМ за листами ватмана и акварельными красками. Я был редактором классной газеты. После смерти Сталина мусульманство в мечети начало убывать. Разрешалась кое-какая инженерная оснащенность населения. По пять суток выстаивали в очередях в ГУМ за телевизором КВН-49. Писали номер очереди на ладонях химическим

карандашом. Постепенно татарская Москва стала превращаться в европейский город.

Европа - это просвещение, возможность писать и издавать любые книги, и читать их свободно.

Татарва - запрет на чтение, знание, на телевизор, запрет вообще на всё, даже на женский облик. Завернуть её с ног до головы в тряпки, и оплодотворять втихаря каждую ночь, чтобы рожала по тридцать детей каждая. У одного татарского производителя должно быть много завернутых в тряпки коровок для приплода.

Кто в ГУМе не бывал, тот России не видал!

Вот они и высыпали всеми миллионами с раскосыми и дикими глазами во все дворы и ЖЭКи города Москвы. И очумели от Европы. Наступил момент вrostания мусульманского мира под сильным давлением культуры Европы - в христианский мир. У каждого темного и тупого к уху прижат мобильник. Они как пчелы в оранжевых тужурках кучкуются на ниве европейского просвещения и цивилизации.

Стык татарского языка и латиницы дал малое племя внутри узкоглазой татарской темной тьмы просвещенных херосов, то есть эросов, на современный лад - русских.

Любопытным школьником спрашивал у Людмилы Васильевны, учительницы географии, почему у китайцев узкие глаза.

Людмила Васильевна, с черноволосой шестимесячной завивкой, ходила с указкой возле огромной карты и, указывая на пустыню Гоби, говорила:

- На свете существует огромное количество всевозможных рас. Где-то живут одни чернокожие, в другом месте - люди с узким разрезом век, ну а в нашей стране уживается сразу несколько рас. Особняком стоят люди из Китая, Японии, Монголии и прочих азиатских государств, поскольку их на свете больше всего. Многих очень интересует вопрос, почему у восточных народов глаза узкие, в отличии жителей, например, Европы? Монголоидная раса, сформировавшаяся на территории современной Монголии, хоть и не считается древней, но, тем

не менее, образовалась более 12000 лет назад. Внешность людей, проживающих здесь, сформирована из особенностей условий здешнего климата - тут проходит одна из самых больших в мире пустынь Гоби. Соответственно, необходима защита от песка и пыли. Для этого имеется узкий разрез век, густые ресницы, темная радужная оболочка глаза, эпикантус (особая складка у внутреннего угла глаза), прямые и черные волосы, а также сильно выступающие скулы. Если взять чукчей, то у них разрез век тоже будет небольшим. Почему? Яркое солнце ослепляет и можно попросту ослепнуть. Вообще, внешность того или иного человека так или иначе веками "подстраивалась" под тот климат, а также местность, где он проживает. В результате эволюции наша планета получила огромное количество рас и в будущем, возможно, их станет еще больше.

В вертящиеся двери вхожу в новый ГУМ, от старого которого ничего не осталось, кроме общих архитектурных форм. Тишина. Пустые пролеты с дорогими магазинчиками по обе стороны. Здесь нет людей с узкими глазами. Здесь слышится изредка английская либо французская речь. Покупать здесь нечего. Потому что продается здесь всё, что тебе никогда не пригодится. Здесь властвуют брэндсы (всегда пишу через "э", дабы не слышался "бред").

Когда я в юности занимался фарцовкой, мы срывали с рубашек советские клейма и пришивали вышитые девчонками на цветных лентах лейбл "Made in USA". Это действовало магически. Слова "мэйд ин юэсэй" произносили с придыханием, как признание в любви. Оказалось, что людей, падких на "штатские шмотки", была тьма тьмушая. Вот на них и теперь зарабатывают подпольные фирмы люберец и малаховок.

В фонтан тогда уже вовсю бросали на счастье монеты. Мы с ребятами придумали на длинные палки приделывать такие совочки из крышек консервных банок. Склонясь толпой над водой фонтана, мы выуживали монеты. И, странное дело, нам никто тогда не мешал. А милиционеров я вообще в то время в ГУМе не видел.

Позднее, когда мы стали с классом отмечать Новый год и другие праздники, то всё самое вкусное покупали в гастрономе ГУМа, с витринами, обращенными на Красную площадь, где на фасада мавзолея четко читалось два имени: "Ленин", "Сталин".

Один раз иду из школы, вхожу в парадное своего "Славянского базара", и вижу между дверьми стоит моя классная руководительница и врасплох, жадно, страстно, с повизгиванием целуется с молоденьким лейтенантом.

А я с увлечением посматривал на уроках на классную, она иногда забывалась и разводила свои полные ноги, так что видны были узоры конца чулок, подцепленных резинками, и голые пышные ляжки. Смотрел туда под учительский стол не только я, но и все мальчишки. Некоторым приходилось изгибаться, наклоняться в проход, чтобы яснее было видно то, что всегда прячется.

Я походкой старого фарцовщика иду напрямую к киоску мороженого, и покупаю вафельный стаканчик с верхом набитым крем-брюле. Ради мороженого ГУМа я еду через всю Москву. И ем его очень медленно в центре ГУМа у фонтана. Большое удовольствие - пройти насквозь ГУМ по второй, средней, линии мимо фонтана, купив до этого в начале линии в зеркальном высоком киоске фирменное мороженое в хрустящем вафельном стаканчике с куполом возвышающегося над его краями крем-брюле. Нет вкуснее гумовского мороженого, вкус которого мне знаком с 1953 года, когда ГУМ стал торговым центром, до этого пребывая под обрубками советских учреждений. Я ем мороженое у фонтана, в центре ГУМа. И вижу себя со стороны в красном пионерском галстуке, с челкой, постриженной наискосок, и слышу на весь ГУМ звучащую песню:

Сталину слава!

Музыка: Д. Шостакович Слова: Е. Долматовский

Сталину слава!

Навеки он верен

Той клятве, которую Ленину дал.

юрий кувалдин

Наш друг и учитель в народе уверен,
Он вместе с народом всегда побеждал!

Великий вождь, желаем Вам
Здоровья, сил и многих лет.
За Вами к светлым временам
Идем путем побед!

Сталину слава!
Сквозь пламя сражений
Бесстрашно провел он советский народ.
Прошли мы, как буря, как ветер весенний,
Берлинской победой закончив поход!

Великий вождь, желаем Вам
Здоровья, сил и многих лет.
За Вами к светлым временам
Идем путем побед!

Сталину слава!
Октябрьским знаменам
И ленинской партии нашей хвала.
Идем к коммунизму путем непреклонным,
И вождь нас ведет на большие дела!

Великий вождь, желаем Вам
Здоровья, сил и многих лет.
За Вами к светлым временам
Идем путем побед!

1949

ИЗЗАНИМАЛИСЬ

Может быть, утром трясет Анатолия Викторовича потому, что он живет на Челюскинской улице?! Это там, на севере Москвы. До ближайшего метро нужно ехать на автобусе. Но теперь Анатолий Викторович редко ездит - он на пенсии.

У Анатолия Викторовича организм устроен странным образом: он не пьянеет! Выпьет стакан - и трезвый. Выпьет второй - чуть-чуть захмелеет. А после третьего уже не помнит где, куда, и откуда. По сути, если здраво взглянуть, то уже на втором стакане начинается отравление организма. Но не сильное. Если бы Анатолий Викторович на втором именно стакане остановился, то отравления бы организма не было. Но этот переходный момент им никак не улавливался. И пошло, поехало. Утром желчью харкает в раковину, дрожит, как отбойный молоток, и все думы только о скорой похмелке. То есть, здраво вскидывая мысли, о продолжении глубокого отравления организма.

Ну, что делать?! Если не пьянеет человек с нормальной дозы! Головой об стену, что ли, биться? Нет, этого делать не следует. Нужно изучить себя. Посмотрите, сколько нормальных мужиков во дворе - примут сто грамм, и привет, качаются, песни поют, и больше - ни-ни! С ними Анатолию Викторовичу скучно. Вот с Витькой из второго подъезда он любит выпивать. У того организм такой же, как у него. Не пьянеют оба! Литр выпьют, и ходят по двору - хоть бы что! Зато утром - болезнь, отравление, иными словами: интоксикация, научно!

Только Витька очень уж разговорчивый. Как выпьет, так губы сами собой шлёпают и шлёпают без остановки. И всё время травит анекдоты, которые Анатолий Викторович слушать не любил, но приходилось. Вот один Витькин анекдот, к примеру:

"Окончил парень университет, пошел работать инженером, женился, ребенок у него родился - а на инженерскую зарпла-

ту не проживешь. Пошел он лучшую работу искать. Куда ни сунется, его спрашивают про образование, предлагают быть инженером, а на инженерскую зарплату как проживешь?

Спасибо, друзья научили:

- Ты говори, что 7 классов школы кончил.

Ну, он так и сказал, взяли его в цех помощником токаря, платят две инженерские зарплаты, все хорошо.

Через полгода подходит к нему профорг:

- Ты у нас один из лучших рабочих. Мы посоветовались, решили, что ты должен школу закончить. Пойдешь в 8-й класс вечерней школы.

Ну, куда денешься? Пошел. Сидит он на уроках по вечерам, спит от усталости, учителя не слушает. Вдруг вызывают его к доске, спрашивает его учитель - найти объем цилиндра. А он школьной формулы, хоть убей, не помнит. Заслоняя доску собой, взял он простенький двойной интеграл, перешел к полярным координатам и получил ответ. Только объем у него почему-то вышел отрицательным. Стер он интеграл, написал новый, все перерешал - опять объем отрицательный! Вдруг слышит, двоечник и худший ученик класса шепчет ему с парты:

- Ты пределы интегрирования перепутал! Переставь их, все получится!"

Да... Анатолий Викторович помолчал. А чего тут говорить. Как раз после этого анекдота Витька и умер. Утром на другой день. В 47 лет! Хороший, заводской был парень...

Выпивать Анатолий Викторович начал прямо в ремесленном училище. Ходили в черной форме, как эсэсовцы, в кирзовых тяжелых ботинках, в гимнастерках, подпоясанных широкими ремнями со стальной пряжкой. В драках пускали эти ремни, и вся шпана от сплоченных ремесленников разбегалась. Пили водку. Окончание ремеслухи с самыми закадычными друзьями отпечали в ресторане гостиницы "Север" на Сущевском валу. Был и Мишка Гусев, рыжий и конопатый, от которого Анатолий Викторович впервые услышал песни Окуджавы, чьи песни в общую тетрадку по технологии металлов записывали через "А"

- Акуджава. В учебном цеху училища у станка Гусь брал гаечные ключи, и, стуча в ритм по станине, пел:

Ах, какие удивительные ночи,
Только мама моя в грусти и тревоге:
- Что же ты гуляешь, мой сыночек,
Одинокий, одинокий...

Песни "Акуджавы", почти блатные, очень нравились ребятам. В ресторане сразу, по предложению Гуся, врезали по фужеру водки, и уже вне сознания очнулись в камере местного отделения милиции. Говорят, вышибли витрину в гостинице.

Деньги от пенсии, как и обычно, кончились быстро. Взломоченный, небритый Анатолий Викторович, чертыхаясь, бродит в одних сатиновых в синих ромашках трусах по своей однокомнатной квартире в поисках остатков выпивки.

Солнечный луч косым ножом разрезает комнату надвое.

Несмотря на свои 70 лет, волосы у него густые, но абсолютно белые, как иней зимой на стекле. Он бродит и бродит, босиком. К старости вернулось деревенское детство. Ест иногда руками, без ложек и вилок. Возьмет картофелину, макнет в солонку и откусывает половину. В армии служил в Москве, охранял военный завод, так на нем и остался навсегда. Ищет, ходит. Но ничего нет. Пустые бутылки катаются на кухне, когда он их задевает. Бутылки лежат на боку.

Заглядывает в настенный шкафчик, который называет "шкапчик", вместо "ф" произносит "п", где стоит обычно одеколон, который тоже в подпитии шёл в дело. Но одеколону не было.

Через силу бреется, по заведенному обычаю намазывая помазок о кусок банного мыла в треснутой мыльнице, причёсывается гребешком, оставшимся еще от матери, облачается в замызганный черный бостоновый пиджак выпуска 1959 года, и, надев армейскую фуражку с красным околышем, в которой более 50-ти лет назад служил во внутренних войсках - в роте охраны, - выходит во двор.

Двор зарос буйной зеленью. Под деревьями, за помойкой у гаражей, мужики колотят в домино. Фишки домино не обычные черные с белыми точками, а белые с черными глазками.

Старуха Ангелина идет по дорожке, сильно стуча палкой. Она делает шаг, нога висит в воздухе, и в это время громко бьет палкой по асфальту. Глядя на неё, кажется, что она сейчас упадет, такой болезненной, немощной, беспомощной выглядит она. Но с виду она не совсем измождена. Даже во всем теле присутствует полнота, говорящая о жизненном достатке.

Впрочем, теперь полноту воспринимают как болезнь. У всех, кого ни возьми, диабет. Окорочков с красной рыбой наедятся, и болеют. Холодильники у всех забиты, а всё чем-то недовольны. Интересный народ. Очередь в поликлинику. Потом очередь в собесе на добавление пенсии по инвалидности.

У Ангелины несколько восточное, смуглое лицо, с резко выступающими скулами, узкими глазами и приплюснутым носом с большими ноздрями. Дело в том, что мать её была казашкой.

Анатолий Викторович давно наблюдает за ней. Просто интересно ему за ней наблюдать.

Всё время, выйдя из лифта, Ангелина заходит в комнатку консьержки. Та тоже восточная женщина, из Узбекистана. И Ангелина начинает изливать душу о своих многочисленных болезнях. Летом дверь в комнату консьержки приоткрыта, и много раз, проходя мимо, Анатолий Викторович слышал жалобный голос Ангелины:

- Ночью чуть не померла.... Сердце как застучит, как заболит. Ужас. Принялась пить таблетки.

Консьержка поддакивает:

- Это плохо, когда болит сердце...

Консьержка говорит на чистейшем московском языке, как будто родилась в Москве. Она работала в Самарканде учительницей русского языка и литературы.

Ангелина живет одна в двухкомнатной квартире. Два года назад похоронила мужа, который, как и Анатолий Викторович, работал на военном заводе.

Как только Ангелина где-нибудь сталкивается с Анатолием Викторовичем, так сразу замедляет движение, интенсивнее опирается, прямо-таки наваливается на свою палку, часто дышит и закатывает глаза. При этом губы её синеют, а лицо становится зеленоватого цвета, как будто она действительно сейчас упадёт замертво.

Анатолию Викторовичу было ясно, что Ангелина при каждом удобном случае старается вызвать к себе сочувствие, жалость, что ей тяжело, больной, жить и передвигаться с места на место. Но почти каждый день с ней сталкивался Анатолий Викторович, как будто Ангелина подгадывала момент, чтобы показаться ему еще более разбитой и несчастной. То он встретит её выходящей из лифта. Створки только раскроются, она стоит еще более или менее прямо, но как только видит Анатолия Викторовича, так сразу же принимает вид тяжелобольной.

Анатолий Викторович знал, что одного актерского таланта, чтобы здоровому человеку в кабинете врача превратиться в больного, мало. И он в молодости прибегал к разным вариантам симуляции, дабы недельку позагорать с ребятами в Серебряном бору. Градусник рассказами про озноб и головные боли не разжалобишь. Поэтому он искал всевозможные способы вызвать у себя симптомы физического недомогания. Нужна температура? Горчичный порошок под мышку! Глаза не слезятся? Нашатырь под нос! Все вместе - типичные признаки простуды. Или другая ситуация. Например, пил не просыхая работник все новогодние двухнедельные праздники, вид помятый, горло покраснело. Сочинив на ходу историю о недомогании и ломоте в костях, многие пробуют выдать это за фарингит. Или пожаловавшись на изжогу, тошноту и тупую боль в животе, пациент безропотно отправляется глотать зонд. До этого натошак съедает пару щепоток перца или несколько таблеток аспирина. Неприятно, конечно, зато обследование покажет, что слизистая оболочка желудка воспалена. А это уже гастрит.

Не спеша Анатолий Викторович прошел под ясени за домом, где уже приятели "забивали козла" за самодельным сто-

лом. Сел на скамейку, ожидая свою очередь. Подумав, сказал как бы ни для кого:

- Неплохо бы было принять на грудь в такой теплый денёк.
- И посмотрел на небо, чистое и ясное.

- Хорошо бы, - сказал Пашка-водопроводчик. - Я хотел до-
стать, никто не даёт.

Пожилой, как Анатолий Викторович, Григорий Кузьмич, с
длинной гривой седых волос, промолвил:

- Глобально надо искать. Тут мы уж все иззанимались!

- Это правильно, - согласился Анатолий Викторович .

В разговор вступил отставной подполковник, сидевший с
погонами в кителе, Барсуков:

- Правильно, нужно смотреть в глобальном смысле. Напри-
мер, вот я к соседу - дай денег! А он мне, мол, что я попрошай-
ка. И не дал.

В это время, Анатолий Викторович заметил, из подъезда
вышла Ангелина, и в его голову ударила мысль - занять у неё.
Потому что никогда к ней по этому важному вопросу не обра-
щался. Даже мысли такой не было. Как это занимать у больной
старухи?

- Пойду, попробую, - сказал он, встал и пошел навстречу
Ангелине по дорожке.

Когда он почти лоб в лоб сошелся с нею, а она всё стучала
палкой, он внезапно и твёрдо попросил:

- Ангелина Васильевна, сто рублёв не одолжите ли до пен-
сии? - произнес он и опустил глаза. Голос его не просто дро-
жал, он срывался.

Анатолий Викторович любил слово "рублёв", и не любил
слово "рублей".

Разница небольшая.

Но впечатляла.

Быть может, именно это сказанное слово "рублёв" разжа-
лобило её, и она раскошелилась.

На "ста рублёв" какое-то стеснение вздрогнуло у него в но-
гах. Он отступил на шаг.

- Щас посмотрю, - сказала просто старуха и полезла в свою сумку. При этом украдкой она рассматривала его лицо - немного нервное, но серьезное лицо, затененное козырьком фуражки.

Анатолий не верил глазам своим, как Ангелина достала пухлый кошелек, открыла его, и, щурясь, извлекла новенькую сотню.

- Бывает, - сказала она, протягивая купюру.

Анатолий Викторович сам не свой от неожиданной щедрости принял деньги.

- Вот спасибо-то! Прямо, очень вам благодарен!

И встал боком, пропуская старуху в сторону автобусной остановки.

Доминошники видели это невероятное событие, приободрились.

Поручили бежать в магазин Пашке-водопроводчику, самому молодому, ему было 55 лет.

- Чего брать-то? - поинтересовался Пашка.

- Бери пару бутылок белого, ну и закусить на остаток, - сказали сразу все хором.

Неимоверное согласие воцарилось за доминошным столом под ясенями.

Через пару дней Анатолий Викторович получил пенсию и позвонил в квартиру Ангелины. Она открыла, и была без палки.

Анатолий Викторович достал из внутреннего кармана деньги, вытянул аккуратно из стопки сотню и протянул её Ангелине.

- Это вы, что ж, за всех отдаете?

- За кого "за всех"? - не совсем понял он.

- Да за тех, с кем выпивали.

- Да это ладно, - смутился Анатолий Викторович.

Ангелина вышла на площадку и прикрыла за собой дверь. Прислушалась. Анатолий Викторович тоже посмотрел по сторонам.

- Инвалидность вам надо оформить. Будете получать на шесть тысяч больше, - прошептала Ангелина.

Анатолий Викторович растерялся, даже немного покраснел, и чтобы этого не было заметно, покашлял в кулак несколько раз. Здоровье у него было отличное, несмотря на возраст. К врачам никогда не ходил. Даже карточки медицинской там у него нет.

- Я не знаю, - промолвил Анатолий Викторович, думая о том, что он сейчас пойдет поправлять здоровье.

Но Ангелина ухватила его за локоть и прошептала:

- Я как раз собираюсь в поликлинику. Подождите здесь.

И она исчезла за дверью.

Буквально через три минуты выскочила, именно выскочила, палка была под мышкой, в руках сумка. Очень тихо сказала:

- Вы сейчас свою пенсию мне отдадите, а я передам врачу, моей знакомой. Ну, я с ней сотрудничаю...

От этих слов он даже остановился.

- Как отдам...

Ангелина уставила свои черные глаза в его бледные.

- Так. Один раз отдадите десять тысяч, а будете получать восемнадцать. Вы же двенадцать тысяч получаете?

- Да.

- Вот, понимаете. Разок отдадите, а жить будете свободнее.

- Не понял, это, что же, взятку давать мне ей? - испуганно сказал он.

- Вот чудак-то! Зачем вы только такие страшные слова говорите! Вы ничего давать не будете. Давайте мне десять тысяч. Я же сказала, что сама передам. Через недельку придете в поликлинику, она вам всё оформит. Моя подруга.

Поколебавшись, поумножав про себя, вспомнив, что он 50 лет отбарабанил на военном заводе в три смены, а пенсию получил лишь, как говорится, на поддержку штанов, Анатолий Викторович передал десять тысячерублевых купюр Ангелине.

Всю жизнь Ангелина проработала на Ростокинской плодово-овощной базе. Она могла в дефицитной в то время Москве достать всё что угодно: огурцы и помидоры - зимой, ананасы и бананы - в любое время года. Ангелина обрастала связями, делала свой мелкий бизнес с размахом на уровне таких же дело-

вых средних начальников, к которым принадлежала и она. Она подписывала накладные на приемку товара только тогда, когда в её синий халат падал пухленький конверт, ну и так далее, в духе соблюдения правил советской торговли.

На другой день вечером, когда Анатолий Викторович смотрел футбол, Ангелина пришла в гости с кастрюлькой, в которой дымился отварной картофель, посыпанный укропчиком, и лежали две пышных котлеты.

Посидели за столом, покушали, выпили маленькую бутылку коньяка, в 250 грамм, после чего Ангелина не своим голосом запела:

Валенки, да валенки,
А - не подшиты, стареньки!

Нельзя валенки носить,
Ох, надо б валенки подшить.

Валенки, валенки,
А - не подшиты, стареньки!

Нельзя валенки подшить -
Надо к миленькой сходить

Нельзя к миленькой сходить -
Надо валенки подшить.

Валенки, валенки,
А - не подшиты, стареньки!..

Ну, и так далее. Анатолий Викторович, разинув рот, слушал этот бойкий, звонкий голос. Потом сказал с чувством:

- Ну ты как Русланова поёшь!

И было поднялся по привычке, чтобы сбегать в магазин, но Ангелина тем же твёрдым голосом Руслановой сказала - хватит, а потом неизвестно как они обнаружили себя на диване, причем в обнаженном виде, как на картинных Рубенса.

- Ой, Толя, ты как молодой! - воскликнула, часто дыша Ангелина.

- А ты, как пионерка!

В полубредовом экстазе поздневозрастного секса прошла неделя.

Перед каждой встречей он самым тщательным образом брился. Ангелине нравилась его гладкая кожа.

Он каким-то новым, пристальным взглядом осмотрел лезвие, которым уже несколько раз брился, но оно всё еще было свежее. Три дырочки под штырьки бритвенного безопасного станочка с никелированной ручкой. И вспомнил, что году в 70-м ему предлагали перейти на завод металлоизделий, где делали подобные лезвия, и зарплату сулили повышенную. Но Анатолий Викторович не предал родной оборонный завод, думая далеко вперед о пенсии, о необходимом непрерывном стаже на одном предприятии. И вот доработался. Вышел на пенсию, которую года два вообще не выплачивали, а теперь дают какие-то крохи. Спрашивается, на какую оборону он работал? На оборону, ответят, Советского Союза. Но этот СССР пал без сопротивления и без всякого оборонного могущества. Вывод - верь только самому себе. Не доверяй государству.

Анатолий Викторович ходил, как пьяный, хотя все эти дни капли в рот не брал.

В поликлинике всё было новое, и людей было немного. Он посидел на диванчике, пока Ангелина ходила по кабинетам. Минут через десять его вызвали в 6-й кабинет. Он вошел, сказал:

- Здравствуйте!

Рыжеволосая врачиха и не посмотрела на него, только буркнула:

- С таким диагнозом лежать в постели нужно!

И протянула ему справку...

Весь месяц Ангелина подкармливала его, и показывала картины Рубенса.

Теперь он больше трех стопок по 50 грамм не выпивал. Но стал покуривать. Кайф, говорит, хороший наступает.

10-го числа следующего месяца он, не веря в реальность происходящего, волнуясь, с некоторой дрожью в пальцах, когда ставил автограф на чеке, получил в окошке сбербанка 18 тысяч рублей.

От прилива счастья даже не знал, как это обычно в подобных ситуациях бывает, что делать, но, походив из угла в угол, решил съездить к дочери, навестить внучку. В магазине купил яблоч и пакет сока.

Вышел на остановку ждать автобуса, чтобы доехать до "Медведково", метро.

Анатолий Викторович знал, что автобус ходит очень редко.

Поэтому купил тут же у остановки в киоске газету "Труд". Любил он эту газету, любил и труд сам по себе. Считаю, 50 лет отработал на военном заводе токарем.

Помнится, включил станок на 1200 оборотов, а болванку под гайку винта не закрепил. Ну, сунул в патрон, чуть ключом подвинул, и включил. На полном ходу болванка вырвалась на волю и со всей силы врезала по лбу. Анатолий Викторович упал. Он сейчас точно не мог сказать, был ли он в момент удара в сознании, или не был. Но факт тот, что очнулся он в каптерке мастера на обитой дерматином деревянной скамейке, вроде диванчика. И первое, что он понял - его мутит. Да мутит так сильно, что зелёные и красные круги наплывают на него, как будто машины на него едут.

- Так дело не пойдёт, - едва вымолвил он, почувствовав, что тошнота подступила к самому горлу.

Над ним стояли ребята, с испугом смотрели на бордовый фингал на лбу, вроде огромной свеклы. Вот будто как вторая голова выросла.

- Ну, ты чё? - спрашивали.

После некоторой паузы, борясь с отключкой, Анатолий Викторович прошептал:

- Сгоняйте за водкой...

Ребята сбегали.

Когда Анатолий Викторович попытался встать, то левая нога подогнулась и он упал на пол. Он сразу понял, что левая сто-

рона вся у него отнялась. И рука висела плетью, и ногу не чувствовал.

Тем не менее, сев опять на диванчик, он сжал крепко полный граненый стакан правой рукой и залпом выпил, зажевав водку ливерной колбасой.

И что же вы думаете?! Могучая сила водки прокачала кровь по всему организму так, что возникшие тромбы сдались без боя. Через час синяк как-то сам собой схлынул, нога левая опять стала ходить, и рука левая зашевелилась.

Вот в тот момент Анатолий Викторович осознал всю великую целебную силу водки - этого животворящего источника всех великих дел русского человека.

Через некоторое время, подняв глаза от газеты, с некоторой радостью в сердце увидел бегущую с палкой под мышкой, как будто это бежала стометровку сочная, кровь с молоком, молодуха, обгоняя ребят и девчонок, тоже поспешающих к автобусу, Ангелину, словно она никогда и ничем не болела.

ВОСЕМЬ БЕЗ ПОЛОВИНЫ

Они жили у стадиона "Медик" в красных невысоких домах.

- Может, это из-за меня, - сказал Морозов, - может, это из-за того, что я курю. А может, я сам бесплоден.

Морозов был доцентом кафедры начертательной геометрии. В основном у него были первокурсники. Морозов с видом умудренного опытом преподавателя говорил:

- Начертательная геометрия - наука, рассматривающая трехмерные объекты путем их проекции на 3 взаимно перпендикулярные плоскости...

И теперь смотрел на жену, как на трехмерный объект.

Хотя оба они уставились на застывшее мерцающее изображение на экране телевизора и стали смотреть фильм Федерико Феллини "8 1/2", который Морозов записал под Новый год и смотрели его до тех пор, пока Светлана не пошла в туалет и не обнаружила, что у нее начались месячные.

- Ну что, может, бросим эту затею? - сказала она.

- Я и собираюсь это сделать, - сказал Морозов. - А еще я собираюсь класть лед в трусы перед тем как идти спать. Может, это поможет. Наверняка есть что-то, что и ты тоже можешь делать.

- Например? - усмехнулась Светлана, воспитательница детского сада.

- Ну, я не знаю, - сказал он.

Всегда почему-то выходило, что во всем виноват он, и чувство вины раздражало его.

- Откажись от спиртного, - чуть громче сказала Светлана. - И прекрати худеть. Ешь досыта. И еще, я считаю, что ты слишком быстро встаешь после этого. Ты все время идешь в уборную или за чашкой чая или хочешь включить мобильник. Ничего удивительного, что у нас ничего не получается.

Светлана посмотрела на него, покачала головой и усмехнулась.

В первые дни знакомства со Светкой Морозов принёс ей три хризантемы. Она в порыве самоутверждения возбужденно заговорила о том, что предыдущий её любовник, на юге, скупил у цветочницы все цветы, принес в гостиницу, где она остановилась, и завалил всю подушку цветами. Ещё бы она рассказала в подробностях, как они обнимались в постели! В этот момент Морозов ощутил себя жалким мышонком, которому очень страшно жить в мире людей, и нырнул сразу, не оглядываясь, в норку метро. Причем, ему нужно, допустим, было выйти на "Севастопольской", а он в каком-то туманном ошеломлении отмерил путь до "Тульской". Вышел из вагона, и долго тряс головой. Как и зачем он здесь оказался? То есть тут Морозов догадался, что в момент сильного потрясения работала потаенная половина его мозга, опирающаяся исключительно на воображение, а та часть мозга, которая отслеживает реальный мир, совершенно у него отключилась. От "Тульской" Морозов доехал до "Серпуховки", не промахнувшись. Но зато, пересев на кольцо, он сделал полный круг, оказавшись опять на "Серпуховской". Морозова никто не видел, он забился почти под лавку, потому что был маленьким сереньким мышонком, с тонким хвостиком, с глазами бусинками, полными слёз. Абсолютное перевоплощение по системе Станиславского.

Они смотрели фильм, и, как по мановению ужасной современной волшебной палочки, Анук Эме превратилась в Евгению Уралову из "Июльского дождя". Посмотри на Запад - и помолодеешь. Насмотревшись "8 1/2" Федерико Феллини режиссер Марлен Хуциев снял "Июльский дождь", где прямо калькирована жена Марчелло Матростройни - Анук Эме - актрисой Евгенией Ураловой. Там же под Марчелло работал, как две капли воды похожий, Александр Белявский. Параллельно диктовал свой художественный вкус Эрих Мария Ремарк - "Три товарища". Марлен Хуциев все время таскал с собой на Шаболовку эту книгу. Я работал у него в объединении "Экран" в киностудии. Да и все мы читали тогда взахлеб эту гениальную книгу. А Марлен Хуциев дочитался до того, что "Застава Ильича", или "Мне двадцать лет" пронизана Ремарком, вплоть до самых на-

туральных московских трех товарищей с Рогожской заставы, хотя сам Марлен Мартынович в то время жил, по-моему, в Лялином переулке, или на Смоленском бульваре.

А Феллини сидел на фоне шелковой драпировки. Он был в больших, неестественных очках в тяжелой оправе, в модном сером в елочку пиджаке и в галстуке. Потом пошли кадры, как репортер гонялся за маэстро, совал свой микрофон ему под нос, и неостановимо болтал. Морозов выключил плеер.

Он подумал, что Светлане недостает более простого взгляда на вещи.

Вот уже восемь лет они говорят о том, чтобы завести ребенка. Бесконечные разговоры, с кучей длинных синтаксических конструкций, начинающихся фразами типа "Видимо, все-таки нужно ждать" или "Сразу ничего не бывает...". Потом у них был период, когда они не вставали с постели по 36 часов, полагая, что этот марафон даст видимые плоды.

Свет ночника походил на блудницу, вернее, это Света сама светилась ночной лампой, ночной бабочкой, она была той, которая отдается всецело, без остатка, с помутненным взглядом и набухшими, как весенние почки сосками. Она была нежнее нежного, особенно в той части бедер, которые скруглялись к той части тела, которая находилась ниже спины, и та вкусная часть, если присмотреться, и как бы уменьшить размеры, походила на сочный персик с заманчивой ложбинкой, и таким же едва заметным пушком, что так украшает женскую кожу, скрытую большую часть жизни от созерцания.

Страсть Светланы была одновременно и изящной и дикова-той. Она даже рычала в моменты наивысшего подъема божественного действия. Диван трещал под ее вибрирующим существом. Морозов уставал, откидывался рядом на спину и тяжело дышал. У него немели руки, потому что он выполнял гимнастические упражнения словно на бурсях. Но, одержимая страстью, Светлана вспыхивала снова и снова, она вся была пронизана сексом. Всё дышало любовью: груди, ноги, руки, подмышки, живот, спина, и то что ниже.

И опять они говорили о ребенке, что вот на этот-то раз у них дело сладится, и, как поется в песне, узелок завяжется.

Но, эти их разговоры, не шли ни в какое сравнение с постоянными назойливыми вопросами, которые Светлана задавала сама себе практически ежеминутно. Хотела бы она ребенка? (Наверное, хотя...). Хотела бы она его сейчас (Может быть...). Как насчет работы? Как насчет денег? Как насчет сна, друзей, курения, выпивки, дачи, и как насчет того, что ей нельзя будет есть острую пищу? О Боже! Дети его не любят, а она любит, и как насчет детских песенок вместо Битлов и как насчет постоянного созерцания родителей Морозова, ведь это будет их первый внук. И как насчет той клятвы, которую они сами давали друг другу сорок лет назад, в том, что они никогда, ни при каких обстоятельствах не заведут ребенка. А Морозов родился.

Иногда после занятий любовью Светлана представляла нижнюю часть своего тела, как предмет для безумных удовольствий, и только. Все ее сомнения о другом предназначении любви сразу улетучивались, как она соединялась с Морозовым. И тут возникала поэзия блаженства, отпущенного каждому человеку Богом.

Умение быть поэтическим в прозе, говорит о преодолении мелодии. Мелодия строится на постоянных повторах, как и стихи на рифмах. Это крайняя зависимость поэтов от ритмики и рифмы. Зависимый человек редко выбирается на дорогу самостоятельности, исключительности, высшей художественности. Высшая художественность заключается в том, что идет поперек устоявшимся нормам и правилам. Так в прозе пришел Андрей Платонов. Для наглядности приведу пример из кино: так в Москву пришел Федерико Феллини с "8 1/2", самое интересное, я смотрел его в августе, как сейчас помню, 1963 года на московском кинофестивале, когда маэстро Феллини ошеломил всех. Нельзя сказать, чтобы пошли в нашем кино с тех пор плагиаты, но в каждом серьезном фильме виделся Феллини, особенно у Марлена Хуциева в "Июльском дожде", где даже актер Александр Белявский был двойником Марчелло Мastro-

яни, а Евгения Уралова двойницей Анук Эме. В 1982 году Михаил Козаков снял фильм "Покровские ворота", в котором Феллини сидит почти в каждом кадре из "Амаркорда" и "Рима", особенно гоняющий туда-сюда мотоциклист, не произносящий в фильмах ни слова.

Казалось, что они с Морозовым застряли: застряли в своей тесной квартире, застряли в своем состоянии будем-или-небудем заводить детей, застряли с одними и теми же друзьями, вечеринками, работами и делами и она не могла себе представить, что же может освободить их, продвинуть на новую ступень их совместной жизни. Она однажды что-то такое читала, что относилось, как ей казалось, к политике, но отлично описывало их затруднительное положение: Когда старое отмирает, а новое не рождается, появляется множество нездоровых симптомов". Ссоры и обиды сменяемые по-детски напряженными примирениями и легким флиртом, секс без предохранения, с последующим боязливым ожиданием ее месячных... у них есть все нездоровые симптомы, с которыми они могут справиться.

Иногда Морозову казалось очень странным, что он преподает начертательную геометрию. А почему он не художник, не актер, как Марчелло Мاستрояни, или не режиссер, как Федерико Феллини. Хотя отчетливыми мыслями они не были. Он смутно, очень туманно понимал всю случайность своего существования, своего появления в своё время на свет. Неужели в любви зарождается тот человек, который будет преподавать начертательную геометрию? Это же бред какой-то. Но самому Морозову об этом думать было еще рано. Он сам никак не мог сделать ребенка. Хорошее выражение "сделать ребенка". Вон по улицам ходят миллионы специалистов по изготовлению детей. И как только они ухитряются ежедневно и ежечасно изготавливать новых людей. А для этих новых уже всюду есть вакансии: водопроводчик, офицер, бухгалтер, преподаватель начертательной геометрии. Хорошо бы звучало, когда мужчина ложится на женщину и говорит:

- Я сделаю тебе сейчас доцента кафедры начертательной геометрии!

Это же бред какой-то. Вы только посмотрите, кто ходят по улицам. Те, которые вылезли из живота женщины, оплодотворенной в экстазе секса мужчиной.

А мужчина ли сам Морозов, если он с жадностью трахает ежедневно по несколько раз свою Светлану в течении восьми лет, а результат равняется нулю? Голому нулю.

У Светланы была одна странная особенность. Она как бы боялась пустого пространства. Вся тесная прихожая была заставлена какими-то ведерками, бутылками с водой для полива цветов - она выращивал герани, которые стояли черт знает где, даже на шкафу, не говоря о подоконниках в комнате и на кухне, на разных полочках и стеллажах. На столе в кухне не было живого места: какие-то вазочки, розеточки, дуршлаки, тарелки, солонки, мясlenки, баночки... как только Светлана увидит где-нибудь свободное место, так сразу туда водружается какая-нибудь мелочевка вроде её косметички или коробка спичек. А уж пепельниц было бессчетно. Светлана курила стоя у окна, потому что на стульях обязательно что-нибудь лежало, вроде разделочной доски с ножами и вилками, или стоял утюг. Приходя из магазина с сумкой, Морозов в некотором бешенстве ходил с этой сумкой по квартире, не находя места, куда бы её поставить.

- Свет, ну ты хоть бы место на кухонном столе освободила, - говорил он, пытаясь втиснуть сумку с продуктами между разными деталями Светиноного заставления всего и вся.

- Ты меня не любишь, - говорила на это Света.

- При чем здесь любовь, когда ногу некуда в доме поставить.

- Нет! Ты меня не любишь!

Ещё у Светланы была одна странность. Она всё время окликала Морозова, как только он подходил к двери, собираясь выходить из квартиры. Вот только ботинки наденет, вставит ключ в скважину, так сразу слышится голос Светланы:

- Там мусорное ведро переполнено, плохо пахнет, вынеси!

Морозов послушно идет на кухню, достает из шкафчика под раковиной ведро и идет с ним на улицу. Три этажа вниз. Три этажа вверх.

Или, уже ботинки надеты, ключ повернут, вот-вот Морозов уйдет на работу, как голосок тормозит его:

- Мне не с чем кофе пить. Сбегай за пакетом молока.

Морозов послушно бежит в гастроном на противоположной стороне улицы. Время поджимает. Он торопится. Три этажа вниз, три этажа вверх.

Или, уже и ключ повернут, и за дверь вышел, но еще не успел дверь затворить, как арканчик голоса Светы ловит его:

- Сбегай в аптеку, у меня голова разболелась, купи пенталгин. И регулярно, так далее, каждый божий день.

Свихнуться можно, но Морозов не свихивается.

Пасёт она его грамотно, методично, со скрытым садизмом, присушим горячей любви.

Несмотря на то, что это был субботний вечер, они рано легли. На улице февраль и в прогнозе сказали, что ночью будет дождь со снегом и сильный ветер; они лежали в кровати и прислушивались к стукам и свистам, доносящимся с улицы.

- По звуку кажется, что кто-то находится на крыше, - сказала Светлана.

Морозов думал о том же. Их квартира находилась на последнем этаже трехэтажного дома, и они привыкли к скрипу кровельного железа где-то в метре над головой, но эти звуки были им не знакомы...

- Послушай, - сказала Светлана. - Слышишь это? Это не ветер.

- Как же кто-то мог туда забраться? - спросил Морозов.

- Легко. Все что тебе надо сделать - это перелезть с балкона Барановых на наш, а потом по стене на крышу.

Рабочие, сбрасывающие снег с крыши, легко делают это.

- Но зачем кому-либо понадобилось бы туда забираться? Если бы он хотел ограбить кого-то, то он бы не полез дальше балкона.

Они умолкли и стали слушать внимательней, но скрип прекратился, и Светлана продолжила читать "Палату номер 6", а Морозов уткнулся носом в ее плечо.

- Получается, что нет смысла заниматься этим, да? - сказал он. - С твоими месячными и вообще... Если это из-за меня не получается завести ребенка, то тебе нужно искать другого.

- Это все происходит не так, как ты себе это представляешь, дурачок. И вообще было бы лучше, если бы ты иногда брал меня и по другим причинам. Раньше была страсть, а теперь ты думаешь только о ребенке.

- Ну да. Раньше ты была моложе на восемь лет.

Она стукнула его Чеховым по голове, и он поцеловал ее, тут она замерла и уставилась в потолок.

Наконец, после мучительных, долгих размышлений Морозов решил сходить к врачу, но не в поликлинику, а подыскал себе хорошего частного врача, специалиста по этому делу, армянина. Когда первый раз он позвонил в дверь армянина, то услышал щелчок сначала одного замка, потом второго, где-то справа, потом третьего - чуть ниже, потом что-то заскрежетало, словно отодвигали железную задвижку, затем еще что-то металлически лязгнуло, присвистнуло, скрипнуло, и тяжелая железная дверь с тремя глазками открылась. На пороге стоял добродушный седовласый смуглый человек в красно-синей футболке клуба ЦСКА, и широко улыбался. Морозову сразу так и хотелось спросить: "Где золото держим?!", но он смиренно представился и проведен был в дорого обставленную комнату с огромным, во всю стену, зеркалом.

Ходил Морозов к армянину месяца три, пока окончательно не выяснилось, что он непоправимо бесплоден. Это произошло за кофе с бутербродами с красной икрой. Армянин с улыбкой, мягко, очень интеллигентно растолковывал Морозову суть проблемы:

- Мужские репродуктивные органы расположены как внутри тела, так и вне. Яички вырабатывают сперму и гормон тестостерон, отвечающий за формирование половых признаков.

Из яичек сперма поступает в спиральные канальца эпидидимиса - органа, сохраняющего и питающего сперму по мере ее созревания. Созревшая сперма по семявыводящему протоку поступает в семенные пузырьки - две мешочкообразные железы, сохраняющие сперму.

Морозов с томительным волнением, как приговоренный, выслушивал.

Армянин продолжал:

- Весь процесс спермообразования до момента полного созревания занимает примерно 72 дня. При эякуляции секрет семенных пузырьков смешивается с густой жидкостью из простаты, образуя семенную жидкость. Существуют две основные формы мужского бесплодия - секреторная и обтурационная. При секреторной форме нарушено образование сперматозоидов в извитых канальцах яичек, при обтурационной имеется препятствие на их пути к мочеиспускательному каналу... У вас нарушено и то, и другое. Да и вообще в 40 процентах случаев незачатия повинны мужчины...

Ну, и так далее. Всё это обошлось Морозову в очень кругленькую сумму.

Армянин глотнул из позолоченной чашечки кофе и чуть ли не весело, похлопав Морозова по плечу, сказал:

- А вы возьмите себе ребеночка из детского дома, если уж не можете жить без детей.

Когда Морозов шел домой, то все время думал об этом предложении. Потом, через неделю, стараясь говорить так же весело и непринужденно, как армянин, сказал Светке:

- Давай возьмем ребенка в детском доме.

Светлана ахнула и упала на стул с разделочной доской с вилками и половниками, которые со звоном полетели на пол.

Потом, когда они лежали в горячих объятьях, она сказала вдруг:

- Только девочку.

Морозов счастливо и облегченно вздохнул, через минуту почувствовав неимоверную тягу к ней.

юрий кувалдин

Он поцеловал Светку сначала в губы, крепко, язычок к язычку, лаская её остренький язычок своим возбужденным язычком, затем стал жадно целовать её груди, сначала левую, втягивая губами в себя соски, похожие на продолговатые ягоды спелого шиповника, и правую, и, спускаясь ниже, гладил ладонями её белеющий в темноте живот, и ещё ниже в прозрачных зарослях распустившуюся роскошную розу, с развернутыми нежными лепестками, и втягивал губами в себя маленький, но растущий шипик, отчего Светка восторженно стонала.

Через полгода он оформил на свое имя полуторагодовую синеглазую, русоволосую девочку, которая стала Настей Морозовой.

"Наша улица" №154 (9) сентябрь 2012

ТЯЖЁЛЫЙ КРЕСТ

В глубине просторной квартиры, в музыкальной комнате, представлявшей собою концертный зал, в сорок метров, звучал то вкрадчиво, то мажорно рояль. Композитор Рябушкин вкладывал все свои эмоции в сочинение симфонической поэмы "Тяжелый крест" на одноименное стихотворение Бориса Пастернака, томик которого стоял раскрытый на пюпитре.

Любить иных - тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносителен...

Рябушкин то шурился, то откидывался назад, пальцы сами находили нужные клавиши, вскидывал брови, играл одной рукой, пока другая поглаживала лысину, а затем седую бороду, пришептывал строки стихотворения, потом на несколько мгновений отрывался, брал карандаш и быстро разносил жирные точки по линейкам нотного стана. Композитор писал. Играл экспромтом, без всякой заготовленной мысли, так, как пишутся истинные музыкальные шедевры. Рябушкин так погружался в свои новые сочинения, что не видел ни комнаты, ни книжного стеллажа, ни подлинников Казимира Малевича и Эдуарда Штейнберга на стенах, ни клавиш, ни самого рояля, и даже томик Пастернака казался окном в другой мир, как будто Рябушкин сидел на облаке и парил над синим океаном.

Он слышал огромный оркестр, в котором преобладали медные духовые, и особенно трубы. Поэма у него уже переходила в оду, с торжественностью и парадностью, как у Рихарда Вагнера. И аранжировку Рябушкин прописывал с уклоном на духовые инструменты.

"Летучий Голландец", "Тангейзер" и "Лоэнгрин"... На вершинах классического музыкального духа, блистающего немец-

кими именами, самую высшую точку, пик, для Рябушкина занимает Рихард Вагнер. Он как бы объявил войну струнным инструментам, приглушив их, задвинув на задний план, хотя и им давал возможность показать себя в некоем миноре, в глади слегка волнующегося моря. Вагнер смело расширил изобразительную палитру оркестра, звучность которого отличается тембровым разнообразием и бархатной мягкостью, даже в самых оглушительных fortissimo. Оркестр в музыкальных драмах Вагнера намного превосходит состав обычного в то время оперного оркестра, особенно за счет увеличения медной духовой группы. Наибольший состав оркестра был у него в "Кольце нибелунга", что соответствует грандиозному замыслу тетралогии. Здесь он вводит квартет специально сконструированных туб (получивших название "вагнеровских туб"), басовую трубу, контрабасовый тромбон, восемь валторн. Каждая из групп этого огромного "трубного" оркестра составляет как бы самостоятельный, внутренний "оркестр в оркестре". Иными словами, посадил духовой оркестр в симфонический. Рябушкин считал, что весь монументальный, парадный, одический Дмитрий Шостакович весь целиком и полностью вышел из Рихарда Вагнера...

Квартира у Рябушкина была трехсотметровая из двенадцати комнат, с двумя туалетами. Рябушкин выселил из бывшей коммуналки всех жильцов, купив им по отдельной квартире в разных районах: в Свиблово, в Бутово, в Новокосино...

Бесшумно, как кошка, вошла Лена.

- Милый, я тебе приготовила, как ты любишь, оладышки с творожком, - с нежнейшим чувством как бы на одном дыхании проговорила она.

- Ангел мой, ты неотразима, - сказал Рябушкин, обнял Лену, прижимаясь к ней всем телом. - Как же я тебя люблю, сильнее музыки!

Они страстно слились в поцелуе. Рябушкин взял её на руки - Лена была миниатюрна - и понес в спальню.

- А как же оладышки?

- Потом, потом, потом, - целуя её в ушко, прошептал Рябушкин.

Страсть была неостановима и восторженна.

А в голове чей-то вкрадчивый голос шептал: "Пора выпустить Демона"...

Зал ресторана казался очень большим из-за того, что был увешан огромными зеркалами, от пола до потолка.

Рябушкин с некоторым волнением оглядел стол. Всё было, как положено, с композиционной выдумкой, с размахом. Тигровые креветки с салатом-микс, вялеными помидорами, ломтиками авокадо, свежими шампиньонами и горчишно-медовой заправкой. Нежные кусочки копченого лосося со сливочным хреном. Слабосоленая сёмга, осётр холодного копчения, белорыбица. Кусочки сельди на ломтиках бородинского хлеба, с отварной картошечкой, маринованным огурчиком и кольцами лука. Говядина в тесте с соусом из белых грибов. Тонкие ломтики ананаса с клубникой и шариком сорбета...

Была первая рюмка. И была вторая. И была третья...

Потом счет исчез. Были какие-то движения, погружения, перевоплощения. Кто-то что-то говорил, Рябушкин что-то возражал, произносил монологи, слушал. Кто-то пытался петь, постукивая вилкой и ножом по тарелке. За спиной гудел, приближающийся к платформе паровоз со звездой на лбу. Какие-то дамочки хвалились бриллиантами...

В какой-то момент Рябушкин увидел свое отражение в зеркале, и не узнал сам себя. На него смотрел заросший волосами то ли бомж, то ли пьяный поп-расстрига. Встряхнув головой, Рябушкин полез в первый попавшийся карман. Все карманы у него были набиты деньгами. Достав скомканные в большой комок, как будто это был гандбольный мяч, пятитысячные купюры, Рябушкин подошел к оркестру.

- Дай-ка я сбациаю! - сказал он, отстегивая часть комка саксофонисту, который руководил оркестром, влез на сцену, небрежно отстранил пианиста, сел на его место и, при общей тишине, воцарившейся на минуту в зале, ударил по клавишам и приклатненным голосом в микрофон вкрадчиво запел:

Когда с тобой мы встретились, черёмуха цвела
И в тихом парке музыка играла,
И было мне тогда ещё совсем немного лет,
Но дел успел наделать я немало.

Лепил я скок за скоком, а утром для тебя
Швырял хрусты налево и направо.
А ты меня любила и часто говорила,
Что жизнь блатная хуже, чем отрава...

Дальше петь не стал. Вскинул руки. Опустил голову и, покачиваясь из стороны в сторону, как покачиваются матросы на палубе корабля при шторме, с каким-то рычанием, скрипя зубами, вернулся за свой стол, и уставился тяжелым, сумрачным взглядом из-под густых седых бровей на большую хрустальную вазу с виноградом. Затем, молча, взял эту вазу, поднял, встал, сделал несколько шагов к ближайшему зеркалу, и со злостью, со всего маху толкнул эту вазу, как толкают от плеча железное ядро на соревнованиях по легкой атлетике, в зеркало. Раздался оглушительный звон битого стекла.

Подоспел швейцар, а следом, буквально через минуту, страж порядка с дубинкой...

Рябушкин открыл глаза и увидел себя в клетке.

- Ну что, оклемались? - вежливо спросил старший лейтенант.

Рябушкин тяжело вздохнул и согласно кивнул головой, хотя этих голов у него было три, как у Змея Горыныча.

- Я штраф заплачу, прямо тут, на месте, - пробурчал Рябушкин. - Только отпустите...

Старший лейтенант прогремел ключами. Рябушкин полез в один карман, в другой, в третий... Нигде денег не было. Пусто. Сунулся во внутренний карман. Вздохнул облегченно. Документы были на месте.

Вышел на улицу. Где он? Вдалеке узнал Боткинскую больницу. Так. Опять обшарил все карманы. Даже мелочи не было. "Обчистили", - догадался Рябушкин, и сам себе с подначкой сказал: "Пожалуйста бритесь!"

Постоял. Размышляя пару минут.

И поплелся в сторону метро "Динамо". А как он войдет в метро?! Даже на билет денег не осталось. С горя сел на ступеньки продмага, сорвал с головы пыжиковую шапку и со злостью бросил её себе под ноги.

И задремал. Сколько он дремал, не понятно. Когда же очнулся, увидел в шапке не только горку мелочи, но и бумажные деньги.

И купил четвертинку, выпил из горла без закуски...

Открыв глаза, Рябушкин увидел тусклую лампочку на низком потолке подвала, по стенам которого шли ржавые трубы. В углу на ящике сидел пробудившийся лысый, с косой челкой слесарь ЖЭКа. Чуть поодаль на каком-то тряпье спал пузатый и лысый, с открытым ртом человек без определенных занятий.

- Сколько там натикло? - спросил слесарь, увидев, что Рябушкин открыл глаза.

Рябушкин вытащил из-под себя затекшую руку с часами.

- Ё-моё, - тяжело вздохнул он. - Только пять часов.

- Чего?

- Утра...

- А не вечера? - уточнил вопрос слесарь.

Рябушкин попытался приподняться. Но с первой попытки этого сделать не смог. Весь организм болел какой-то тупой, вздрагивающей болью. Но со второй попытки Рябушкин сел. Увидел, что спал он прямо на бетонном полу возле теплой батареи.

Слесарь растолкал человека без определённых занятий.

На дощатом ящике стояли пустые водочные бутылки. Возле ящика лежало еще их несколько. Граненые стаканы сиротливо ждали наполнения. В консервной банке из-под килек в томате высилась гора окурков. Везде желтела кожура от бананов.

- Мы чего это, бананами закусывали? - удивленно спросил Рябушкин.

- Знамо дело! - воскликнул человек без определённых занятий. - Ты же сам на весь магазин орал: "Давай бананов возь-мем! От них изжоги не будет!". Ну мы и взяли...

Узким ходом поднялись по крутой лестнице, и вышли во двор, на зады к магазину.

Было холодно. Шел легкий снежок. Всех троих неимоверно трясло.

- Ща попробуем, - сказал слесарь, подошел к подвальному окну магазина, и постучал три раза быстро, а затем два раза медленно. - Мясника жена выгнала. Он должен тут ночевать.

И действительно, через минуту всклокоченный мясник открыл дверь черного хода.

- Дай бутылку до пятого, - сразу попросил слесарь.

- погоди, - сказал мясник, - я сам вчерась набухался. Никак не отойду.

И закрыл дверь.

Хотели закурить, но курева не было. Как и денег.

Человек без определённых занятий пропел:

Травы, травы, травы не успели
От росы серебряной проснуться...

В этот момент мясник вышел с двумя бутылками "Столичной".

- И я с вами махну...

- Ты бы хоть закусить чего вынес, - сказал слесарь.

- Какой там закусить! - откликнулся мясник. - Всё обратно пойдет.

- Это точно, - сказал человек без определённых занятий.

- А я ледком закушу, - сказал Рябушкин, преодолевая боль во всём теле и тошноту.

Он подошел к окну, и плавно стянул с железного карниза, как блин со сковородки, пластинку льда.

Рябушкину налили первому. Как уж он принял стакан, одному ему известно. Но хотелось от ужаса повеситься. Однако ледок затем захрустел на его зубах с явным удовольствием.

Когда день уже разыгрался, Рябушкин обнаружил себя у Дома композиторов. Как он сюда попал? Впрочем, это было не

главное. Вопрос заключался в том, чтобы, не останавливаясь, продолжить.

В фойе встретился известный халтурщик из оркестра Пирожкова, скрипач.

Он с нескрываемым любопытством взгляделся в бордовое, как у кочегара, лицо Рябушкина.

- Старик, ты, что, и вчера опять прожигал жизнь? Удивительное дело! Каждый раз, как я тебя вижу, ты страдаешь от жуткого похмелья. Неужели пьянствуешь беспробудно? Может быть, даже во сне пьешь?

Рябушкин возмутился.

- Обижает, дружище! - воскликнул он, скрывая жуткое недомогание, тошноту и дрожь во всем теле. - Я напиваюсь только по особо торжественным случаям. Обычно я очень умерен: две-три рюмки виски, стакан вина за обедом, может быть, рюмка коньяку с кофе - вот все, что я позволяю себе. Но вчера, это точно, я даже не помню, где поднабрался.

- Да, ну ты даешь, не помню, говоришь?! - Халтурщик рассмеялся несколько громче, чем хотелось бы, учитывая болезненное состояние Рябушкина.

- Да это и хорошо, что забываешь разную ерунду, - сказал Рябушкин. - Мозг отдыхает.

Халтурщик, что-то вспомнив, сказал:

- Ты не слышал вторую симфонию Замараева? Лихо он завернул!

- Нет, пока не слышал, - сказал Рябушкин, а сам подумал, что чем больше второстепенных имен назовет второстепенный музыкант, тем еще мельче становится он сам, превращаясь в едва различимую точку, исчезающую, как потухшая спичка в темноте. Всё это говорит об отсутствии мысли у этого музыканта, его привязанность к другим, таким же безмысленным. Что уж говорить о композиторе! Он по природе своей одинок, гений - тем более! Идти по чужому следу легко, но эти без мыслей идут, и удивляются, когда им говорят, что они следуют мнимым композиторам, да еще сопоставляющих плохое с худшим, но не дога-

дываясь об этом. Покрутятся в музыке год-два, как этот пустозвук Замараев, и исчезают бесследно из репертуара.

Одно мгновенье Рябушкин соображал, как лучше тряхнуть скрипача, но с ходу ляпнул:

- Дружище, дай-ка мне денег, сколько можешь, но побольше. - И стиснул зубы, опустив глаза в пол.

Халтурщик помялся, но, понимая, что просит у него известный композитор, полез в карман. Достал туго набитый кожаный с тиснением в виде российского герба бумажник. Вытанул шесть новеньких пятитысячных купюр.

- Твоё счастье, старик! Тут на трех похоронах сразу отпил, - сказал он.

- Ты меня знаешь! - уже достаточно бодро сказал Рябушкин...

Через неделю с грохотом распахнулась входная дверь. С притопами и прихлопами, с визгами: "Эх, раз, да ещё раз!" - Рябушкин, с лицом цвета красного кирпича, ввалился в квартиру, раскачиваясь из стороны в сторону. От него несло и перегаром, и одеколонами, и подворотней, и духами разных сортов. Следом за собой он втащил в квартиру за руку расфуфыренную женщину с надутыми, как две сосиски, губами, и повел её за руку через анфиладу комнат, по звенящему зеркальному паркету в компьютерную комнату, больше походящую на студию звукозаписи.

- Галька, шире шаг! - крикнул он, и шлепнул что есть мочи Гальку сзади.

Галька жеманно и с удовольствием взвизгнула.

Лена осторожно стала красться за ними, дверь осталась не притворенной, и Лена посмотрела на них с некоторым ужасом. Рябушкин, сбрасывая на пол свою дубленку с белым подбоем, заметил Лену и диким голосом крикнул:

- Уматывай к маме в свою Калугу!

Лена сразу зарыдала, хотя знала, что Рябушкин в запое, и может вытворять всё, что угодно. Лена всякий раз в такие моменты начинала рыдать. Они не были расписаны.

После семи официальных браков Рябушкин перестал ходить с новыми женщинами в загс.

Лена села в коридоре на пуфик и залилась водопадом слёз. Она была молода, моложе Рябушкина на сорок лет, молчалива и послушна.

Сбрасывая на ходу пиджак и расстегивая рубашку до пупа, Рябушкин заметил это, вышел в коридор и прохрипел:

- Ну, нечего сопли распускать. Подумаешь, бабу себе привел.

- Я не хочу вертаться в Калугу, - в рыданиях вымолвила Лена, сделав акцент на слове "вертаться", с окончанием на "и"...

- А я, что, гоню тебя? Живи. Но мне не мешай заниматься творчеством.

- Индо когда я тебе мешала? Никогда!

- Вот, правильно мыслишь. Только прекрати вкручивать свои колхозные словечки.

Рябушкин повторил слово "Индо", и расхохотался.

- Зачем ты... эту привел? - кивнула Ленка в на дверь музыкальной комнаты.

- За тем! - делая ударение на местоимении "тем", - сказал Рябушкин. - Каждый должен иметь свободу. А она к тому же певица.

Рябушкин специально произнес "каждый", как бы передразнивая Лену, у которой с речью было не всё в порядке. Провинция так и выпирала из неё.

Не выслушав ответ Ленки, Рябушкин поплелся в компьютерную. Галина дремала в кресле. Рябушкин достал из бара виски. Отвинтил пробку, налил полфужера, толкнул певицу в плечо.

- На-ка вреж для поправки.

Галина разлепила длинные ресницы, и выпила жадно, как кока-колу.

Рябушкин сел к пульту, включил одной рукой запись музыки своего нового шлягера, а другой рукой протянул Галине листочки с текстом. Та встала, процокала по паркету стальными тонкими высоченными каблуками, как лошадка, и положила

одну руку с длинными ногтями с черным маникюром на плечо Рябушкину. Из динамиков понеслось: тра-та-та, тра-та-та, бум-бум-бум... Галина голосом из подворотни, с хрипом и с проглатыванием некоторых согласных звуков буквально провела предложенный текст:

В парке снова листопад.
Завтра снег пойдет за ним.
Я люблю тебя в отпад.
Много лет и много зим...

- Ну, старуха, быть тебе в телевизоре!..

Через месяц, после прихода в себя, точнее: возвращения к себе, Рябушкин с новой, невиданной силой продолжил работу над симфонической поэмой "Тяжелый крест". Содержание произведения - это раздумья и лирические чувства человека, а также прозрение в понимании сущности краткой жизни одного человека, и бесконечной жизни человечества. Каждая строфа стала частью произведения. Три строфы Пастернака - три части симфонической поэмы Рябушкина.

Первая часть получила подзаголовок "А ты прекрасна без извилин". По форме она представляет собой сонатное аллегро, главная партия (соль минор) основана на двух темах. Первая песенная тема звучит у флейты и фагота на фоне тихого тремоло струнных. Мягкими приглушенными красками обрисована здесь излюбленная в русской поэзии тема любви как бы прорывающаяся сквозь таинство её сущности. Музыкае присуще сосредоточенное лирическое настроение: вторая тема главной партии способна вызвать у слушателей с богатым воображением образы, допустим, Офелии и Беатриче, которых Пастернак не упоминает, но все великие возлюбленные невольно читаются здесь.

Любить иных - тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,

тяжёлый крест

И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносильна.

Обе эти темы развиваются и приводят к яркой патетической кульминации.

Внезапно главная партия обрывается и на смену ей приходит лирическая побочная. Это тоже типично русская мелодия. Она льется свободно и извилисто, подобно прозрачной речке, которая течет по равнине, то огибая холмы, то снова привольно разливаясь в долине. По своему мелодическому складу, песенным интонациям, ладовой переменности (ре мажор - ля минор) напев этот близок народным протяжным песням.

Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл, как воздух, бескорыстен.

В разработке развитие достигает большой напряженности. Героический облик приобретает первая тема главной партии. Слышатся энергичные триольные возгласы у деревянных инструментов.

Реприза носит беспокойный характер. Тема главной партии звучит у струнных на тревожном фоне медных духовых инструментов. После проведения побочной наступает кода - напряженная и драматичная.

Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Все это - не большая хитрость.

Но в конце коды напряжение рассеивается. Слышится песенная мелодия главной партии в ее первоначальном виде - у флейты и фагота на фоне тремоло струнных.

Рябушкин страстно любил серьезную музыку. Слушал с детства Баха и Балакирева, Лядова и Вагнера, Бетховена и

Гайдна, Малера и Стравинского... И с трепотом и волнением - Рихарда Вагнера. И уже в зрелые годы Рябушкин понял, что любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся, и чтобы страстно полюбить музыку, надо прежде всего ее ежедневно слушать. Конечно, тут свою роль сыграл отец, обожавший классику, не пропускавший ни одного мало-мальски значительного концерта в консерватории, хотя был авиаконструктором, доктором технических наук.

Для Рябушкина высокая музыка прочно отделилась от массовых поделок, шлягеров, попсы, и вышла на новый круг возвышения, благодаря влиянию европейской, западной музыки.

Рябушкин много читал. Недаром он взял теперь Пастернака. В симфонизме он ориентировался на Марселя Пруста, и даже на Джеймса Джойса, который вообще отверг все правила сюжетной, фабульной литературы, этим как бы поставив заслон уже в XIX веке зародившейся попсе. Рябушкин считал, что там, где начинается бизнес на музыке, там искусство и заканчивается. В "советском искусстве" не было деления на собственно искусство и на попсу, то есть коммерческое нечто, что вливается в одно ухо толпы и выливается в другое.

Скрипки взвизгивали на фоне бархатных виолончелей, которые медленно тонули в трагических звуках труб.

То, что ты не задумывал для этой музыкальной темы заранее, то будет самым лучшим в ней, потому что настоящее искусство всегда спонтанно, не придумано. Рябушкин сам был то скрипкой, то флейтой, то трубой, то арфой, то чёрт знает чем, какой-то тенью самого себя, каким-то вывернутым наизнанку существом...

Всюду бродили тени, переливаясь со стен на пол, с окон на потолок, повизгивали, гремели бутылками и стаканами. Из одного лица вылезало другое, из другого - пятое, семнадцатое, учащаясь в ритме смены этих лиц, гаснущих, чтобы дать возможность показаться следующим, а сами гасли, превращаясь в тени, ветвистые, как зимние дубы. Тени садились в кресла и на пол, причем на одном кресле помещалось до сотни теней, но

глаза у них были самые натуральные, как яблоки, и вращались в орбитах с кольцами Сатурна. И тени эти со множеством черных рук пили, булькая кадыками, передавали поблескивающие в свете театральных софитов бутылки по кругу, кто-то рыдал, а кто-то орал песни, кто-то свистел, как на стадионе, крича истошно: "Судью - на мыло!", кто-то плясал в хромовых сапожках с красноюбочными цыганками, у которых золотые большие кольца болтались в ушах и на носу, кто-то огненно дышал в лицо Рябушкину и лез к нему целоваться... Сам он мямлял что-то, то ли валик от дивана, то ли чью-то шубу, то ли кого-то, и слышал: "Не хочу-у!" Это визжала пронзительно, забравшись на шкаф, пьяная в дымину официантка, обнажив толстый живот с черным отверстием пупка, изо всех сил пытаясь натянуть на голову подол платья.

Даже тот, кто далеко, стоит рядом, если он в твоём сердце; даже тот, кто стоит рядом, далек, если твои мысли далеки от него.

Тут как бы из воздуха соткалась жена Лена, молоденькая, с улыбкой Джоконды. Она заглянула в дверь.

- Ой, тебя по телевизору показывают! - воскликнула она.

Рябушкин, поглаживая бороду, прошёл в гостиную, где на огромном плазменном экране сидел он в кресле среди губастых крашенных лахудр.

Он поморщился, и побрел в глубоких раздумьях на кухню.

Лена пошла следом, как его тень.

А ТО

Стриженный под ежик Толька, в белых узких брюках, осторожно, чтобы не испачкаться, заглянул в яму. Голова еще сильнее закружилась, и к самому горлу подступила тошнота.

Из ямы пахло не то водкой, не то бензином.

Вчера Толька начал с того, что выпил с матерью и дядей Колей. Было еще не очень поздно, а они улеглись за ширмой. Толька смотрел телевизор. Из-за китайской с пальмами и красными попугаями ширмы слышались сладостные стоны и реплики:

- Хорошо-то как! - женский голос.

- А то, - мужской.

Выключил телевизор. Покурил на лестнице. Подумал. Пошел на улицу.

Отслужив армию, где и выучился на шофера, Толька уже три месяца отработал в этом гараже.

Слесаря сидели на его собственном карданном валу у накрытого газеткой инструментального ящика, на котором отсвечивала в свете лампочки-переноски сильно отпитая бутылка водки, и лежал со следами зубов надкусанный пупырчатый соленый огурец с веточкой укропа.

Толька даже отшатнулся.

Хриплый голос слесаря из ямы:

- Толик, у тебя кардан усох!

Голос другого слесаря:

- Ты что это вырядился в белые брюки, как в Индии?

- А ты, что, в Индии был? - спросил другой.

- По телевизору видал. В белых брюках таких, да ещё с накрученными на головах белыми полотенцами, и на слонах сидят...

- Сам ты слон! Полотенца... Чалмой это дело у них там называется!

Срывающийся голос Тольки:

- Да я не из дома.

Вчера после того, как притащила техничка на буксире его громыхающий железными бортами длинновоз на ремонт, а было это часа в три, когда в последнею езду у него застучал кардан, и после того, как посидел с матерью и дядей Колей, встретился с Зайцем, выпил с ним бутылку на двоих, и не известно как оказался в Текстильщиках у парикмахерши, маленькой, юркой, с выравленными перекисью завитыми волосами. И всё. Дальше, хоть убей, Толька ничего не помнил. Всплывали какие-то отдельные предметы в узкой комнате парикмахерши. Какой-то перекошенный комод, покрытый вышитой гладью с лебедем салфеткой, на которой в рядок стояли слоники. Да, еще смутно Толик помнил, что Заяц налил ему полный стакан, который, расхрабрившись, он выпил залпом и без закуски.

- Хочется захмелеть! - бодро сказа Толик.

- Надо бы новый кардан поставить, - сказал один слесарь.

- Я кардан нового образца на складе видел. Крестовина меняется только так! И карданы туда-сюда подходят!

И карданный вал со слониками на комоду стал плавать по комнате, пока не вознесся к самому высокому потолку к трехрожковой люстре.

Утром Тольку рвало прямо у комода. Он валялся на полу. Хорошо, что без брюк, которые висели на спинке стула. Парикмахерша кричала:

- Идите отсюда, чтоб вашей ноги больше у меня не было!

Заяц лежал в одежде под столом, одни ноги высывались, и, казалось, не дышал. Парикмахерша бегала от него к Тольке, трясла их, обливала из ковшика холодной водой, хлестала мокрым полотенцем по щекам, пока, наконец, Толька кое-как не натянул свои белые брюки-дудочки, и друзья не выползли на улицу.

Он ехал в троллейбусе. Справа показались трубы мяскокомбината. Вошел контролер. Толька ехал без билета.

- Ваш билет, молодой человек.

- Билета нет.
- Пройдемте.
- Ладно.

Только встал, огляделся. Зайца не было. Вроде бы вместе шли к троллейбусу от парикмахерши. Черт с ним, с Зайцем. Вечно куда-нибудь улизывал. А потом вдруг ниоткуда появлялся.

Следующие полчаса слесаря собирали пружинки и выпавшие "пальчики" из игольчатых подшипников. Шприцевали всё и прикручивали кардан.

На сундуке в кухне у Зайца спала тетка. Сундук был длинный, как гроб, и накрыт лоскутным одеялом. В глазах рябило от красных, зеленых, черных, желтых заплаток.

Четыре бокса. Один - двойной. Два подъемника. Яма. Бокс под покраску - есть камера. Есть карданбаланс - балансировка карданов и не только.

- У тебя, что, пяти копеек на проезд нет? - спросила контролерша с рыжими завитыми волосами.

- Откуда? - пробормотал Толька. - Вчера всё пропили.
- Эх, такой молодой, а уже пьянствуешь.
- Да не пьянствую я. Просто напилсь и всё.

Контролерша вывела Тольку на улицу. Моросил какой-то навязчивый дождик.

- Штраф нужно платить, - сказала контролерша.
- Чем?

Контролерша подумала.

- Ты работаешь?
- Ну.
- Зарплату получаешь?
- Ну.

- И чего ж без денег в троллейбус садишься?

- Да были вчера. Не осталось ни копейки. Сколько не получу, всё время исчезают...

- Как вода?
- Ну.

- Ну, иди тогда, - сказала она.

Только сказал: "Спасибо", - и пошел в горечи от вчерашнего до следующей остановки.

Было раннее утро.

Серые люди спешили в разные стороны.

У Калины собрались отмечать восьмое марта. У Калины квартирка была, как у Зайца. Мать уехала в деревню. Только бегал к метро встречать Зинку из Измайлово. Поскользнулся на ледке и вывихнул себе мизинец.

С болью увидел Зинку, накрашенную так, аж в глазах рябило.

- Ты чего морщишься? - спросила она.

- Палец сломал, - преувеличил Толька.

Зинка рассмеялась.

Калина налил в две бутылки из-под водки воды. Перед Зинкой ребята выпили по граненому стакану.

- И что с вами будет? - спросила Зинка.

На следующей остановке Толька опять сел в троллейбус. До Таганки доехал без приключений. И даже чуть-чуть лучше стал себя чувствовать.

В гараже его отсоединенный от тягача кузов стоял у ворот бокса.

- Ну чего ты там застыл, - сказал из ямы слесарь. - Иди сюда, поправь голову.

- Нет, я не буду. И так едва на ногах стою, - сказал Толька.

- Иди, нальем. Крепче будешь на ногах стоять.

Толька с трудом по наклону спустился в ремонтную яму. В торце на полу медленно вращались лопасти вентилятора, несмотря на разгонявшийся застоявшийся воздух. Лампа-переноска сильно ударила светом в глаза. Толька зажмурился.

Слесаря налили ему полстакана.

- На-ка, подлечись.

- Да я как-нибудь перемучаюсь, - сказал Толька.

Слесаря переглянулись и улыбнулись.

- Привыкай сам себя на ноги ставить.

Только взял предложенный стакан с черными отпечатками пальцев слесарей, поднес ко рту и чуть не уронил стакан, так его стало выворачивать от одного запаха спиртного.

- Не дыши, махни сразу, - сказал слесарь. - Вот тебе огурец. Из-под ног с газеты был извлечен новый огурец.

Только просчитал про себя до трех, выдохнул и залпом влил в рот водку. В горло она сразу не пошла, но каким-то невероятным усилием он распахнул глотку, и водка побежала по пищеводу, обжигая его. Сразу вцепился зубами в огурец, из которого брызнул и в рот и наружу спасительный рассол.

Спустя мгновение Только сказал:

- Кажись, прижилась.

- А я что тебе говорил! - воскликнул слесарь.- Сядь, посиди, - добавил он, придвигая к Тольке пустой ящик.

Только присел и почти мгновенно ощутил какую-то радость в душе. Что-то зазвучало в ней, как бы мелодия знакомой песни, которую много раз слышал, но запомнить не мог.

- Ты вчера сколько плит положил себе? - спросил другой слесарь.

- Пять, - вспомнил Только.

- То-то и оно! Пять... Вот у тебя и хрястнул кардан.

Только возил тяжелые бетонные плиты перекрытий на стройку.

- Три - максимум, - сказал слесарь.

- Я два рейса по пять сделал, - сказал Только.

- Вот и надорвал кардан. Как только у тебя движок не заклинило?!

На длинном сундуке с пестрым одеялом у Зайца сидели после работы и крутили магнитофон с Элвисом Пресли.

С другой стороны ямы у железной лестницы стояло с вмятыми боками черное ведро с густым маслом, из которого торчал, поблескивая шейками для крепления шатунов, коленчатый вал. Зачем они его-то сняли? Что, и коленвал накрылся?

- Да это с другой машины, - сказал слесарь, заметив его взгляд.

Толик встал, прошел к ведру, положил руку на торец вала, и тут же отдернул. Вал был горячий. Толик поднял голову, осмотрел днище своей машины. Но разглядеть толком ничего не смог. Тогда он взялся за перекладину узкой лестницы и полез ближе к движку. Он сделал несколько шагов по ступенькам, но двигатель не приближался. Толька полез дальше, поглядывая вверх. Но машина поднималась все выше и выше. Толька лез за поднимающейся машиной, но никак не мог долезть. Потом машина отошла в сторону, открыв небо в белых облаках.

Толька взглянул вниз. Под ним оказалась пропасть какого-то двора. Он крепче вцепился в перекладину пожарной лестницы, прикрепленной к стене дома. Эта стена была без окон, и очень высокая. Толька решил долезть до крыши. Он перестал смотреть вниз, чтобы не пугаться. С новым усердием полез вверх. Лестница стала заметно со скрипом покачиваться. Задул приличный ветерок. Толька в страхе, даже холодный пот по спине побежал, посмотрел вниз. Дна двора уже нельзя было разобрать. Вдруг длинное звено лестницы под Толькой с металлическим лязгом оторвалось от стены и полетело вниз, с громкими стуками ударяясь о стену, пока где-то очень далеко и глубоко не ударилось о одно двора. Толька висел на руках на перекладине лестницы, как на турнике.

Он из последних сил подтянулся, увидел дверь своей квартиры, сунул ключ в замок, открыл и вошел. Из-под двери соседней щелью скользил по полу масляный свет.

Мать сидела за столом с незнакомым мужчиной. На столе стояла откупоренная бутылка водки.

- Вот и Толик пришел! - воскликнула раскрасневшаяся мать, взбивая пальцами бордовую завивку. - Садись к столу.

Толька, как рыбка в аквариуме, подплыл к столу, сел на старый стул с круглой спинкой.

- Здрасьте, - сказал он.

- Здорово! - сказал мужчина и протянул руку. - Павел, - представился он.

Только пожал не очень уверенно руку гостя, сказал:

- Толя.

Павел улыбнулся, сверкнув золотыми передними зубами.

- Паша, налей сыночку, надо выпить со свиданьем, - сказала мать.

Павел неспешно обхватил крупной ладонью бутылку, налил сначала матери, затем полстакана Тольке.

Выпили. Только стал есть ложкой винегрет, прикусывая большим ломтем черного хлеба. Губы стали синеватыми от свеклы.

Мать о чем-то заговорила. Павел что-то поддакивал.

Только лег на свой узкий диван и уснул.

Он услышал сквозь сон сильный скрип материнской кровати из-за ширмы. Потом до него донесся шепот матери:

- Хорошо-то как, Паша!

И затем тихий голос Павла:

- А то...

Кровь ударила Тольке и верх, и вниз.

На приступке у магазина "Обувь" сидела полноватая продавщица в короткой юбке с раздвинутыми ногами.

- Чего после работы делаешь? - непринужденно спросил Только, закуривая и присаживаясь рядом.

Она обвела его изучающим взглядом.

- Да так... - неопределенно ответила она.

- Пойдем ко мне.

- А чего ж не сходить.

Он открыл дверь и провел её мимо комнаты соседей к себе. Мать сидела за столом с дядей Серёжей.

- О! - воскликнула мать. - У нас гости?!

На столе уже стояла, поблескивая в свете люстры, отпитая на треть бутылка, но Только вытащил из кармана и поставил свою.

- Вы винегрет-то кладите! - потчевала мать.

Выпили. Мать с продавщицей запели:

а то

По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах...

Когда погасили свет, Толька разложил свой диван.

За ширмой заскрипела кровать, донесся тишайший голос матери:

- Хорошо-то как!

И ответ дяди Серёжи:

- А то...

Диван Тольки стал плавно, как лодка на речной глади, покачиваться.

- Скажи, как мать: "Хорошо-то как!", - попросил он продавщицу, когда кровь горячо запульсировала.

- Хорошо-то как! - простонала продавщица.

Из-за ширмы раздался громкий смех матери, и басовитое дяди Серёжи:

- А то...

ВЫРАЗИ ТОЧНЕЕ

- Тебе нравится жена Маяцкого? - спросил Сиротин, очкастый и с проплешинами, преодолев смущение, потому что не мог сразу об этом спросить, хотя его, как приятеля, интересовал этот вопрос.

- Да что ты!... Да я и не думал об этом... Нет, - сказал Фомин, который в этот момент производил какое-то странное впечатление своей заторможенной речью. Голос у него был высокий и протяжный. Как будто пел. Хотя изредка Сиротину он многое рассказывал. Да и выпивали они частенько.

Маяцкий был седой, узколицый, довольно моложавый, хотя было ему под шестьдесят. Маяцкий казался Фомину глубоким стариком, поскольку самому Фомину исполнялось на днях двадцать девять.

Сиротин пригвоздил его этим неожиданным вопросом.

Наверное, нужно было сказать иначе, потому что Сиротин не собирался задавать вопрос, но все-таки задал, вопрос о жене своего шефа Маяцкого, с которой тот прожил уже три десятилетия.

Фомин и Сиротин, как обычно болтая, стояли у большого окна в широком паркетном коридоре института. Окно было односторчатое с большим квадратным стеклом.

Фомин закурил свою "яву". Сиротин не реагировал на дым. Он только потирал свои руки до локтя, покрытые черными волосиками. Он был в ковбойке в синюю клетку с короткими рукавами.

Через некоторое время Сиротин повторил то же самое. Потом с некоторым волнением посмотрел Фомину в его бледно-серые глаза. Фомин вдруг как-то весь подобрался, словно его подловили на утаенной фразе, и начал говорить о каких-то пустяках. А сам в это время прикидывал, где, кто и когда мог видеть его с Татьяной Ивановной.

Событие, о котором он теперь задумался, было в те дни, когда и других забот хватало. Дело в том, что в четверг была назначена у него регистрация в загсе. В предыдущий же четверг Фомина вызвал директор его известного своими новыми разработками в области связи и космоса НИИ и предложил ему должность заведующего сектором, вместо умершего Берга. Потом к тому же его статью опубликовал научный журнал.

Ею заинтересовались за границей, включив статью Фомина в список лучших материалов месяца. Об этом сообщили и несколько наших газет, в одной из которых напечатали даже фотографию Фомина. Потом прошел синхронный сюжет по первому каналу телевидения с его интервью, сделавшим Фомина почти известным.

Из этого совершенно ясно, что все те дни Фомин пребывал на каком-то пике волны, катившей его с улыбкой по будням. И объяснять не стоит, что он делился удачами со своей невестой Наташей, дочерью известного хоккеиста.

Правда, хоккеист давно уже не играл, но будучи вторым тренером одной из команд, имел много друзей в спортивном мире, и в его квартире всегда было полно гостей. Фомин оставался несколько в тени, хотя и его приветствовали хоккеисты и футболисты, нечуждые другим сферам деятельности, перебрасывались с ним двумя-тремя фразами, поздравляли с научным успехом.

В середине недели он с Наташей смотрел в театре "Чайку", где было много сотрудников его института, поскольку билеты распространялись профкомом, но ему казалось, что все зрители смотрят на него, узнают. Встретившись с его глазами, прикрывали свои глаза, говоря этим, что он им известен как яркая личность. В антракте у буфета в полукруглом фойе, где наливали водку и шампанское, несколько человек пожали ему руку. Он смущался, а Наташа краснела.

Редко когда его так выделяли из окружения, и в нём возникли некоторые туманные догадки о его будущности.

Болтая с Сиротиним об этом, Фомин удивлялся, что все эти дни стали какими-то нереальными. Ему казалось, что он выпи-

вает каждый день по фужеру коньяка, хотя в эти дни абсолютно ничего подобного в рот не брал, но состояние было кайфовое, и, главное, без всяких болезненных последствий.

После бесконечных разговоров с коллегами и прочими людьми о своем успехе, их возгласов вроде: "Ну, старик, ты дал прикурть!" - ложась спать, он чувствовал какое-то не знакомое ему до этого головокружение.

Только он смыкал вежды, как множество самых разных лиц, сменяя друг друга, наплывали на него, словно с экрана телевизора. И сразу же возникали какие-то театральные картины. Если, конечно, вся жизнь есть театр. Он узнавал себя в открытой машине с маршалскими погонами на Красной площади принимающим парад. Потом - едущим почему-то на броне танка по Большой Никитской, где почти во всех домах открывались окна, а из рюмочной напротив консерватории выбежал кудрявый толстяк в комфляжной военной форме, и во всё горло закричал: "Вы видите! Это Фомин! Смотрите, это наш герой науки!"

Бронетранспортер въезжал на бульвар, где толпилось множество людей. Их глаза старались зорче разглядеть Фомина.

"Смотрите на Фомина! В мгновение стал знаменитым!" - читалось ему в этих взглядах.

Фомин не в состоянии был объяснить, каким образом пришли в возбужденное состояние все эти люди.

Послужила ли причиной вызвавшая внимание научной среды статья Фомина, или удивил тот факт, что его рекомендовали на должность вместо Берга?

Фомин жил в то время в Капотне, на возвышенности. Из окон он видел поворот реки, а с другой - вышки и трубы нефтеперегонного завода. На самой высокой вышке временами горел факел, сжигая лишний газ. Фомина никак не брал сон, потому что всевозможные возвышенные видения тормозили его. Он отбросил одеяло, поднялся, пошел на кухню, чтобы покурить в раздумьях.

Разумеется, Фомин старался взять свои мысли в управление, но во время созерцания реки и факела завода, в голову

стали вливать совсем другие мысли, не о новой статье, не о Наташе.

Как-то Фомин спустился на этаж ниже с какими-то бумагами. А там отмечают день рождения Татьяны Ивановны. Он поклонился, сказал несколько теплых слов, и вышел. Татьяна Ивановна ослепила его своими синими, не голубыми, а именно глубоко синими светящимися глазами. Как только Фомин раньше не замечал этих глаз. Он сбегал на улицу, купил букет хризантем и бутылку "столичной". Вернулся и, несколько смущаясь, еще раз поздравил Татьяну Ивановну. А она встала из-за стола, приблизилась к Фомину и, коснувшись его груди своей полной грудью, поцеловала в щеку.

Самое интересное, как говорил Фомин, изливаясь длинным рассказом, Татьяна Ивановна была абсолютно незаметной, каковых множество, женщиной, но не понятно как, когда он её увидел какими-то новыми глазами, она запала в его душу. Все дела отошли на второй план, и работа и Наташа, и он видел постоянно возникающее лицо Татьяны Ивановны. Когда нужно было думать о новом назначении, о предстоящей свадьбе, из головы Фомина не исчезал образ этой женщины. Даже ещё не пытаясь проанализировать своё состояние, ему страстно хотелось сблизиться с Татьяной Ивановной. Прямо-таки зациклился на этом влечении.

- Ты понимаешь, старик, я совсем спятил на этом, - признавался Фомин очкастому Сиротину. - Совершенно не мог заснуть все эти дни. Лягу, ворочаюсь, иду курить, потом принимаюсь читать... Всё без толку! Не лезет она у меня из головы, и всё тут! Сначала я думал, что она мерещится мне только по ночам, но потом вдруг, в метро, прямо увидел её. Черт знает что! Смотрю, и вижу её напротив себя, а я сидел, но тут же вскочил, уступая её место. Пришел в себя, посмотрел - другая женщина. В голове у меня была полная каша. И, представляешь, мне нужно было идти к Наташке, а я видел не её, а Татьяну Ивановну.

Сиротин внимательно посмотрел сначала на Фомина, потом в окно, и неопределенно заговорил:

юрий кувалдин

- Я очень люблю сахар. И не просто потому, что он сластит чай, а потому, что он это делает тихо, незаметно и сам исчезает с глаз долой. Не было и нет. А сладко. Такое же впечатление остается от вежливых людей. Они приходят всегда вовремя, с ними легко говорить, они не противоречат, ничего не доказывают. И, главное, уходят всегда так вовремя, даже чуть опережая это "вовремя", что оставляют сладкое чувство, как растворившийся сахар в чашке чая. Особенно мне сладостны прозрачные стихи, но в них есть сладость, и я знаю, что там был когда-то сахар, но исчез.

"Наша улица" №157 (12) декабрь 2012

ШОПЕН

Совершенно расслабленный, умиротворенный Уваров сидел на старом очень мягком диване и слушал игру Коростышевского. В комнате был синий полумрак. Лишь направленно светила настольная лампа на клавиатуру рояля. Коростышевский играл Шопена.

Уваров поглаживал рыжего кота, хвост которого был свернут замысловатым вензелем. И вместе со звуками рояля переносился в какие-то неведомые выси. Он увидел, как золотые отблески нового утра вспыхнули на горизонте, и воздух, казалось, задрожал от нетерпения встречи с новым днём, как высвечивал детство Уварова, хотя он с полной ясностью, во всем объеме не видел широты дня в небесном пространстве. И заиграли сполохи золотого света, и внезапно там вдалеке над всей необъятностью мира выкатилось огромное колесо солнца. Оно явилось как бы из ниоткуда, из бездонной пустоты, черной и холодной.

Коростышевский совершенно не походил на пианиста. Он был приземист, излишне полноват. С круглыми щеками и приплюснутым носом боксера, стрижен коротко, как стригутся те же боксеры, "под полубокс". И играл он не так, как другие длинноволосые пианисты. Не закатывал глаза. Не откидывался назад. Не встряхивал головой.

Скорее, Коростышевский походил на бухгалтера, который, сидя в нарукавниках за столом, считает на счетной машинке годовой баланс. Он не выказывал никаких чувств. Его короткие толстые пальцы едва умещались на клавишах. Но никогда он не задевал соседнюю клавишу, всегда точно нажимая нужную.

Когда Коростышевский сделал паузу, окончив одну вещь, и собираясь начать другую, Уваров сказал:

- Какая грустная мелодия.

- Даже тоскливая, - сказал Коростышевский и добавил: - В одном из писем Шопен признался, что, когда он выходит из дому, идет на улицу, то страшно тоскует, и опять возвращается домой, чтобы омузыкалить хандру...

Кот мелодично урчал, а Уваров прикрывал глаза, и под Шопена неспешно разглядывал свою небольшую, ему шел 35-й год, но уже содержательную жизнь так, как разглядывают люди частенько во мраке незнакомого длинного коридора манящий свет в торце, который предполагает выход на лестницу и к лифту. Так и Уваров увидел этот свет, и улыбнулся, хорошо же было лет десять назад, когда окончил институт, затем женился и родители купили ему однокомнатную квартиру в Беляево, как он потом защитился, а жена родила дочку, но потом всё стало как-то темнеть, и тьма эта стала сгущаться вокруг него, потому что институт его ликвидировали и продали здание какому-то крупному бизнесмену, а жена оказалась невыносимой стервой.

Она считала, что управляет им, вооружившись кнутом крика, звучавшим без умолку всю их совместную жизнь, и стегая Уварова беспощадно и день, и ночь. Она была натуральной стервой, то есть тем существом женского рода, которое первенство свое в семье доказывает хлестаньем кнута. Эта ежедневная агрессивность жены отторгала Уварова все дальше и дальше от неё. Он молчал. А ей казалось, что ему нравится ходить как теленку под присмотром пастуха.

Мало того, жена постоянно критиковала Уварова. Ей казалось, что наибольшее влияние на него она оказывает через постоянные замечания. Но меры она не знала, ибо основное свойство стервы - злоба. Всепоглощающая, маниакальная, беспредельная, переходящая в жестокость. Жена постоянно хотела унизить Уварова, высмеять. И он, в конце концов, сдался, взял портфель и ушел к родителям, но там вскоре умерла мать, а отец через месяц привел другую, и Уваров вынужден был ходить теперь по друзьям, ища ночлега.

Он понимал, что у отца была другая женщина. Однажды, когда мать лежала в больнице, навестив её, Уваров решил за-

ехать к отцу. Открыл дверь своим ключом, а ключ от родительской квартиры у него был, и, пройдя в дальнюю комнату, где спали родители, застал отца голым на женщине в состоянии сексуального экстаза. Они Уварова даже не заметили. Он ошалело на цыпочках прошел по прихожей, вышел на лестничную площадку, бесшумно закрыв за собой дверь на ключ.

К Коростышевскому, с которым он был знаком с детства, ибо родились в одном дворе в Большом Кисельном переулке, он и пришел с целью просить ночлега, но с порога постеснялся говорить об этом, вот и сидел уже несколько часов с чашкой чая, слушая Шопена. И пока так сидел и слушал, то понял, что проситься на ночлег к молодому пианисту, солисту филармонии неприлично. И в один из моментов, когда Коростышевский так пронзительно исполнил один из пассажей, слезы хлынули из глаз Уварова, но он тут же прикрыл лицо ладонью, как бы подчеркивая этим жестом, что он погрузился в Шопена до самого второго дна.

Был уже час ночи. Но Уваров не мог встать, потому что не знал, куда сегодня направить свои стопы для ночлега, а во-вторых - он действительно был растроган игрой Коростышевского, такой домашней, уверенной, без всякой позы. Коростышевский так разыгрался, что не мог остановиться. Уваров уже перестал думать о метро. Черт с ним! Всё как-нибудь само рассосется. Главное, он наслаждался Шопеном. Коростышевский играл и вальсы, и прелюдии, и мазурки, и даже исполнил "Берсёз, соч. 57; Кантабиле си бемоль мажор".

- Я просто не понимаю, как ты так спокойно сидишь, попадаешь пальцами в нужные клавиши, а музыка взвивается, летит, притормаживает, плачет, смеётся... А тебе хоть бы хны! - приложив пальцы ко лбу, в задумчивости в паузе сказал Уваров.

Коростышевский встал из-за рояля, прошелся бесшумно по ковру.

- Физическая сторона дела не нужна при игре. Ведь я играю не пальцами, а внутренней музыкой. Это трудно так сразу

сказать. Но дергаться за инструментом, и закатывать глаза не надо. Тут, понимаешь, дело во внутренней структуре самого тебя, как инструмента... Пстой, - вдруг сказал Коростышевский, и снял с полки книгу. - Вот я тебе сейчас прочту пару абзацев, а ты почувствуй внутреннюю суть того, что открывается за текстом.

Уваров внимательно следил за Коростышевским. Тот сел в кресло, включил торшер, засветившийся красноватым светом, прошелестел страницами, и начал читать:

"Князь Му, повелитель Цзинь, сказал Бо Лэ: "Ты обременен годами. Может ли кто-нибудь из твоей семьи служить мне и выбирать лошадей вместо тебя?" Бо Лэ отвечал: "Хорошую лошадь можно узнать по ее виду и движениям. Но несравненный скакун - тот, что не касается праха и не оставляет следа, - это нечто таинственное и неуловимое, неосязаемое, как утренний туман. Таланты моих сыновей не достигают высшей ступени: они могут отличить хорошую лошадь, посмотрев на нее, но узнать несравненного скакуна они не могут. Однако есть у меня друг, по имени Цзю Фангао, торговец хворостом и овощами, - он не хуже меня знает толк в лошадях. Призови его к себе".

Князь так и сделал. Вскоре он послал Цзю Фангао на поиски коня. Спустя три месяца тот вернулся и доложил, что лошадь найдена. "Она теперь в Шаю", - добавил он. "А какая это лошадь?" - спросил князь. "Гнедая кобыла", - был ответ. Но когда послали за лошадью, оказалось, что это черный, как ворон, жеребец.

Князь в неудовольствии вызвал к себе Бо Лэ.

- Друг твой, которому я поручил найти коня, совсем осрамился. Он не в силах отличить жеребца от кобылы! Что он понимает в лошадях, если даже масть назвать не сумел?

Бо Лэ вздохнул с глубоким облегчением:

- Неужели он и вправду достиг этого? - воскликнул он. - Тогда он стоит десяти тысяч таких, как я. Я не осмелюсь сравнить себя с ним, ибо Гао проникает в строение духа. Постигая

сущность, он забывает несущественные черты; прозревая внутренние достоинства, он теряет представление о внешнем. Он умеет видеть то, что нужно видеть, и не замечать ненужного. Он смотрит туда, куда следует смотреть, и пренебрегает тем, на что смотреть не стоит. Мудрость Гао столь велика, что он мог бы судить и о более важных вещах, чем достоинства лошадей. И когда привели коня, оказалось, что он поистине не имеет себе равных..."

Коростышевский захлопнул книгу.

- Значит, ты проник в строение духа?

- Примерно так, - сказал Коростышевский, вернулся к роялю, и опять заиграл Шопена.

"Он просто помешался на Шопене", - подумал Уваров, погладив животик рыжего кота, который в блаженстве лежал на спине, раскинув лапы в стороны.

Коростышевский играл баркаролу

Уваров даже не понял метаморфозы. Вроде бы еще звучал рояль, а он стоял в арке подворотни. Как он распрощался с Коростышевским? Как вышел из квартиры? Как спустился в лифте? Вопросы риторические. Уваров просто и ясно видел двор из-под арки. И снег. Снег был подчинен Шопену. Потому что снег не падал, а висел в синем воздухе, как тюль на окнах.

Ночь.

На улице ни души.

В этот момент Уваров ощутил себя не совсем понятным себе. Он не понял, что с ним. Но с ним было что-то не так. Его как бы обжег колючий, странный холод, лежавший льдом в ногах. Да, на улице была зима, висел недвижимо снег. Но дело было не в этом. Уваров даже нагнулся, чтобы посмотреть на свои ноги. И обомлел. Он стоял в одних носках. Мало того, что он не помнил, как покинул Коростышевского, так он еще забыл надеть ботинки! На всякий случай он проверил шапку. Та была на месте. Куртка тоже была на нем. Даже шарф обогрел шею. Но ноги!

- Эй, парень! - послышался хриплый голос сзади.

Уваров оглянулся. В арку входил худощавый, высокий, с рожими кудрями человек в тельняшке, словно только что сошедший на берег с корабля. Но ладно бы это. Лицо его улыбалось. А в руке блеснул огромный кухонный нож.

Уваров сделал несколько шагов во двор, забыв, что он в одних носках. Пока делал эти шаги, поглядывал назад. С ножом уверенно шел за ним. "Всё, погиб!" - простонал мысленно Уваров, и резко развернувшись, быстрым шагом пошел навстречу человеку с ножом. Тот остановился в некоторой растерянности. Но когда Уваров миновал его и уже выходил из-под арки на улицу, тот развернулся и пошел следом.

Выскочив на улицу, Уваров почувствовал ужас во всем теле. Он думал, что это недоразумение, что человек с ножом ищет кого-то другого. Но не тут-то было. Уваров ускорял шаг, оглядываясь и видел, что рыжекудрый в тельняшке преследует не кого-нибудь другого, а именно его.

Если во дворе было тихо, и снег как бы висел недвижимо в воздухе, то на улице поддувал ветерок, разгоняя и закручивая снежинки в воронки.

Уваров бросился бежать. И слышал стук бегущих за ним шагов. У преследователя были, видимо, крепкие ботинки со звонкими каблуками.

Уваров бежал вдоль фасада длинного дома. Увильнуть было некуда. На проезжую часть улицы? Но это бы значительно облегчило задачу преследователю, бежавшему ритмично, без всяких слов, молча.

Это особенно устало Уварова. Он бежал, даже не бежал, а летел бесшумно, быстрее, чем мог бежать, быстрее собственной тени, которая то падала в свете фонарей, то исчезала, когда Уваров эти фонари проскакивал. А расстояние между высокими фонарями было приличное. И в беге судорожно Уваров соображал, кто это целенаправленно гонится за ним? Наркоман? Маньяк? Серийный убийца?

Просто грабитель?

На прямой абсолютно безлюдной дистанции расстояние между бегущим изо всех сил Уваровым и кудрявым в тельняшке стремительно сокращалось.

Пока Уваров в диком, животном страхе убегал от убийцы, в носках, по колдобинам льда, по промерзшему асфальту, то отбил себе все пятки и ступни, до синяков, до крови. Ноги сначала болели так, что хотелось орать во всё горло. Но мысль леденящая, что можно вот так ни за что, ни про что быть зарезанным на улице, умаляла эту уже ставшую второстепенной боль в ногах. В одном месте он въехал в какой-то кирпич большим пальцем правой ноги так, что тот хрустнул, и искры посыпались из глаз от нестерпимого шквала чудовищной боли.

Решение пришло как-то само собой. Вдоль тротуара стоял длинный ряд припаркованных машин. Уваров резко дал вправо и проскочил в довольно-таки узкий коридор между машинами к проезжей части. Преследователь не сразу среагировал на вираж жертвы. В тот проход, в который метнулся Уваров, он не успел. Инерция пронесла рыжекудрого с блеснувшим ножом в следующий просвет между машинами.

Правда, с Уварова в этом повороте слетала шапка, и он было хотел вернуться за ней, но понял всю наивность этого желания. Перед глазами закачались чашечки весов в руках с перевязанными глазами Фемиды: жизнь или смерть. Да и шапка была старая, потертая, из кролика.

Но, если Уваров высочил на гладкую часть тротуара, то преследователя ожидала неприятность. Тот ряд, в который он нырнул, упирался в бордюрный камень, ограждавший присыпанный снегом газон.

Уваров беспрепятственно пробежал по ровному тротуару, и с полной выкладкой спринтера ринулся на ту сторону улицы. А преследователь со всего маха распластался на газоне. И, когда Уваров был уже на той стороне и наблюдал за преследователем, тот с невероятным трудом поднял голову, потряс ею, видимо, сильно приложился, но затем отжался довольно проворно на руках, вскочил сначала на колени, а уж затем - в рост. Ог-

ляделся. Рыжие волосы крупными кольцами развевались на ветру. Заметил на той стороне Уварова, и с удвоенной резвостью бросился за ним.

И нож поблескивал, поблескивал.

Уваров уже забыл, что он был в одних носках. Он мчался по улице так резво, как никогда не бегал. Маньяк с ножом ни в чем ему не хотел уступать. И так как ноги у маньяка были длиннее, то расстояние между ними опять медленно, но верно стало сокращаться.

И Уваров понял, что ему не уйти. Когда он это понял, перед ним возникла яма с буквой красной "М". Не соображая, открыто ли метро, нет ли, Уваров в мгновение ока пересчитал босыми ногами, вернее, ногами в носках ступени, оглянулся, и увидел вверху монументальную застывшую фигуру преследователя с поднятым вверх сверкающим в свете фонарей ножом.

В метро маньяк спускаться побоялся.

Уваров свернул направо, и нырнул в открытые двери. Метро заработало.

Но куда Уварову ехать? Он присел в центре зала на скамейку. Дыхание никак не могло наладиться. Он дышал нервно и прерывисто, даже судорожно, и, казалось, вот-вот задохнется.

Уваров только теперь почувствовал, что он весь не просто мокрый от бега, он весь в мыле. И страх перебирает все части его тела под Концерт для фортепиано с оркестром фа минор, Вариации ор. 2. И здесь, в метро, Концерт производил ошеломляющее впечатление на Уварова, ничего подобного этой музыке не слышавший.

Буквально через две минуты пришла простая и понятная мысль - выйти в другую сторону станции, вернуться к Коростышевскому, надеть ботинки, и тогда уже решать, как быть дальше. В конце концов, Уварову просто захотелось попить чаю.

Он торопливо прошел на дрожащих ногах, всё время оглядываясь, всю неимоверно длинную платформу, пугаясь грохота подходящего и отходящего поездов, поднялся на коротком эскалаторе, и вышел на улицу. Прежде чем двигаться в сторо-

ну дома Коростышевского, внимательно, часто дыша и сглатывая слюну, осмотрелся: не караулит ли где его маньяк?

Нет, того нигде видно не было. Уже шли, позевывая и покуривая, редкие прохожие в метро. Тем не менее, Уваров не поленился сделать очень значительную петлю, постоянно останавливаясь и озираясь, чтобы в безопасности возвратиться к дому Коростышевского.

Шопен был нездоров.

Нельзя не сказать о его чудесной игре, которую вряд ли можно забыть.

Те, кто его хорошо знал, могли почувствовать, что в разговоре он редко раскрывается, и то лишь перед самыми близкими.

Зато на фортепиано он делал это с исключительной полнотой, здесь он раскрывал свое подлинное "я" так, что всякие воспоминания о чем-либо ранее слышанном исчезали сразу.

Никто так не прикасался к клавишам, никто не извлекал из них таких бесчисленных оттенков.

И во двор Уваров входил, как вор, озираясь. Коростышевский открыл подъезд не сразу. Конечно, он уже крепко спал. И сильно удивился внезапному возвращению Уварова. Даже остановил взгляд на его ногах.

Уваров от нестерпимой боли поджимал то одну ногу, то другую. Носки были в клочья разорваны, отовсюду сочилась кровь.

Коростышевский воскликнул:

- Что с тобой?!

- Да так, - отмахнулся Уваров.

Он не любил распространяться о всяких личных неприятностях. И этот случай зловещей погони замкнул на себе.

- Дай мне, пожалуйста, зеленки или йода...

Нашлось то и другое.

Минут двадцать Уваров простоял в ванне с горячей водой. Ступни и пальцы ног были сине-бурого цвета. И заметно опухали.

Потом, когда вылез из воды и принялся мазать ноги ваткой на палочке йодом и зеленкой, они стали вообще всех цветов радуги.

- Можно я прилягу? - спросил дрожащим голосом Уваров.

- О чем речь, старик. Ложись на диван, - с испугом в глазах, но добродушно сказал Коростышевский.

Во сне Уваров сильно вздрагивал и тоненько повизгивал, как сторожевой пёс. Под "Тетчинский вальс". После вступления ожидалась бравурная тема. Но первая тема вальса была певучая, плавная, как песня, хоть и шла в быстром темпе. Мелодия излагалась параллельными секстами и звучала как согласный дуэт.

ЯУЗСКИЙ БУЛЬВАР

В переулке пустом в лужу падает синенький свет из окошка. Феофанов в объётах сжимал Дегтярёву страстную ночь. Ладно, что там грустить. Пусть одна остается Дегтярёва. Феофанов пойдет мимо церкви сквозь двор проходной, как всегда он ходил к Дегтярёвой. И даже, бывало, с цветами.

Дегтярёва впитывала лучи Феофанова, забывая себя в ночной синеве. Дегтярёва - манящее тело. Флейта, льющая звуки любви для него одного. Слабый свет ночника. Контур нежный лица на подушке. Участилось дыхание, как будто в стремительном беге. Ни догнать, ни унять эту страсть в этот миг им двоим невозможно. Трепетанье, волнение, стеснение от перевоплощения в диких, жутких существ. В этой женщине единственной, полностью, сфокусировалось всё блаженство жизни. А Феофанов болезненно переживал, что Дегтярёва со временем превратится в старуху, станет некрасивой, и, как церковная тонкая свечка, совсем погаснет. А Феофанов так и будет бодро шагать по бульвару, представляя, что за руку держит свою любовь. Её взгляд чуть с улыбкой в тени синим шелком сверкает. Что-то птичье, невинное есть в этой песне любви. И он видел её пред собой, отстраняя тревожные мысли, но они, как ни брось, составляли всю силу любви. Мысль о бренности тел вызвала в нём пламенный ужас, но светилась звездой Дегтярёва, владея бессмертным лучом. Всё погаснет, бесспорно, но звездочка будет в окне.

Был уверен и точен в движениях скальпель хирурга - Феофанов провёл операцию очень прилежно. Он во всем достигал, как желал, красоты демиурга. Медсестра Дегтярёва взяла его за руку нежно. Может быть, все врачи рождены для словесного дара: Кобо Абэ, Рабле, Буссенар... и, конечно же, Чехов... Феофанов, хирург, был зависим от слова не даром, он писал свою жизнь не спеша, не гонясь за успехом.

Перешёл Феофанов длинный мост, то на золотого прямого Ивана Великого глядя, то на вышку высотного дома в Котельниках, не спеша миновал этот мост у впадения Яузы в Волгу. Феофанов исключал Москву-реку из потока сознания, называя её сразу Волгой. Что правда. Если снять все слова из названий, то названий не будет. Будет просто «вода», да и та испарится без слова. Феофанов с любимой своей Дегтярёвой обожал этот мост. Они вечно ходили к метро по нему, чуть обнявшись. От Дегтярёвой пахло яблоками. Феофанов любил этот запах. Вдыхал его полною грудью. И срывал эти райские яблочки каждую ночь. А, случалось, и днём.

Ходит так по Москве Феофанов с румяным яблоком своим Дегтярёвой. Любит "Иллюзион" кинотеатр при впадении Яузы в Волгу. Любит выпить впотымах, когда луч на экране мерцает. Курасава, Феллини, Тарковский... Не в кафе, не в каком-нибудь праздничном месте. А сразу Феофанов ведёт Дегтярёву с бутылкой прозрачной на Котельники в "Иллюзион". Чтoб никто не узнал, как легко отпивают из горлышка горький напиток на последнем ряду в темном зале. В этой вольности - смак! А потом, запьянев, он ведёт её, где ни попадя жадно целуя, по Серебрянической набережной в Николо-Воробьинский переулкo слушать драму «Грозу».

У ворот их встречает Островский, как старых знакомых. Покосились домишки, бегущие под гору к речке. Дегтярёва взмахнула руками, как птица при взлете. Драматург бородатый открыл даже рот в изумленье, и попятился медленно к старым воротам скрипящим. Дегтярёва, как чайка, легко воспарила бесшумно над Николо-Воробьинским переулком, и оттуда, сверху, голос, как клёкот понесся:

- Отчего люди не летают, как птицы? Мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горке Воронцова поля, так тебя и тянет лететь. Вот как я сейчас взлетела!

Александр Николаевич крикнул в небо:

- Если вы птица, так играйте же в моей «Грозе»!

Дегтярёва спустилась с небес, и поцеловала Феофанова.

- Сумасшедшей любви на земле не поставишь предела! - воскликнул тот и обнял возлюбленную.

- Драматург нас же видит! - Она рассмеялась при этом.

- Ничего, обнимайтесь! - сказал восхищенно Островский. - Я и сам целоваться любитель. Здесь на горке писал, и её целовал вечерами.

- Мы всё знаем о вас. Вы известный властитель амуров, - Дегтярева сказала, и долу глаза опустила.

Подхватив её на руки быстро, Феофанов под горку по-мчался.

Феофанов всё время рискует, себя превращая в страницы с бегущими буквами в строчках. Как они не похожи на то, что случилось в реальном положении предметов и лиц. Он туда не вернется, даже если захочет. То прошлое перестало являться жизненным фактом, потому что сам факт жизни есть сущий ноль без кодирования знаками. И так, пишем.

Дегтярёва спросила его.

И Феофанов ответил, даже не ответил, а закричал на весь Николо-Воробьинский переулок, надрывно закричал, как кричали и кричат актёры во всех московских театрах, как будто все кругом глухие, но Феофанов всегда ощущал себя молодым, и кричать ему хотелось, и он закричал за непризнанного гения Треплева:

- Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не надо!

Его книга была о врожденной безвестности тел, о пустых, о несчастных, каких-то потерянных душах, что желают напиться, но всюду им ставит предел государственной службы тяжелая мертвая туша. Человек будет мертв, если слово не льется в сосуд его детской души - ведь она обнажается в книге. Феофанов-хирург отделял своё тело от книг. Книга вечно живет. Ну а тело - не более мига. Человек, как смеситель, лишь очень капризный прибор для работы со словом, для новых его комбинаций, открывающих тайны, которых не знал до сих пор: человечество всюду едино без стран, и без наций.

Этот смутный рассвет он в душе своей тихо узрел. Сила жизни струится по буквам божественной кровью. Тело в Слово вошло. Он, как яблоко, в букве созрел. Он себя повторяет, копируя тело любовью. И невольно рисует любовь, будто Храм на крови. Он себя сохраняет в пропитанных совестью строчках. Всюду девственность тает в младенческой влаге любви и себя раскрывает, как новая клейкая почка. Так и будет всегда - тело в книге веков воскресает. От себя, от хирурга - ремонтника тел, рвётся ввысь, потому как пришла ему истина очень простая - в каждой строчке пульсирует Словом спасённая жизнь.

Золотых колокольчиков звуки утихают в осеннем саду. Паутинка колышется в солнце. В пирамиде застыл фараон с кровеносной звездой меж глазами. Свет холодный лежит по углам. За забором идут конвоиры. На рассвете упал человек. Не уклюже. Был в круглых очках.

Расстрелян.

Дегтярёва спросила Феофанова.

И он ответил.

Покидая любовь в этот вечер сталисто-прохладный, Феофанов послушает звон поперечных трамваев внизу. В чёрном небе стоят фонари с золотыми шарами приветствий. Водосточные трубы сверкают ночными огнями тоски.

Нет, не сразу пойдет. Постоит, отражаясь едва в этой луже, такой примитивно-зеркальной. Убегает опять эта осень сусальных кленовых распятий. Сколько золота сразу и жадно уносит с собою ноябрь, но деревья пустые открыли фасады домов, как картинки открывал Феофанов когда-то, Рембрандтом любуясь, больной.

Каждый прожитый год остается во тьме, словно вовсе и не был. Феофанов идёт одиноко, но чувствует взгляд себе в спину. Кто следит за Феофановым? Кто торопит его всё сильнее? Кто Рембрандтом грозит из теней сумасшедшей картины?

Всё здесь с детства знакомо, как вечно знакома вода в этой луже вечерней, зеркально лежащей у дома. Двухэтажный жел-

ток, подоконник с цветами, как в раме. Три ступеньки ведут за скрипящую дверь на диван. Там Дегтярёва, как волна, сладко дышит от неги усталой.

И она не узнает о том, как он точкою сник в перспективе. На углу уже нет старой булочной, с детства знакомой. Как нет храма, в котором, отчаявшись, старенький Тихон проклинал мошкар, облепившую детское солнце.

Не смотри в эти окна. Там нет тебя. Больше не будет. Обойди эту церковь с решеткой. В калитке - иконка. На стене безоконной рекламы холодной отсвет. А здесь к Язуе спуск переломом булыжным, горбатым.

В синем отблеске ночи манят Феофанова голые плечи Дегтярёвой. Вот и сброшено платье - вся белая в неге стоит перед ним. Это сладостный сад Феофанова. Любовь и счастье его, Дегтярёва. Возлюбленные!

А на маленьком столике дольки лимона и кофе.

Дегтярёвой казалось, что спит она крепко, а сердце ищет милого в облаке страсти. Вдруг слышится голос его: "Дай мне яблочко вкушать, дорогая моя голубица, дай в росу окунуться и влагу ночную впитать!" И раскрылась она перед ним, и скользнул он в морскую прохладу, так что всё у неё затрепетало внутри.

Целовал её грудь, и живот, и скрываемый остров, и с горячим дыханием нырял в золотую волну. И у самого дна он почувствовал нервно и остро силу влажной любви, уподобленной сладкому сну. Это всплеск, это шторм, это тонущий, бьющийся парус. Это всхлипы и стоны сближений преступная суть. Это новой волной воскрешается таинство старой, чтобы с мелкою дрожью в пучине любви утонуть.

Феофанов увидел, что книга его светом ярким осветила всю ненависть тех, с кем давно был знаком. «И-и-их! - за спиной Феофанов услышал вдруг всхлип санитарки: - Как не стыдно хирургу писать о постыдстве таком!»

Главный врач пробурчал: «Вы себя уронили так низко... Стали просто каким-то порочным... блудливым котом!» Лишь в

юрий кувалдин

короткой юбчонке его секретарь-машинистка подмигнула с хитринкой, мол, встретимся с вами потом.

Рад Феофанов тому, что не дёрнулся, не заметался, а остался спокойным, как крепкий хирург и поэт. Не включил себя в сеть паутины людских пререканий. Сам с собою живёт, создавая свои представленья. Делай только своё, никогда не вступая в чужое.

О тебе пусть болтают, что ты оторвался от мира,
что живёшь, как поёшь, воробьём пролетая над лужей.
Равнодушно взирай на чужую в твой адрес сатиру,
даже бровью не вздрогни, когда о тебе поползут наговоры.

"Наша улица" №159 (2) февраль 2013

УСТАЛОСТЬ

Просторный коридор квартиры в сталинской высотке был неярко освещен настенными бра, отражение которых плавало по натёртому, как в 50-е годы, паркету. Направо и налево шли комнаты с двустворчатыми белыми дверями с бронзовыми ручками в виде голов львов. Тут и там стояли кресла и мягкие диванчики. Из глубины квартиры, из дальней комнаты слышались приятные звуки классической музыки.

Самая дальняя большая полутемная комната была разгорожена ширмой с синей шелковой драпировкой с ярко-белыми изображениями античных скульптур. На старинном резном комоде среди прочих безделушек стоял довольно большой бюст Бетховена. По всей видимости, статичность вещей, существующих в этой квартире, передана им собственным пониманием живущих в ней людей, что только эти вещи, живущие рядом с ними, знают этих людей, говорят с ними, чувствуют только их.

На ковре лежал огромный черный пёс. Ньюфаундленд любит молчание. Голос он, практически, никогда не подаёт, даже в игре. Видя в руках хозяина какое-нибудь лакомство, демонстрирует свой восторг всеми способами - только не лаем.

По "Радио Орфей" звучал Георг Фридрих Гендель "Кончерто гроссо фа мажор, Op. 6 № 2 Ч.4. Allegro ma non troppo" в исполнении оркестра "Артисты Флоренции", дирижер Уильям Кристи. Отец мальчика желал, чтобы его сын сделал юридическую карьеру и в высшей степени недоброжелательно относился к его музыкальным интересам. Талант маленького Генделя обнаружился рано. Генделю не было и 8-ми лет, когда он играл на органе в присутствии герцога в его саксонской резиденции Вейсенфельсе, и способного ребёнка отправляют на обучение при брандербургском дворе в Берлине. Курфюрст Фридрих Третий, герцог Магдебурга, был настолько поражен мастерством мальчика двенадцати лет, что даже предлагал от-

цу Генделя финансировать музыкальное образование сына в Италии и помочь ему после успешного выпуска занять должность при Берлинском дворе. Прусский король Фридрих Вильгельм Первый был чрезвычайным поклонником произведений Генделя...

- Я устала, я больше так не могу жить, - сказала она.

- От чего ты устала? Что ты сразу на меня тоску нагоняешь?

- спросил он.

- Вот уж воистину: фигово, когда твои друзья тебя не ценят, но еще фиговее, когда тебя ценят и одобряют твои враги. Устала я. Устала. От своей жизни я устала, господа.

- Господа?! Что ещё за господа?

- Да так... Звонила Малиновская, объяснялась в симпатии ко мне... Это после того, как в 80-м году она написала на меня докладную...

- Забудь. Вычеркни её из списков навсегда... И не нагоняй на себя тоску. И, потом, ты это словечко "фигово" не произносила вечность...

- Вот и вечность вернулась фигово...

- Ты эту фиговую тоску нагоняешь на себя, а она переходит и на меня. Мы оба пребываем в какой-то идиотской тоске...

- Но что делать, если мне действительно до смерти тоскливо!

- Фигово нагонять на меня тоску. Что ты всё время на меня нагоняешь тоску?!

- Я не нагоняю на тебя тоску. Я сама тоскую. И очень устала, - сказала она.

- Я никак не пойму, от чего ты устала? В чем дело?

- Да ни в чём. Просто я устала. Я же тебе сказала, что я очень устала, - сказала она.

- Чего-чего?

- Ты что, глухой? - спросила она.

- Нет. Пока слышу прилично.

- То-то и вижу, что ничего не слышишь, - сказала она.

- А что я должен слышать?

- Да не слушай, если ты не понимаешь то, что я тебе говорю. У меня плохое настроение, - сказала она.

- И зачем оно?

- Что "оно"? - спросила она.

- Ну, ты заговорила про настроение... - сказал он.

- А что о нём говорить. Я просто устала, - сказала она.

- Усталость помогает пониманию жизни.

- Только не мне. Я тупею от усталости. О каком понимании может идти речь?! - сказала она.

- Читай классиков. Они всё про усталость сказали.

- Мой любимый Акутагава сказал, что счастье классиков в том, что они мертвы, - сказала она.

- Ну, разумеется, Акутагава глубоко прав, усталость у них прошла.

- У классиков усталость прошла, но они нагоняют страшную тоску на меня, - сказала она.

- Классики?

- Ну, не все, конечно, - сказала она.

- А какие? - спросил он.

- Изъезженные, - сказала она.

- И кого же ты изъездила?

- В нашей литературе? - спросила она.

- Да где угодно. Я, например, не устаю от классиков.

- А я устаю, - сказала она.

- Значит, ты плохо знаешь классиков.

- Классика всегда отдаёт мне классом. А я не люблю классов. Как вспомню школьную программу, так мне делается плохо, - сказала она.

- Что ты сейчас будешь делать? - спросил он.

- Подумала, может быть, почитаю что-нибудь, - сказала она.

- Кого ты хочешь почитать?

- Не знаю. Кого-нибудь, чтобы только захватил меня.

- Давай я тебе вслух почитаю.

- Почитай.

- Ну вот, хотя бы, эту книгу, - сказал он.

Ньюфаундленд принес в зубах из другой комнаты красный резиновый мячик, некоторое время полизал его влажным языком, затем положил голову на него, прикрыл глаза и задремал.

- Ты кого там с полки снимаешь? - спросила она.

- Лежи, тебе вредно беспокоиться, - сказал он.

- Книгу за семью печатями?

- Книга за семью печатями была для неграмотных, коих в России было 90 процентов, считавших своё состояние полным счастьем, ибо голова была ничем не забита. Вот и сейчас бродят Фомы неверующие, не знающие, как включается компьютер и что такой сайт. Им нужно до сих пор клепать буквы по бумаге. Я бы предложил нашим новым неграмотным писать свои имена на лбу, чтобы сразу было видно, идет крепостной из деревни Брыкины горки в сельмаг за Букварем. А ведь интернет - это книга будущего, которое наступило вчера. Земная жизнь не по-Тютчеву объята снами, а она всегда была и протекала в интернете. Мы до поры до времени об этом не догадывались. Только любили повторять, дни проходят, как во сне.

- Мне интересно, кого ты будешь мне читать?

- А я не скажу.

- Скажи.

- Нет.

- Ну скажи.

- Я не скажу. Просто почитаю. Так загадочнее и интереснее.

- Подкати поближе к дивану. Я хочу, чтобы ты был рядом.

- А-га, чтобы ты подсмотрела, что я тебе буду читать!

- Хорошо. Сиди там в углу под лампой, - сказала она.

- Мне здесь под лампой очень уютно.

- Читай.

- Сейчас найду то, что хотел тебе прочитать.

Он повернулся немного вместе с креслом, протянул руку к книгам, благо стеллаж был за спиной. Снял книгу, зашелестел страницами.

- Не шелести так громко, а то я сразу устаю.

- Ладно, буду тихо.

- Нашел?

- Нет еще. Дай немного полистать. Бесшумно, - сказал он.

- Ну?!

- А вот. "Как оно там случилось, не знаю, но только вскоре зажили мы хорошо и весело.

Пришли к нам плотники, маляры; сняли со стены порыжелый отцовский портрет с кривыми трещинами поперек плеча и шашки, ободрали старые васильковые обои и все перестроили, перекрасили по-новому.

Рухлядь мы распродали старьевщикам или отдали дворнику, и стало у нас светло, просторно и даже как-то по-необычному пусто.

Но тревога - неясная, непонятная - прочно поселилась с той поры в нашей квартире. То она возникала вместе с неожиданным телефонным звонком, то стучалась в дверь по ночам под видом почтальона или случайно запоздавшего гостя, то пряталась в уголках глаз вернувшегося с работы отца.

И я эту тревогу видел и чувствовал, но мне говорили, что ничего нет, что просто отец устал. А вот придет весна, и мы все втроем поедем на Кавказ - на курорт.

Пришла наконец весна, и отца моего отдали под суд..."

- Ну, что ты остановился?! Читай дальше. Это откуда? - спросила она.

- Ты не догадываешься?

- Нет.

- Ну вот и хорошо. Ты не устала слушать?

- Нет. Мне интересно.

"Орфей" передавал адажио из балета Рейнгольда Морицевича Глиэра "Красный мак" в исполнении симфонического оркестра Санкт-Петербурга, дирижёр Андрей Аниханов. Незадолго до смерти Глиэр в четвертый раз принялась переделывать партитуру "Красного мака" с целью показать еще более выразительно активную, героическую роль народа в развитии сюжета. Дописаны были новые танцы, дополнительные номера. В

последнем варианте балет, получивший название "Красный цветок", включал уже не восемь, а двенадцать картин. Поглощенный этой работой Глиэр заново переживал все связанное с рождением балета, переживал свои первые шаги на этом поприще и с благодарностью вспоминал всех ему помогавших. В первую очередь, Гельцер. В начале 1955 года он написал: "Искренне благодарю... за все то, что я получил от Вас как от великой артистки, работая с Вами над "Эсмеральдой" и "Красным маком". Премьера балета "Красный цветок" состоялась на сцене Большого театра уже после смерти композитора - 24 ноября 1957 года...

- Я тебе тогда другое почитаю, - сказал он.

- Зачем?

- Потом поймёшь.

- Ну, зачем?

- Их другой книги.

Он опять протянул, сидя в кресле, руку и снял другую книгу.

- Я отсюда не вижу, кого ты снимаешь с полки. Кого?

- Буду читать, и ты узнаешь, - сказал он.

- Ладно.

- Ну вот почитаю из этой книги...

- Ты опять сильно шелестишь страницами, - сказала она.

- Ты знаешь, я очень люблю шелестеть страницами. Такой приятный звук. Шелест страниц...

- Это для тебя он приятен, а для меня нет, - сказала она.

- А вот, нашел, слушай...

- Я вся внимания.

- Ага. Вот с этого места: "Летним блистающим утром в воскресенье, когда Москва загорается золотом куполов и гудит колоколами к поздней обедне, из всех звонов звон этого колокола, настигая меня в комнате или на Яузе на тех окатистых дорожках, где ходить не велено и где спят или бродят одни "коты" с Хитровки, возбуждал во мне какое-то мучительное воспоминание. Я слушал его, весь - слух, как слушают песню - такие есть у всякого песни памяти, как что-то неотразимо знакомое, и не мог

восстановить; и мое мучительное чувство доходило до острой тоски: чувствуя себя кругом заброшенным на земле, я с горечью ждал, что кто-то или что-то подскажет, кто-то окликнет - кто-то узнает меня. И теперь, когда в Андрониеве монастыре расчищают Рублевскую стенопись, для меня многое стало ясным. И еще раньше - я понял, когда читал житие протопopa Аввакума: в Андрониеве монастыре сидел он на цепи, кинутый в темную палатку - "ушла в землю": "Никто ко мне не приходил, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат и блох довольно". И тот же самый колокол - "густой тяжелый колокольный звон" вызвал в памяти Достоевского по жгучести самый пламенный образ в мировой литературе: мать, просящая у сына прощенье..."

- Ну, что ты остановился. Это так приятно слушать...

- Ты не устала? - спросил он.

- Нет. Читай ещё.

- Сейчас...

- Ты опять потянулся за другой книгой?

- За другой, - сказал он.

- Так я потеряю всяческую нить, - сказала она.

- Нет, нить так не потеряется, потому что я тебя не перекармливаю одним автором...

- Так интересно... А кого ты читал про Андрониев монастырь?

- Разве важно знать автора?

- Важно, - сказала она.

- А мне кажется, не важно. Они один из другого переливаются.

По "Радио Орфей" передавали "Интермеццо" Йоганнеса Брамса, ор.118 №4, на фортепиано играл Игнат Солженицын. Брамс познакомился с Робертом Шуманом, к высокому дарованию которого питал особенное благоговение. Шуман отнёсся к таланту Брамса с большим вниманием, о чём и высказался весьма лестно в критической статье в своей "Новой музыкальной газете". Брамс питал нежную симпатию к жене Шумана Кларе Шуман, которая была на 13 лет его старше. Во время болезни Роберта Йоганнес посылал

любовные письма его жене. Однако после смерти её мужа так и не решился предложить Кларе выйти за него замуж...

- Помнишь, мы с тобой на 43-м трамвае приехали к Рублеву, а музей был закрыт?

- Помню.

- Тогда мы спустились к Язуе...

- Да... А вот: "На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся

голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа.

Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее - бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, - все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была ее душа, и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека - сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезало на-

стоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки..."

- Какой чудесный ангелочек! - сказала она.

- Великолепный!

- Отца арестовали, Андрониев монастырь был закрыт, над Яузой воспарил ангелочек. Я так и вижу его белого на синем фоне, - сказала она.

- Как будем отмечать твоё 80-летие? - спросил он.

- Не знаю, - сказала она.

Из глубины коридора донесся хрипловатый звонок домофона. Он на своём инвалидном кресле, руками толкая колеса, поехал открывать. Потом были шаги, шелест резиновых колёс его кресла, голоса.

Въехав в комнату с пришедшим, он сказал:

- К тебе массажист.

- Наконец-то, - вздохнула она.

- Я поеду к себе, напишу что-нибудь занятное в фейсбук, - сказал он, когда человек лет тридцати в белом халате зашел за ширму.

- Хорошо, - сказала она.

Пёс с резвостью телёнка встал, подхватил зубами облизанный мячик, и трусцой последовал за поехавшим креслом хозяйина в кабинет.

Массажист постоял некоторое время, слушая удаляющийся скрип коляски и цокот когтей ньюфаундленда по паркету, затем прошёл за ширму, приветливо улыбнулся и, откинув одеяло, приподнял ночную рубашку. Его белые тонкие пальцы ласково легли на живот и возбуждающе плавно, соблазнительно соскользнули к тайному елейному оазису.

- Ой, - выдохнула она.

Бережно помассировав некоторое время сладкое место, массажист сказал:

- Встаньте.

Она встала с дивана. Массажист легким движением ухватил рубашку за подол и бережно снял её через голову.

Она стояла к нему спиной.

- Нагнитесь.

Она в нетерпении зовуще нагнулась, упершись руками в подушку.

Он любовно погладил её спину, внимательно водя ладонями с непомерно сильным желанием от плеч к талии и ниже, затем возбуждённо и торопливо чиркнул молнией брюк, освобождая непомерно возросшее желание, вспыхнувшее ещё ярче при скользящем упругом введении в сжимающую благодать, и упоённо начал свою чудодейственную распалюющую работу.

- Не спеши, не спеши, - упоённо с ликованием шептала она во всё время процедуры, которые повторялись раз в неделю вот уже в течение двух лет...

"Орфей" передавал ариозо Дика Джонсона "Пусть Минни верит" из 3 акта оперы Джакомо Пуччини "Девушка с запада" в исполнении Лучано Паваротти и Национального филармонического оркестра под управлением Оливеро де Фабритиса. Будучи впервые в США в 1905 году, Пуччини увидел исполнение пьесы Дэвида Беласко "Девушка с золотого Запада". Он был очарован старыми сценическими клоунскими трюками, восхитительными декорациями и ужасно страшной бурей, мастерски представленной на сцене. Его пленила также довольно простодушная мелодрама, построенная на игре в покер, ставками в которой была жизнь мужчины и тело женщины...

ГЕНЕРАЛ

Забытов не спеша надел старый генеральский мундир отца. Потом довольно хорошо сохранившиеся синие с широкими малиновыми лампасами брюки-галифе и хромовые сапоги со скрипом. Затем надвинул на самый лоб серую каракулеву папаху.

Средь толпы - кем я любима,
Как узнать бы мне того?
По одежде ль пилигрима,
По сандалиям его?

Ведь он умер - вы не знали?
Ведь ушел, ведь умер он.
В головах все дерн настлали,
В ноги камень положен.

Саван бел, как снег нагорный,
Сам он убран весь в цветах;
Так он лег в могиле черной,
А любовь по нем в слезах.

Во дворе мальчишки сопровождали его хохотом и свистом. Но генерал - ноль внимания! На улице уже мало кто его замечал. Мало ли чудаков бродит по Москве.

Забытову все в это утро казалось чистым и новым.

Первозданным виделся и асфальт, отблескивающий фарфором. Как первозданные, сверкали вымытые стекла окон и зеркальные панели ресторанов и магазинов, в которых яркой палитрой отражались сияющие машины, среди которых Забытов хотел разглядеть хоть одну советско-российскую машину, вроде «волги» или «жигулей», но таковых не было. Сплошными рядами шли «фольксвагены», «бмв», «тойоты», «вольво», «мерседесы»... А ведь изобретали велосипед, строя огромные

автомобильные заводы, вроде АЗЛК или ВАЗа, отгородившись от всего мира свинцовым занавесом вместе с ядерным щитом! Необычными в утренний час казались Забытову и пешеходы, заполнившие нескончаемым потоком улицы.

Люди торопились навстречу друг другу, и, казалось, что все они друзья, и вот-вот остановятся, пожмут руки, но они не останавливались и, тем более, не разговаривали, а ловко лавируя, продолжали свой путь в прямо противоположных направлениях. Генерал Забытов шел по прямой, не отклоняясь и, странное дело, с ним никто не сталкивался, не задевал локтем или плечом. Прохожие плавно обтекали генерала в папаче, с широкими малиновыми полосами на брюках, специально сшитых когда-то под сапоги, называемые галифе. А хромовые сапоги Забытова чуть-чуть поскрипывали, придавая шарма всему его облику.

Забытов вошел в Таганский парк, напрямую соединенный с Покровским монастырем. Длинный женский хвост очереди начинался прямо от ворот.

Волнуешься. Предстоящее событие, которому ты придаешь большое значение, способно вызвать нешуточный страх. Большинство людей говорят, что причиной волнения является неизвестность. И это действительно так. Как побороть страх перед неизвестностью?

День святого Валентина?
С раннею зарей
Этот день пришла девица
Праздновать с тобой.

Он проснулся и оделся,
Дверь ей отворил,
От себя ж ее девицей
Он не отпустил.

Ах, святая Катерина!
Дурно ведь оно.

генерал

Вот мужчины! все такие, -
Право, им грешно.

"Ты меня ведь обещался
Взять себе женой?"
Он отвечает:
"Я и взял бы, да напрасно
Ты спала со мной".

В борьбе со своим собственным страхом нужно помнить правило: всегда твои возможности должны соответствовать предъявляемым требованиям. Иначе есть большая вероятность недовольства самим собой, что еще больше способствует усугублению и так напряженной ситуации. Накапливайте уверенность в своих силах.

В гробу его открыто пронесли,
Гей но нонни! нонни, гей нонни!
И много слез в могилу уронили.

Волнение возникает от чувства неизвестности. А может, и запретности. То, что тебе не показывают, сладко. И то до тех пор, пока не показывают.

Есть ива над потоком, что склоняет
Седые листья к зеркалу волны;
Туда она пришла, сплетя в гирлянды
Крапиву, лютик, ирис, орхидеи, -
У вольных пастухов грубей их кличка,
Для скромных дев они - персты умерших:
Она старалась по ветвям развесить
Свои венки; коварный сук сломался,
И травы и она сама упали
В рыдающий поток. Ее одежды,
Раскинувшись, несли ее, как нимфу;
Она меж тем обрывки песен пела,
Как если бы не чуяла беды
Или была созданием, рожденным

В стихии вод; так длиться не могло,
И одеянья, тяжело упившись,
Несчастную от звуков увлекли
В трясины смерти.

Но, главное, всегда переодеваться в кого-нибудь другого, костюмироваться, карнавализоваться. Вы только посмотрите на этот человеческий театр! Вот идет фифа в капроновых чулках со стрелкой по Никольской мимо дома, в котором в это время приставляют в подвале наган к затылку тому, кто плохо переодевался. Звезды на погонах ему, видите ли, понадобились. Не мог с кнутом в своей деревне "Косые заборы" за хвостами коров ходить босиком? Полез в город. Шинель ему понравилась. Ох, как же любят люди выстраиваться в пирамиду соподчинения. Ладно, побуду в военном училище, выпущусь лейтенантом, а там и до капитана недалеко. Вот и признан немецким шпионом, работающим сразу на четыре разведки: японскую, американскую и на управление НКВД Рязанской области. А фифа со стройными ножками проходит мимо, и ничего не боится. Почему? Да потому что голова у нее набита ватой. И она совершенно ничего не варит! А вы посмотрите на членов Политбюро в кителях без знаков различия?! Понимаете, делают вид, что они самые рядовые, простые, добрые, как токари и слесари с завода им. Серго Орджоникидзе!

Забытов это сразу уяснил. Главное вовремя переодеться. Он вообще всегда всё после отца донашивал. Отец его оберегал, не сдавал ни в армию, ни в военное училище. Сам отец сначала сам порубал шашкой сначала красных, потом, одумавшись, белых. На коне скакал в островерхом шлеме, и размахивал саблей направо и налево. Смелый очень был. Ну, его приметили эти в кителях без знаков различия, и направили сразу ловить врагов. Везде и всюду. Страшный, как смерть, смерш. Сначала, конечно, без погон. Шпалы были, кубики, ромбики. А в 43-м году ему сразу три звезды полковника за поимку целой секты диверсантов в радиокоманде пропагандистов. Немцами

сами оказались. Кричали в громкоговоритель за сто метров от передовой: "Дорогие немецкие товарищи! Не поддерживайте диктатуру эксплуататоров и империалистов..." Вот отец им и пришел дело об антисоветской пропаганде и агитации. Кого - в расход. Кого - мостить дороги, лопатами сооружать насыпь железных дорог в районе вечной мерзлоты на 10 лет...

А всё из-за того, что не поняли карнавала жизни. Куда ты лезешь за дубовые двери без пропуска?! Надевай генеральскую форму отца и ходи посмеивайся. Забытов так и посмеивался. Правда, про себя. Здесь-то он не совсем с круга сошел. Отец учил. Ходи по улицам смирно, никого не толкай, и не улыбайся. У нас, знаешь, что за улыбку давали? Минимум пять лет. Как издевательство над советской властью. Идет он, улыбается, лыбится. Ты на что это лыбишься?! Над вождем всех народных масс издеваешься?

А фифу в чулках со стрелками как раз и закадрил расстрельный исполнитель. Только что руки помыл, после того, как уложил троих матерых шпионов из Министерства иностранных дел. Вышел на Никольскую, то есть улицу 25-го Октября, а она тут как тут со своими стройными ножками в капроне. Он к ней, так мол и так. Понравились очень. Через два месяца вступили в законный брак. Через три - его самого в расход пустили, чтобы мама родная не узнала, кто кого стрелял, и кто кем командовал. А фифу - на десять лет исправительных работ в Магадан. А всё из-за чего? Из-за чулок со стрелками. Шла бы себе, дурёха, в ватных брюках, да с ведром краски и с кистью. Мальярничала бы. И прожила бы свой век с каким-нибудь плотником без всяких забот. В гости бы ездила к его деревенским родственникам с мясокомбината...

А Забытову что за проблемы? Обрядился генералом и идет в ус не дует. Нигде не числится. Свободен, как воробей.

В половине шестого утра, когда еще не рассветало, буквально из воздуха стали появляться слова, которые соединялись в мысли. Даже хаотично, без всякой логики написанные слова рождают какую-то мысль. Если, конечно, приглядеться.

Вот интересная мысль была у водителя 43-го трамвая. Он от самого Октябрьского своего депо объявлял: «Следующая остановка: «Абельмановская застава»», но останавливался то на «Малом Калитниковском проезде», то на «Воловьевой улице», то на «Большой Калитниковской улице», а потом сразу протащил Забытова к кинотеатру «Победа», когда ему нужно было в Покровский монастырь, где веночки сплетают из белых цветов для моей любимой!

Ужель он не вернется?
Ужель он не вернется?
Нет! уж умер он,
Лег на долгий сон,
Он больше не вернется!

Был он с белой бородой,
Мягко локон завитой:
Он ушел в свой темный дом.
Что ж и плакать нам по нем?
Боже, душу упокой!

В женском Покровском монастыре, у Абельмановской заставы, когда в очень жаркий воскресный день стояла огромная очередь в Покровский храм к мощам святой Матроны из одних женщин, многие в кофточках белых, а Забытов вышел в монастырь прямо из Таганского парка, расположенного на месте бывшего Покровского кладбища, и шел вдоль очереди, рассматривая невиданное скопление женщин с цветами, услышал, как одна умная женщина объясняла другой женщине, что есть Бог, формулируя свое разъяснение примерно следующим образом:

«Ну что тут обсуждать вопрос о Боге, когда каждому ясно, что он главный во всем мире и сам сотворил весь этот мир, и всё вокруг него, всё, всё, всё».

Забытов не выдержал, подошел и сказал: «Бог есть всего-навсего эти три буквы. Замените их на другие любые, например, на слово «Нос» и для вас Бог исчезнет».

Они взглянули на него из-под косынок, а все женщины в этой очереди были покрыты, как на придурка, и тихо продолжили свою беседу. Забытов пошел дальше вдоль нескончаемой очереди, состоящей из одних женщин. Диво дивное! Сколько же в Москве женщин, верующих в свое исцеление от несчастной жизни! А Забытов шел и улыбался, зная, что и слово «Нос» есть Бог, что любое слово есть и любая буква есть Он, произносимый!

Генерал Забытов шагал дальше.

Без всякого вероятия, сохраняясь только в этом дне, оглядываясь назад, предчувствуя будущее, которое строится по аналогии с прошлым, пишешь новые строки, пробиваясь в неизвестность, которая потом становится известностью.

Здесь было то место, которое он предназначил для свидания. И генерал ожидал его с особым трепетом. Дело в том, что... Это...

А вот это произошло совсем недавно. Что? Вот что. Когда он с Надеждой лежал в своей спальне при свете дня и с усердием посетителя музея исследовал её лоно, прикрытое золотыми вьющимися волосами, то впервые с потрясением обнаружил небольшой росток, прижившийся в верхней части над входом, который, словно генеральская честь, встаёт и ложится до и после любовного трения. Сколько он имел женщин и никогда так пристально не рассматривал это влекущее место.

Он понял, что росток этот повелевает желанием женщины, а также ее самочувствием и характером. Делая из этого простой вывод, генерал Забытов понимал, что он, овладевая этим миниатюрным подобием мужского дерева, всецело управляет чувством и умом женщины, потому что она держит себя с генералом, как единственная возлюбленная, без раздумий готовая исполнять все его страсти. Генерал полагал, что это мужское устройство, доставшееся и женщине, служит аккумулятором желаний и улады женщины. Она как солдат беспрекословно подчиняется генералу, владеющему искусством ласкать этот

женский член и находить его самые нежные точки - башенку и под ней треугольный парус.

Это открытие так поразило генерала, что он стал приводить к себе и изучать десятки женщин из Покровского монастыря. В совершенном обалдении от своего открытия, генерал опытным путем засвидетельствовал, что член, найденный им у Надежды, есть и у Веры, и у Софьи, и у Любви...

Под сладостные стоны женщины и его вдохновенный шёпот "птичка небесная" генерал частыми движениями пальцев поглаживал росточек, пока тот не вырастал на глазах и не трепетал, как горный тюльпанчик на ветру.

После этого перед генералом сами собой раскрывались врата сада, с жадностью принимая всего его.

Кто будет сегодня? Эта?

Но эта стояла в стороне от других, совершенно одна, не трогаясь с места. Там розовый куст еще чуть в сторонке. Солнце бросало свой свет на ее мертвенно-бледное лицо. Она выглядела, как монахиня, в ее черные волосы были вплетены розы, и розы были в обеих ее руках. Это была она, та, на груди которой только что покоилась его голова. Теперь же она стояла в стороне, а его голова лежала на папирти.

Разлучаясь с девой милой,
Друг, ты клялся мне любить!..
Уезжая в край постылый,
Клятву данную хранить!..

Там, за Данией счастливой,
Берега твои во мгле...
Вал сердитый, говорливый
Моем слезы на скале...

Милый воин не вернется,
Весь одетый в серебро...
В гробе тяжко всколыхнется
Бант и черное перо...

- Мы - твоё утро и твой век! - говорили ласково Забытову другие.

- Я - твоя смерть и твой рассказ! - говорила она.

- Я обовьюсь змейкой вокруг твоих ног, - говорила Надежда, а Софья бросала на него воздушные лепестки роз. И ото всех от них распространялся вокруг странный аромат, аромат, воспламеняющий желание, аромат белых женских тел.

Маленькая белокурая Вера целовала его глаза, а Надежда ласкала небритые щеки. А Софья пыталась своими тонкими пальчиками разгладить горькую морщину около его рта. Легким танцующим шагом, раскачивая полными бедрами, а грудь при этом колыхалась, как волны, подошла Любовь. Надежда запела свою прелестную песню о белой голубке.

А он, не слушая песню, разглядывал ее грудь в вырезе платья и вздыхал.

Наконец и та, другая, бледная монахиня с розой в волосах, подошла к нему.

- Я - твоё бессмертие и твоя смерть! - сказала она.

И тут отпрянули все остальные. И медленно, без единого слова, она вложила в каждую из его открытых ладоней по большой красной розе. Затем встала на цыпочки и поцеловала его прямо в рот, так что с его головы упала папаха. Совершенно седые волосы упали ему на глаза.

Больше Забытов ничего не видел.

Но красные розы горели в его руках, и жгли его ладони, и как будто это были раскаленные гвозди, пробившие его ладони.

Красные раны, пылающие красные розы... Он взглянул на красавицу Любовь: грудь ее мерно вздымалась, девственный рот был полуоткрыт, словно для поцелуев, распущенные волосы шевелил ветер, и на плече темнела родинка.

Его голова молитвенно склонилась ей на грудь... как знать, может быть, он чувствовал ее дыхание, легкие подъемы и опускания ее груди.

- Я - твоя смерть и твоё бессмертие! - проговорила она с закрытым алым ртом.

Удивительное создание, ходящее на задних конечностях! На протяжении всего своего существования это прямоходящее нацепляет на себя маску, чтобы быть кем-то другим, но только не самим собой, чтобы ни при каких обстоятельствах не появляться среди таких же существ без этой личины. Но тайно он желает все-таки найти такое существо, которое узнает его таким, каков он есть в самом обнаженном виде.

Наступило новое утро.

Забытов направился на улицу. Сначала во двор. Разновозрастная ребятня тут же завопила на разные голоса:

- Сумасшедший генерал!

Забытов никакого внимания на ставшие уже привычными возгласы не обратил. Он был из другой оперы, и прошел двор, как кот, идущий ни на кого не глядя по своим важным делам.

СТО МЕТРОВ КРАСНОГО САТИНА И СТИХИ ВОЗНЕСЕНСКОГО

Стояли покосившиеся зеленые ворота, а справа и слева метров на пять тянулся символический забор. Мол, тут что-то есть, а что - неизвестно. Секрет, одним словом. Потому что за воротами было голое поле с некоторыми строениями, похожими на брошенные коровники, с небольшой даже маскировкой, наподобие ржавого комбайна в кювете.

В подземелье же шла размеренная служба.

Чтобы в свободное от несения этой секретной службы время солдаты не занимались чем не следует, в части особое внимание уделяли культурно-воспитательной работе с личным составом.

- Вот что, Бухванов, - начал подполковник Пращук...

- Да я, товарищ подполковник, не Бухванов, а Буфанов...

- Ничего-ничего, Бухванов. Я сейчас не о твоей фамилии. Я о предстоящем Дне Победы, - Пращук достал военных лет портсигар. Закурил "Беломор". - Ты ведь, Бухванов, у нас один с Москвы-то. А к нам из округа комиссия едет. Так что давай, чего ты там знаешь, выступать надо в клубе.

Буфанов, конопатый и рыжеволосый, из Черёмушек, почесал в задумчивости стриженный затылок.

- Да знаю кое-чего, - ответил он замполиту.

- Чего, к примеру?

- Стихи Андрея Вознесенского. Мы им очень во дворе интересовались. По киоскам союзпечати бегали, журнал "Юность" спрашивали. Там печатался он, но редко.

- А ну-ка, давай что-нибудь мне продекларируй...

- Декламируй, - поправил политрука Буфанов, согнал складки гимнастерки под широким ремнем назад, и с каким-то подвыванием стал голосить:

Аве, Оза. Ночь или жилье,
псы ли воют, слизывая слезы,
слушаю дыхание Твое.
Аве, Оза...
Оробело, как вступают в озеро,
разве знал я, циник и паяц,
что любовь - великая боязнь?
Аве, Оза...
Страшно - как сейчас тебе одной?
Но страшнее - если кто-то возле.
Черт тебя сподобил красотой!
Аве, Оза!
Вы, микробы, люди, паровозы,
умоляю - бережнее с нею.
Дай тебе не ведать потрясений.
Аве, Оза...

- Что это ещё за Оза? - поинтересовался Пращук, шире расставляя колени в галифе, чтобы было удобнее сидеть на табурете.

- Ну, любимая Вознесенского...

- Нет, - сразу сказал политрук. - Это не пойдет. Ты, Бухванов, пойми - День Победы! Какая тут любовь?! Надо что-то военно-патриотическое.

Буфанов задумался. Походил по Ленинской комнате туда-сюда.

- А, вот, вспомнил:

Лейтенант Неизвестный Эрнст.
На тысячи верст кругом
равнину утюжит смерть
огненным утюгом.

В атаку взвод не поднять,
Но родина в радиосеть:
"В атаку - зовет - твою мать!"
И Эрнст отвечает: "Есть".

Но взводик твой землю ест.
Он доблестно недвижим.
Лейтенант Неизвестный Эрнст
идет наступать один!..

- Ладно, погоди, - остановил замполит Буфалова. - Это подходяще, - как-то без особого энтузиазма сказал Пращук. - Только зачем же про немца-то?

- Да он не немец, он скульптор наш.

- Тогда давай... Только вот что. Не тебе же одному выступать-то. А у меня одни деревенские. Ни черта стихов не знают, и даже не поют...

- Деревенские и не поют? Не может быть!

- Может, проверял. Ни у кого слуха нет. Ладно, - сказал Пращук, - давай прервемся маленько. Я принес тут немного с санчасти.

Это уже было не в первый раз. Пращук любил выпить с москвичом. Тише воды, ниже травы. С офицерским составом Пращук принципиально не выпивал, потому что должен был и их культурно воспитывать. Выпили четвертинку спирта на лимонных корках, заели соленым огурцом.

И тут голова у Пращука просветлела:

- А сделаем так. Ты выйдешь со стихами, а роту мы в красные рубахи оденем, и красные флаги в руки им дадим. Ты будешь читать этого, как его...

- Вознесенского...

- Во, Возвышенского, а бойцы в красных рубахах с флагами по по сцене будут кружить, как в ансамбле Александрова!

Надо сказать, клуб в части был знатный, вроде зала Чайковского. Только под землёй.

Никаких красных рубах в части и в помине не оказалось. Но фантазию свою подполковник Пращук все равно решил осуществить. Такой он был человек. Прямой. Волевой. Чего решит - выполнит. В общем, советский офицер. Выписали Буфалову в финчасти под отчет триста рублей. Дали шофера на

тентованном брезентом газике, и рванули они за двадцать вёрст в районный городок, где находился их окружной воен-торг. Отмотала им продавщица сто метров красного сатина ровно на 90 рублей.

- Чё делать-то? - изумился шофер.

- В каком смысле?

- Ты что, Буфалов, того-этого, - покрутил шофер пальцем у виска, - деньги назад в финчасть повезёшь, что ли?

Буфалов не просто покраснел, но даже вспотел от этой мысли.

- Попроси её чек нам на все триста рублей набабахать.

Хоть и смущаясь, он стал просить.

- Да как же я могу такое себе позволить? - не на шутку рас-сердилась продавщица.

- А мы вам дадим пятьдесят рублей на конфеты! - не растерялся шофер.

Продавщица задумалась, но не очень глубоко. Взяла и написала чек на триста рублей.

Буфалов ей - пятьдесят рублей одной бумажкой. И довольные, с улыбкой, со свертками красного сатина, пошли прямо напротив, в гастроном.

Очнулись они на третьи сутки у какой-то сгорбленной старушки в сенях.

Отрезали ей ножницами три метра сатина - на сарафан. И купались в каком-то тинистом пруду с утками и гусями. Покурили. И поехали.

Ну, известное дело, как только показали свои носы на КПП, так сразу Буфалова с шофером прямой дорогой припробовали на гауптвахту. Пращук, как узнал об этом, побежал к генералу. Мол, так и так, День Победы горит, а они моих ребят на губу!

Генерал снял трубку телефона и в двух-трех очень понятных словах объяснился с дежурным капитаном по поводу арестованных.

Начался праздник. Из округа приехали три генерала и два полковника. Клуб набили своими до отказа. Даже дышать бы-

ло трудно. Включили дополнительную вентиляцию. Клуб-то ведь под землей. Майской черёмухой потянуло в зале.

Подсвеченный рампой тяжелый занавес, как в Театре Армии, разъехался по сторонам

В глубине сцены показался Пращук с золотыми погонами. Пока он шел, некоторые солдаты успели съесть по мороженому. Расстояние от задника до авансцены было знатное. Пращук сказал то, что надо по этому поводу сказать, мол, поздравляем, желаем, и грамоту центрального командования зачитал. Только уж потом, устав говорить, объявил концерт.

Сначала выбежала на сцену рота, человек в пятьдесят, обмотанных красным сатином. Кто ж им сошьет в части столько рубах? Но все равно было красиво. Празднично как-то зарябило у зрителей в глазах. И как-то торжественно всё это дело пошло, потому что у каждого был флаг. Лопат в части было предостаточно. Сорвали с нужного количества черенков заступы, и нацепили красный сатин, метром в длину.

Потом вышел в парадном мундире, застегнутым под горло, в фуражке, в сапогах, как положено по Уставу, Буфалов. Обмотанные сатином с флагами закружились вокруг него хороводом, но когда Буфалов энергично поднял руку, бойцы расступились, Буфалов сделал неспешный шаг вперед, и густым голосом Шаляпина, чуть напевая, начал:

Андрей Вознесенский

Лейтенант Неизвестный Эрнст...

Дойдя до слов "равнину утюжит смерть", замолк. Все думали, что так надо. Артист. Умеет держать паузу, чтобы зал затрепетал от предчувствия чего-то очень нужного для каждого сердца и ума. Но после этой очень значительной паузы Буфалов стихотворения Вознесенского не продолжил. Забыл текст. Ну вот бывает же так! Знал назубок. А тут, когда надо... От неопытности. Пращук за кулисами в ужасе схватился за голову и

заскрипел так сильно зубами, что показалось, это дверь в гримерки за его спиной сама собой открывается. Надо было что-то делать. Но что?

Тут, однако, Буфалов, сообразительный парень из Черёмушек, не сплеховал, нашел - что надо.

Он вышел строевым шагом почти на авансцену, выставил ногу вперед, поднял руку и чтецким голосом бросил в зал:

- Это немцы утюжили нашу многострадальную землю. Но их ждала могила!

В зале раздалась довольно активные аплодисменты.

- Да, дорогие товарищи, врага ждала могила!

Он сделал паузу.

Затем неожиданно весь как-то завихлялся и в джазовой манере запел, как пел, помнится, с ребятами под гитару:

На могиле старый череп чинно гнил.

Клюкву красную с болота он любил.

Говорил он клюкве нежные слова:

- Приходи в могилу, клюква, будь моя!..

И дальше, в ритме буги-вуги, голосом Элвиса Пресли завизжал:

А приходи в могилу,
Мыло-мыло-мыло-мыло,
Погнием вдвоем,
А для тебя, друг милый,
И с тобой, друг милый,
Песенку споем.

Отвечала клюква черепу вот так:

- Старый череп, ты давно уж не чувак.

Чем с тобою в могиле вместе чинно гнить.

Лучше с чуваками в баре водку пить!

А не пойду в могилу,
Мыло-мыло-мыло-мыло,

сто метров красного сатина и стихи вознесенского

Догнивай один.
Лишь только саксофон,
Любимый саксофон,
Влечет меня один.

Похлаляла клюква в свой чувацкий клуб,
Буги-вуги там танцуют, виски пьют.
Там в угаре пьяном клюква отдалась,
Вдруг из подземелья слышит грозный бас:

- А приходи в могилу,
Мыло-мыло-мыло-мыло,
Погнием вдвоем,
А для тебя, друг милый,
И с тобой, друг милый,
Песенку споем.

Она пришла в могилу,
Мыло-мыло-мыло-мыло,
Череп сгнил давно.
И клюква зазлилась
Горькою слезой,
Залив могилы дно.

Зал взревел от восторга.

А некоторые кричали:

- Вот это да, вот это Вознесенский, во даёт!

ШИРОКИЙ ВЫБОР

И чего он только связался с ней! Ходил Батюков по коридорам института как человек. Декан факультета Батюков Николай Николаевич. Профессор. Так нет же, чёрт дёрнул его. Правда, ходил он как-то немножко боком. Одна нога у него немного подволакивалась. И животик довольно заметно и как-то кривовато вываливался из-под брючного ремня. А глаза были маленькие, какие-то подслеповатые, всегда прищуренные. И ресницы белые. Хотя Батюков не был альбиносом. После шестидесяти годов весь поседел. Ну везде и всюду волосы стали белыми. Даже как-то странно. Ни с кем такого не происходило. Белые волосы на голове были еще целы. Лысины не было. Распадались на прямой рядок. Длинные. Только сверху. А стригся под полубокс.

Но что взять с профессора? По большей части в институте все они такие были. Всем за шестьдесят. И даже за семьдесят. А на кафедре Истории КПСС так вообще одни восьмидесятилетние работали.

Дымок от сигареты вился струйкой по направлению к открытой форточке. Батюков смотрел на него, щурился, вновь затягивался, и перекладывал странички из правой стопки в левую. Дымок был такой же белый, как его заметно поредевшие волосы. Батюков уже абсолютно машинально изображал научную деятельность. И когда кто-нибудь заглядывал или входил в его кабинет, то видел, как он вставал и быстро гасил сигарету.

Письменный стол Батюкова был подобен палубе военного корабля во время боя: на нем не было ничего лишнего, а все необходимое: чернильный тяжелый бронзовый прибор увенчанный обнажённой русалкой, перьевая ручка, три карандаша - красный, синий и простой, - находились на своих местах, всегда под рукой.

На подоконнике в большом глиняном горшке стоял с узкими оливковыми листьями-пилочками столетник, привязанный в связи со своей величиной к воткнутой в землю рейке.

На стене на видном месте висела графически чётко оформленная памятка студенту: «Вниманию студентов! Изменились правила пересдачи экзаменов. С этой сессии сдача экзаменов производится следующим образом: 1-й раз - преподавателю, 2-й раз - комиссии из декана и преподавателей, 3-й раз - комиссии из районного военкомата».

В кабинете Батюкова все приходящие к нему ощущали какое-то неудобство. Дело в том, что Батюков сразу при новом появлении кого-то выходил из-за своего стола и садился на один из стульев, поставленных для посетителей перед его двухтумбовым письменным столом. Хотя можно было сесть на широкий кожаный диван за спиной Батюкова, но Батюков сразу определял место для посетителя. Садился Батюков обычно спиной к окну, чтобы лицо посетителя было лучше освещено для рассматривания.

На колени своих расставленных ног Батюков укладывал пятерни крепких ещё, почти рабочих рук, и чуть-чуть наклонялся вперед, показывая этим, что готов вас выслушать со всяческим вниманием. Неудобно было пришедшему сказать, чтобы он сидел на своем месте за столом, а не садился напротив на стул для посетителей и не втыкался в тебя взглядом. Тем более что пришедшему некуда было девать свои ноги, кроме как сжимать их и задвигать назад под стул. Многим хотелось бы свободно, как обычно, положить ногу на ногу.

Но не тут-то было.

Зашла Зеленская, пышная дама, тоже доктор технических наук, как и Батюков. Он тут же вскочил со своего места и перешел на излюбленное при посетителях.

Зеленская села напротив, почти упершись своими полными коленями в его колени.

- Я не перестаю удивляться Шварцу! - воскликнула она. - Под видом новых методических разработок факультета он пе-

редает мне старьё. Чуть-чуть подправит и делает вид, что нашёл новый путь решения проблемы.

- И что же?

- Но он же профнепригоден!

Батюков благосклонно улыбнулся. Затем, подумав, сказал:

- Не обращайтесь внимания. Вот послушайте... Что-то вспомнился анекдот: «Шла обычная лекция по математике. Обычный профессор, изрисовав всю доску формулами, наконец, ввел новую величину - число π с волнистой линией сверху. Затем обернулся к аудитории и громогласно заявил:

- А эту величину мы назовем « π с дужкой».

В аудитории несколько минут стоял гомерический хохот. Профессор, глядя на студентов непонимающими, наивными глазами поверх очков, произносит финальную фразу:

- Ну хорошо, не хотите « π с дужкой», назовем тогда « π с домиком» это самое».

Зеленская, не смутившись, с каким-то наивным проблеском рассмеялась, и сказала:

- Шварц этого не поймёт!

- Это за ним водится, - сказал Батюков, не отводя глаз от её смеющихся пухлых накрашенных губ.

Батюков взял со стола ручку и блокнот. Что-то для себя записал. И вот тут-то началось нечто непредвиденное, странное.

Зеленская выхватила у Батюкова ручку, положила на стол, встала и потянула его к дивану, открыв рот. Что произошло с Батюковым, не понятно. Только он, как будто это был не он, азартно запустил обе руки под ее ягодицы, и Зеленская села, а он легко снял с нее трусы, после чего она довольно-таки вызывающе развела колени и Батюков, упав перед нею, принялся разглядывать в упор то самое, открывающееся розоватое в окружении густых черных кустистых берегов. Из-под потных ягодиц Батюков провел, как проводил указкой по доске, указательным пальцем по розовому. Зеленская тихо вскрикнула и прошептала:

- Тебе хочется погладить? Погладь... Погладь еще...

И она шире развела дрожащие ноги, а Батюков гладил ее набухшие губы и целовал ее в пухлый прекрасный рот.

Зеленская потянулась к его брюкам, нащупала пуговицу (Батюков носил брюки старого фасона, шевиотовые, образца 1952 года), пытаясь расстегнуть ее, но он сам это сделал и выпустил вдруг необычайно взбодрившегося старичка на воздух погулять. Зеленская взяла его ручкой с алыми ноготками и стала торопливо ощупывать.

Батюков внезапно вырвался.

- Куда ты? - пропела Зеленская.

- Дверь! - шепнул Батюков на ходу, прихрамывая, подбежал со спущенными брюками к двери и закрыл её на два оборота ключа внутреннего замка.

- Ну, давай же! - вспыхнула она, когда он вернулся, скинув брюки, и подняла ноги к потолку. Батюков с легкостью нырлящика скользнул в ее влажное нельзя, задрожал, финишируя через три минуты, не успев выскочить, со сладкой болью, и бесконечно удивляясь самому себе. Что это? Как такое может быть?! Он и сам не догадывался, что потенция в нём не погасла. Она просто до поры до времени дремала.

- Ну, ты и огромен! - вспыхнула Зеленская, неудовлетворенная. - Не нужно торопиться. В меня всегда можно...

- Не без того, - ответил Батюков, часто дыша.

Он посмотрел на ее лицо и испугался: вместо глаз было какое-то огненное, красное нечто. Так ему показалось. А Зеленская опять протянула к старичку руку, и он воспрянул; зрачки опять вернулись на место, хотя были цвета пионерского галстука. Зеленская встала на колени, подставив Батюкову необъятный пухлый белый зад. Он вошел в ее скользкое "никогда не покажу". Батюков чувствовал себя подростком, с невероятной скоростью совершающего в поту и краске возвратно-поступательные движения.

Выйдя от Батюкова, Зеленская первым делом заскочила в туалет, привела себя в порядок, подвела губы и внимательно взгляделась в свои расширенные зрачки. Они полыхали счастьем. Женским, конечно.

На третьем этаже, где сидел Батюков, остальные комнаты были закрыты. Было уже десять вечера. Зеленская спустилась на второй этаж. И здесь все кафедры были закрыты. За поворотом находился ректорат, дверь в который была приоткрыта. Зеленская без стука вошла. Секретарша ректора Валентина стучала на машинке.

- У себя? - кивнула Зеленская на дверь ректора.

- С полчаса как уехал, - сказала, не отрываясь от текста, Валентина.

- У тебя нет сигаретки? - спросила Зеленская.

- Ты же не куришь.

- Очень сейчас хочется закурить! - с широкой улыбкой воскликнула Зеленская.

Сигаретка нашлась. Зеленская плюхнулась в кресло. Задымила с невиданным удовольствием.

- Ты чего такая радостная? - спросила Валентина, прекращая печатать.

- Пошептаться с тобой надо, - с тихим восторгом сказала Зеленская, и в самых пикантных подробностях описала любовную утеху у Батюкова.

В середине её захватывающего повествования Валентина, сглатывая возбужденно слюну, вымолвила:

- Не может быть!

- Может.

- Ой, как я тебе завидую, - сказала Валентина, ерзая на стуле.

- Да ты сама сходи к нему как-нибудь, - добродушно посоветовала Зеленская.

- Ну, если у него такой, как ты говоришь, то вряд ли я смогу удержаться.

- Во такой! - сказала Зеленская, и ударила ребром ладони по сгибу своего локтя.

- Да я слышала, что у всяких неказистых мужчин инструментарий будь здоров! - с горящим взором выпалила Валентина.

На другой день она с трудом вытерпела до семи вечера. Все знали, что Батюков раньше девяти не уходит.

Батюков как обычно покуривал в приоткрытую форточку и листал свои бумаги. Когда пришла секретарша ректора, он тут же вскочил, загасил сигарету, выскочил из-за стола, обогнул его, и сел на стул, спиной к окну.

- Прошу! - сказал Батюков, указывая Валентине на стул напротив.

- У ректора такие дела, такие дела, - сказала она, и положила руку на колено Батюкову.

Тот даже вздрогнул, и с ходу догадался своим техническим проворным умом, что Зеленская об их связи разболтала.

Он положил свою руку на руку Валентины. Они встали, вышли из-за стульев. Валентина была на голову выше Батюкова. Черноволосая. Коротко стриженная. В джинсах.

Она смело прижала Батюкова к своей плоской груди баскетболистки. И Батюков обнял Валентину. Потом развернул её спиной к себе. Молча. Каждый знал, что в таких случаях делают. Поглаживая её спину, Батюков сказал:

- Держись за спинку стула.

Валентина мгновенно склонилась.

- Держусь...

- Вот я раньше не знал, что для любви, - он уверенно растегнул ремень на её джинсах и спустил их, - для любви хватает десяти минут.

Он провел ладонью по её ягодицам и ниже по волосатым влажным губам. Указательный и средний палец Батюкова уперлись в крепкий клитор. Тут Батюков оживился и стал с какой-то невиданной яростью натирать этот остаток мужчины в женщине, как будто он хотел зажечь там пламя путем трения. Валентина от этого древнего метода добывания огня повизгивала, словно прищученная котом кошка, но в отличие от последней весьма сдержанно. По всему телу Валентины растекалась дрожь, после которой, казалось, полетят искры, как будто через неё пропускали электрический ток. Батюков сам урчал, как трансформатор под сильным напряжением. Довольно-таки грубовато привлекая её к себе, вталкиваясь в неё, как в тесный вагон, Батюков вышепнул:

- Дорогу!

Валентина не своим голосом вскричала:

- Мамочка! Вот это новый друг!

Но тут Батюков выскочил из вагона.

- Что ты?!

- Секунду!

Со спущенными брюками Батюков ринулся к двери, заперев её.

Валентина, не шелохнувшись, стояла всё в той же позе.

Батюков с разгону влетел в вагон.

И Валентина утонула в наслаждении, зажав свой готовый кричать о счастье на всю ивановскую маленький ротик ладошкой, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не услышал её кошачьего визга.

Бросая изредка взгляд на её белые мраморные ягодички, Батюков утирал льющийся струйками пот со лба и думал, что ректорская Валечка оказалась какой-то удобной, гибкой, как будто сама природа соблюла при ее - Валентининой - проектировке все рекомендации науки о допусках и посадках, о стандартах и качестве продукции.

Как от тонкой талии разбегались у нее бедра!

- Я хочу еще любить так! - капризно, повернув к нему лицо, сказала она тогда, когда почувствовала финальный аккорд, как будто пробка вылетела из шампанского.

- Изголодалась, бедненькая?!

- Изголодалась!

И он, погладив белые взгорки, повернул Валентину к себе лицом, подвел к дивану, уложил на спину, нашел своими губами ее губы, она, широко разведя ноги, обхватила шею Батюкова руками и сомкнула свои длинные ноги на его спине, а он, держась за бугорки её детских грудей, стал укачивать её, укачивать, чтобы забыла обо всём, кроме любви, укачивал, она глаза закрыла и голову откинула, а он укачивал ее, она сжимала его поясницу своими ногами.

Она его не видела. Он ее не видел. Но они видели друг друга по-другому, на сакральном уровне передачи (в данном слу-

чае имитации передачи) одной жизни другой жизни, то есть жизни, передающей жизнь, вот так, в кабинете, в вечернее время, профессорски, без всяких там словоблудий о платонической любви в романах Тургенева, о том, что нет секса в романах социалистического реализма и, разумеется, неукоснительного соблюдения норм коммунистической морали.

- А-а, а-а, а-а! - дышала Валентина.

- Хороша ты! - подвел черту декан Батюков, спускаясь с облаков эроса на землю.

Валя, надев джинсы, достала из кармашка носовой платок и сама обтерла нового друга, чтобы не ходил тут слюнявым, после чего и Батюков облачился в брюки.

Выскочив от него в симфоническом восторге, Валентина решила первым делом поделиться с кем-нибудь из институтских подруг впечатлением. К её счастью дверь кафедры иностранных языков была открыта...

В конце октября ректор подписал приказ об отстранении от должности декана Батюкова Н.Н. и о назначении врио декана Шварца И.З.. Никаких разъяснений не дано, но буквально на следующий день в центральном холле института на первом этаже, чтобы всем было видно, красовалось огромное объявление об общем партийном собрании института с повесткой дня: "О моральном разложении коммуниста Батюкова Н.Н."

СЦЕНАРИСТ

Включил телевизор и застыл. Хотя мутило, выворачивало, крутило, колотило, отвлёкся, ввернулся штопором в экран.

У токарного станка стоит токарь Шумаков.

Мастер в синем халате со штангелем в нагрудном кармане спрашивает:

- Ты чего, это самое, Шумаков отказался получать зарплату?

Шумаков, глядя немигающим взглядом прямо в камеру, твёрдо заявляет:

- Я как ударник коммунистического труда и член профкома завода не имею права получать зарплату, потому что у меня две заготовки в этом месяце ушли в брак.

Камера панорамирует пролёт цеха и останавливается, укрупняя портрет Брежнева, на высказывании генсека: "Только тот человек может называться коммунистом, который честным трудом обеспечивает материальное благосостояние страны".

На этом укрупнении Сценарист не выдержал и выключил телевизор.

Открыл глаза. Уставился в мрачный потолок.

Поднялся. Подошел к окну. Раздвинул занавески. Стальной купол накрывал землю, но дождя не было.

Поскреб по карманам, нашел несколько монет, оделся и, не умываясь, поплёлся во двор.

Там жизнь уже кипела. Спустя пару часов всё совсем захошло.

- Эй, Сценарист, будешь? - крикнул на ухо собутыльник.

Сценарист встряхнул седыми патлами, на губах запеклась пена, кашлянул, буркнул:

- На-а-а-а-ливай...

Сценаристу казалось, что он сам в эти минуты является персонажем собственного сценария, потому что всё здесь развивалось как-то очень приятно, с облегчением движений всего по-

правляющегося оргазма, когда необычайная лёгкость вдруг подхватывает всего его, и он видит себя в кадре сначала на среднем плане, потом на крупном. Особенно сценаристу нравились крупные планы. С неизменным молчанием, чтобы глаза говорили о глубине мысли персонажа, о его непостижимых взлетах к тайнам человеческой души. Здесь Сценариста, конечно, заносило. Он понимал, что проще всего увидеть себя Гамлетом, с разрывающими душу родственными хитросплетениями, с возвышенными стихами элитарной литературы. Стихами. Сценарист впал в задумчивость. А почему бы и нет. Хотя Иванов у Чехова не говорит стихами. Это у Александра Сергеевича Грибоедова все говорят стихами. Иванов думает вслух. Это будет плохо смотреться, когда Чехов сам выйдет на сцену и будет рассказывать своими словами о том, о чём думает Иванов. Нет. Условность в том, что персонаж должен излагать свои тайные мысли вслух. Иначе, кто догадается о его утонченных мыслях. Не высказал, стало быть, мыслей нет. В кино это можно, конечно, передать. Молчит герой. А мы показываем, скажем, «Несение креста» Иеронима Босха. Элитарный зритель сразу смекает, что тут и к чему. Мол, глубокая задумчивость вызвана уродливыми лицами вокруг Спасителя, несущего крест. Но так всегда бывало и бывает. Начальнику, а Христа иначе как за начальника, самого главного, простые люди не воспринимают, чтобы править было удобнее, чтобы все его распоряжения неукоснительно исполнялись, его окружают малообразованные, примитивные, люди. Поему у тупых людей всегда такие гнусные лица? Не послушаешься? А надсмотрщики на что?! Сразу изымут из пирамиды власти, лишат прав и имущества, а то и посадят, поскольку незаменимых людей нет. Правление из-под палки.

Не помня себя, в доску, в лоскуты, спотыкаясь и падая, доковылял до квартиры и рухнул на раскладушку.

Бывает так, что на полках пусто, не говоря уже о холодильнике, который стоит ржавый в прихожей и служит шкафом для обуви.

В старом московском дворе полукругом расставлены стулья.

Сидят:

Шумаков, токарь.

Сестра его Владимирова (Шумакова).

Муж её Владимиров предрайисполкома.

Их сын Саша.

Его друг Сценарист.

Майор Никольский.

Даша Никольская, его дочь - соседка Владимировой.

Второй брат Шумаковой (живёт на втором этаже).

Владимирова.

Господи, как не хватает того, кто когда-то был рядом.

Жизнь пронеслась, как под горку трамвай от вокзала.

Я всё ждала обновлений моих сновидений,

но оказалось, что сон дальновидней моих представлений о жизни.

Саша.

Слышу, стихами теперь говорит моя мама?

Владимирова.

Это тебе показалось, сыночек, спросонья.

Поздно пришёл ты вчера. И немного поддатый...

Саша.

Я уж не помню, как все мы со студии вышли.

С этой картиной без водки никак мы не можем....

Вон Сценарист пробудился. И он подтвердит это дело.

Сценарист.

Вы так прекрасны, Татьяна Петровна, как утро...

Правда, моя голова переполнена бредом.
Мы ведь вчера на заводе снимали две смены.
И оказалось, что токарь - ваш брат, Александр Петрович!

Владимирова.
Надо же! Как тесновато бывает с роднёю.
Всюду они, и знакомых полно по столице.

На кухне полумрак и паутина, как будто бы вуаль висит на окнах. И большой черный паук на тончайших нежных лапках ходит из угла в угол по ней к чернеющим там и тут мухам.

Газовая плита заросла густым бархатным мхом, ибо давно не включалась. Это и понятно. Дойти бы до раскладушки, упасть и пожевать с закрытыми глазами что-нибудь из пакетов.

Шумаков Александр Петрович.
Вот я пришёл на сестру посмотреть этим утром.
Как же давно мы не виделись, Таня, с тобою.
Саша кино про меня в нашем цехе снимает.
Вот как бывает! Племянник расскажет про дядю.

Саша.
Я и не знал, что вы брат моей мамы, дядь Саша.
а Сценарист свой сценарий писал без понятий.

Второй брат Шумаковой (Владимировой).
Я на втором этаже проживаю над Таней,
Ну а встречаемся разве по праздникам, может.

Майор Никольский.
Я и не знал, что мы все в этой жизни встречались.
Дочь моя рядом живёт, против вашей квартиры.
Я же командую частью, в которой в моём подчиненьи
срочником был Сценарист, просвещающая меня самиздатом...

Сценарист.

Да. Я и сам не пойму, как мы знаем друг друга?

Нитка какая-то тянется наших случайных касаний.

Но почему? Для чего? Нужно думать. Непросто всё это.

Сценарист посмотрел на паутину. При его взгляде паучок стал как-то бодро расти, при этом нервно взвизгивая бабьим голосом, пока, наконец, не превратился в многоногую толстую женщину, которая поразила не только самого Сценариста, но даже токаря Шестакова. Баба притопывала паучьими огромными ногами, а рука у нее была одна, похожая на длинный ухват, и скобой этого ухвата была прихвачена, как чугун со щами, готовый к постановке в печь, чёрная, будто выдолбленная и отполированная из мрамора муха, столь изящная в художественном смысле, что, казалось, её изготовил сам Камиль Клодель.

Все оторопели.

Один Шумаков не растерялся. Он взял со станины токарного станка комок концов, окунул их в белую эмульсию охлаждения, и плюхнул бабе на голову. Буквально в ту же минуту баба затихла, как затихают от укола буйные алкоголики в психлечебнице, уменьшилась, и плавно превратилась в нормальную Татьяну Петровну.

Владиминова.

Снилось мне, будто бы сын прикоснулся губами

К сиське моей, как волчоночек к римской волчице.

Грудь моя наполнилась животворящим напитком.

Маленький Саша сосал молочко до истомы.

Майор Никольский.

Танечка, грудь твоя слаще любого нектара.

Я от сосков не могу оторвать свои губы.

Я в виноградник вхожу твой губительно страстный,

Преображаясь в младенца, рожденного тайно вне брака.

Сценарист.

Помню и я ваши груди, Татьяна Петровна.
Я утонул в наслажденьи, не виданном мною доселе.
И в те мгновенья сознал я себя эмбрионом,
в свет выходящим из лона богини рождений.

Владимиров предрайисполкома.

Я укрепляю единство семьи постоянно -
Даша Никольская стала мне милою мамой.
К ней я хожу покачаться на старом диване,
чтоб появился на свет снова маленький Саша.

Даша Никольская.

Я обожаю объятья любимого брата,
Вашего брата, Татьяна Петровна, другого.
Мы на втором этаже свили гнёздышко ласки,
И ничего нам не надо отныне другого.

Второй брат Шумаковой.

В детстве мы с Таней любили играть в папу с мамой.
Мы научились любви в нашем детстве семейном.
Делали то же, что делали папа и мама, -
Это нам дело казалось весьма интересным.

Шумаков (поёт).

Шумит станочек.
Поёт дружочек.
Слетает стружка,
Как пена с кружки.

Поёт дружочек.

Шумит станочек.
Как пена с кружки,
Слетает стружка.

Больной, вздрагивающий, шаткий Сценарист вскочил, едва не упав, сел за стол, схватил огрызок карандаша и на оберточной бумаге от селедки написал: «Сон был...» И дальше слова «был» ничего написать не смог. Застопорило его, онемела рука, в голове была каша. Обрывки сна еще держались на экране памяти, но как-то очень быстро таяли. Если бы картинки шли словами, Сценарист успел бы их зафиксировать. Но слов не было. И даже в тающих снах персонажи шевелили губами беззвучно, как будто на студии забыли под видеоряд подложить фонограмму.

- И ведь стихами все говорили! - воскликнул сам для себя Сценарист.

Стихи он никогда в жизни не сочинял. А тут! Черт знает что!

И так со Сценаристом происходило уже лет тридцать. Придёт феерический сон, смотрит его с дрожью восторга и внимания. А прочухается, всё вылетает из головы со скоростью чиха. А ведь после сценария о рабочем классе под названием "Я б в рабочие пошел", снятого тогда на Шаболовке, он написал еще три сценария для полнометражных художественных фильмов: о шахтёрах, о хлеборобах и о железнодорожниках. Таскал на «Мосфильм» и на студию Горького. Но его рукописи тонули в горах подобных произведений неизвестных авторов.

О таких людях говорят, как о вечно подающих надежды. У него был в молодости период взлёта, выражавшийся, в общем-то, в мечтах. И мечты эти он непроизвольно связывал с профессиональной деятельностью. Иными словами, с работой по профессии. Его же подготовил сценарный факультет ВГИКа! Стало быть, Сценаристу нужна должность с зарплатой, причём с хорошей зарплатой, своя комната на студии, свой письменный стол, потому что какой профессионал будет писать в нерабочее время да еще, скажем, дома. Профессионал не спеша дома просыпается, умывается, бреется, съедает яйцо всмятку с маслом на белом хлебе, и идёт к машине. Ведь не будет же профессиональный сценарист ездить на трамвае или на метро! Профессионал работает только на студии в связке с режиссё-

рами и редакторами. А как же без редактора? Сценарист свой фильм про завод, где Шумакова снимали, десять раз переписывал согласно совершенно справедливым замечаниям сначала редактора фильма, а затем главного редактора студии, а потом уж правил замечания уполномоченного Главлита. Профессионализм требует очень серьезной и кропотливой работы. Никакой отсебятины.

Вот за эти положительные качества Сценаристу предложили работу в Госкомитете по радиовещанию и телевидению. Конечно, здесь ещё послужил этому ходу переезд студии с Шаболовки в Останкино. Сценаристу никак не хотелось ездить в такую даль. Он жил тогда с женой и с ребёнком на Мытной улицы, и на работу ходил пешком, мечтая о крупных гонорарах и своей машине. На новой работе сценарии писать было не нужно, хотя Сценарист по инерции завершил те, упоминавшиеся сценарии, но, когда ему отказали, он про них забыл. Потому что в комитете царила совершенно иная атмосфера, связанная, прежде всего, с изображением деятельности. Лет пять Сценарист изображал её мастерски, но потом как-то незаметно каждый день отмечался рюмочками, от нечего делать, ведь не будешь же все восемь часов неотрывно перекладывать бумаги с одного угла стола на другой!

Тут Сценарист поднес к глазам карандаш и сказал ему:

- Ну чего ты все пишешь, чего ты всё рыпаешься?! Ну кто возьмет этот сценарий?!

Он с силой швырнул огрызок карандаша в угол, откуда шархнулся исхудавший фиолетовый кот, не кормленный неделю.

НАЗАД

Дело в Макаре Зипунове, который служил со мной в армии. Правда, недолго. Семь месяцев послужил и повесился в сортире на водопроводной трубе. Ужас меня охватил тогда самый настоящий. Мне всё время казалось, что широкий кожаный офицерский ремень, который он незадолго до этого купил за литр водки у «старика», шедшего на дембель (надо сказать, что все дембеля носили не только офицерские ремни, но и офицерские сапоги - эластичные, настоящие хромовые), затянувшийся на его шее, душит не Макара, а меня.

О родственниках Макара со странными именами я узнал позже, когда мне командир полка приказал сопровождать гроб с телом Макара в Москву. Я при этом удивился не тому, что меня назначили сопровождающим, поскольку в армии то, что тебе сказали старшие по званию, то и делай, чтобы хорошо служить, а то, что Макар был из Москвы. По нему этого не было заметно. Он был такого вида, который невозможно запомнить. Как только я терял Макара из виду, так сразу забывал черты его лица. Есть такие у нас лица, которые не просто усреднены, но они и самого простенького ничего не изображают. Но в этом «неизображении» есть какая-то, впрочем, «немосковскость». Стерто изображение. Глаза, нос, рот - всё есть, как у человека, но столичных черт лица нет. Такие лица я часто видел в поездах, в посёлках районного подчинения, да и в нашей части они, в принципе, преобладали.

Старшина на поверке выкрикивал по журналу:

- Зипунов!

Тот отвечал:

- Я!

Как положено.

Вот и всё, что я знал о Макаре. То есть это был человек незаметный, послушный, тихий, почти прозрачный, как воздух.

Когда он дневалил у тумбочки, я его даже не замечал. Тумбочку с журналом для записей отлучек в личное время видел, а его нет.

Так довольно часть бывает. Ведь ежедневно я вижу сотни, если не тысячи лиц. Например, в метро.

Причем, лица у всех точно такие же, как у Макара.

Никакие.

И вот я вез гроб с телом Макара на «буханке» - так у нас в части называли цельнометаллические УАЗики цвета хаки, почти микроавтобусы, на которых можно было людей возить на откидных скамейках, а можно разные грузы, когда скамейки откидывались к стенам. Были у нас УАЗики и с брезентовым кузовом. Но эта «буханка» была своего рода, повторяю, микроавтобусом. Свежие доски гроба пахли ёлкой. Со мною был лишь шофер Великанов, из Владимира. Но по тому сразу было видно, что он из Владимира: волосы цвета золотой пшеницы, длинный нос, и говор с веселым оканьем. Он и имя «Макар» в первом слогe произносил через «о».

- Ну и МОкар! - сокрушался Великанов, добавляя пространное непечатное выражение.

- Да он МАкар, - поправлял я. - Через «а».

- Я и говорю - МОкар, - усмехался Великанов.

Привезли мы гроб по адресу, за Таганской тюрьмой. Она еще в то время стояла.

Заехали под арку во двор, а из него ещё через одну арку к одноэтажному домику, вроде флигеля. Да, у первой арки нас поджидала на скамейке у подъезда сухощавая женщина, портрет которой я дать не могу, потому что в её лице было что-то от незапоминающегося лица Макара. Я мельком взглянул на женщину и тут же забыл её облик, хотя она пошла перед машиной на своих тонких и длинных ногах в босоножках, указывая дорогу. Великанов вежливо на первой скорости еле-еле ехал за ней.

Всё было как будто обычно: и двор, и голуби, и помойные баки, и решетки на ямах подвалов. Но было что-то такое, чего

я пока объяснить не мог. Вроде как бы всё какое-то ненастоящее. Даже напишу отрицание отдельно: не настоящее! Вот убей меня. Идёт впереди женщина, и вроде бы нет её!

Сказав нам, чтобы мы подождали, она скрылась в подъезде.

- Сейчас сдадим Макара, и - ко мне.

- Пять суток, - сказал Великанов и сильно надавливая на «о» добавил: - Хоть МОскву погляжу.

Так и произнёс «МОскву».

В этот момент одна за другой из подъезда вышли женщины. И все сухощавые. Все с лицами, которые невозможно запомнить. Великанов отвязал гроб. Мы его вдвоём выдвинули через заднюю дверь. Две женщины подвели под него какие-то покрывала или скатерти, свернутые в трубочки. Великанов ухватился за гроб спереди, я - сзади, а обе женщины поддерживали справа и слева между нами.

В довольно широком подъезде была одна дверь, и широкая лестница, ведущая вниз, со старинными черными железными перилами и резными ступенями. Должно быть, каслинского литья.

Дверь была приоткрыта, и я заметил множество женщин в глубине квартиры. Великанов остановился в нерешительности. Куда идти? Он даже сделал движение в сторону приоткрытой двери.

Но одна из женщин сказала:

- Нам нужно вниз.

Великанов опустил ногу в сапоге на ступеньку.

Мы пронесли гроб донизу, до чёрнометаллической двери, которая как бы сама собой открылась в длинный сводчатый подвальный коридор. Своды и стены были из древнего кирпича. Здесь было прохладно и пахло грибами. По коридору мы шли, как мне показалось, довольно долго. Но вот, что интересно. Я нигде не заметил источников света, но темноты не было. Вообще, надо сказать, вряд ли и в других местах я обращаю внимание на светильники.

Вдруг я ощутил боль в правой руке. Заноза из халтурно остроганной доски гроба впилась мне в край ладони между ми-

зинцем и безымянным пальцем, но руку я освободить не мог из-за тяжести ноши.

Пронеся гроб в каком-то удушающем молчании до конца коридора, мы оказались перед массивной стальной дверью, какие я видел в нашем армейском бомбоубежище. Одна из шествовавших за гробом женщин, а они сразу двинулись за нами, как мы начали спускаться по лестнице, вышла вперед с увесистым ключом в руке, уверенно отодвинула засов, сунула в скважину, крутанула и плавно открыла дверь. Перед моим взором предстало просторное помещение, напоминавшее подклеть древнего собора. Я сразу обратил внимание на массивные мраморные плиты захоронений, и среди них в глаза ударил провал новой могилы с кучей речного песка возле, в которой были воткнуты две лопаты. В воздухе висел привкус старого вина.

Но сначала мы установили гроб с Макаром на большой прямоугольный стол. Вошли все задние женщины, плотно притворив за собой дверь. Женщин было не меньше пятидесяти. Мы с Великановым сняли крышку гроба. Каждая женщина обошла по очереди гроб, поцеловав покойного в лоб. Когда их вереница закончилась, открыли дверь и все вышли. Одна женщина сказала нам:

- Побудьте, пожалуйста, с ним, - и кивнула на Макара.

Мы сняли пилотки, опустили руки.

Я зубами в несколько приёмов вытащил из ладони длинную и тонкую занозу.

Через какое-то время мы догадались, что мы одни с покойником, и что дверь закрыта.

- Ну, дела! - воскликнул Великанов, осматривая дверь. - Ручек-то с этой стороны нет. Как мы её откроем?

- Да не волнуйся ты, - сказал я. - Сейчас придут за нами. Я так понимаю, что на кладбище мы не поедем. Мы его сейчас похороним вон в этой могиле.

Великанов подошел к провалу.

- Глыбоко, - через "ы" на владимирский манер сказал он.

- Они, наверно, стол наверху накрывают для поминок, - предположил я.

И действительно, через минут десять дверь открылась, и вошли те четыре женщины, которые несли с нами гроб.

В руках у них были мотки прочных веревок.

Вот на этих веревках мы опустили гроб я могилу.

Конечно, если подпол можно было назвать могилой. Пока мы с Великановым работали лопатами, засыпая гроб песком, а потом задвигали плитой, на которой уже было выбито имя покойного и даты, женщины самым незаметным образом исчезли. Я даже не слышал легкого скрипа двери. Это, видимо, оттого, что я с какой-то тревожной заинтересованностью стал читать надписи на прочих плитах.

- В песке долго МОкар-то не испортится, - сказал Великанов.

Не знаю, что это было - издевательство, традиция, или полный идиотизм подчинения предкам, но Евлогий Зипунов дал своему первому сыну имя Фока, второму - Яким, а третьему - Диомид. Сам о себе он мало задумывался, полагая, что Евлогием он стал сам по себе, без постороннего вмешательства, и так слипся с этим именем, что кроме как Евлогием представить себя не мог. Впрочем, дело не в Евлогии и его странно названных сыновьях.

Всё это я выяснил из надписей.

- Ты не находишь здесь нечто странное? - спросил я Великанова.

- А чего такого-то, - обычным голосом сказал тот. - В жизни ещё не такое бывает.

Мы не успели развить беседу, поскольку нас позвали наверх.

Даже не в комнате, а в каких-то палатах с узкими окнами, был накрыт длинный стол. Нас принялись потчевать кутьёй - особенным образом приготовленной кашей из риса, чтобы зерно к зерну не липло, с добавлением изюма и меда, - с которой начинается всё поминальное застолье. Эту кутью обязан

попробовать каждый пришедший помянуть покойного. Кутья, говорят, сильно помогает душе отделиться от тела и воспарить ко Всевышнему.

Вспоминали обычными словами умершего обычные женщины. И я сказал несколько слов от имени командования части, которые мне поручили сказать. Когда я сел, Великанов склонился к моему уху:

- Ты посмотри вокруг! Одни бабы. Ни одного мужика!

- А мы?!

- Ну, мы-то что? Пришли-ушли!

Тут мне женщина без лица подала поднос с рюмкой водки и куском черного хлеба.

- Снесите Макару! Так положено.

Я знал, что так положено.

Подавшая мне поднос безликая женщина повела нас вниз. Амбарный ключ был у неё в руках. Открыла дверь, впустила.

- Я тут подожду, - сказала она, когда мы с Великановым вошли в склеп.

Дверь за нашими спинами тихо затворилась.

Мы поставили рюмку на плиту Макара, положили на ободок рюмки хлеб.

Постояли, помолчали.

Женщина вошла к нам. И, как бы прочитав мой немой вопрос в моём взгляде, сказала:

- У нас все мужчины вешаются. Никто не продолжает жизнь под чью-то диктовку. Сам принимает решение.

- По-очему?! - вырвалось у меня.

- А вот потому, что дед Евлогий догадался, что родина его не на земле, а в чреве матери. А чтобы туда вернуться, нужно самому удавиться.

- Ничего себе! - выдохнул Великанов.

- Да, именно таким образом направляется наша жизнь, - сказала женщина, и вдруг задрала подол до подбородка, обнажив своё волосатое место рождения, родину человечества.

- Потрогайте, - не сказала, а приказала она. - Сначала ты! - глазами указала на меня.

Я безропотно провел ладонью по месту входа и выхода жизни, при этом сильно возбуждаясь.

Потом Великанов притронулся к месту рождения.

- Ты пойдёшь со мной, потому что лучше погладил родину!
- сказала женщина, беря мою руку и поднося её к своему рту.

И потянула меня к нише в углу склепа, где оказалась потаённая дверь в комнатку с широкой кроватью. По пути она сказала Великанову:

- К тебе придёт сейчас другая, но такая же. Все мы скроены по одной мерке.

Это была не оргия, а какая-то величественная работа по созданию человека. Только таким образом создаётся каждый человек. Что тут ещё сказать нового?!

Люби меня любовью своею!

- Все мы пермские! - страстно шептала безлика и безвозрастная женщина.

- В каком смысле? - не понял я. - Я москвич с Никольской.

- Ха-ха... Ты с Перми-то Зою знаешь...

- Ты - Зоя?

- Зоя с Орехова-Зуева...

И матка у Зои задрожала, и она кончила.

- Ну вот и ещё один повесится, - сказала она, и, помолчав, встала.

- Кто?! - в ужасе воскликнул я.

- Ты! Веревка твоя вон в углу лежит. А крючок - в потолке.

Я перевёл взгляд с её молодой обнаженной фигуры на потолок. В кирпичном своде его торчал огромный крюк, словно был снят с подъемного крана.

Она ушла. В углу лежала не просто верёвка, а целый канат.

Вешаться сразу я, разумеется, не стал.

Вышел в склеп посмотреть, где Великанов. А он, бедолага, вытыкал клинок эроса, как гладиатор, в место рождения безликой повизгивающей от сладострастия женщины.

Какая разница, в какую втыкать?! Был бы остр клинок, да под рукой была верёвка!

Тут они сразу и вместе дружно кончили благородное дело плодородия. И Великанов встал. Подмигнул мне, отзывая в сторону.

- Не баба, а кобылица! - прошептал он мне на ухо.

- Да-а, - приходя в себя, вздохнул я.

Женщина скользнула к двери и улетучилась.

Я двинулся за ней, пытаюсь успеть ухватиться за дверь, но опоздал.

Дверь наглухо закрылась.

Великанов оделся.

Трудно передать то состояние ужаса и паники, которое нами овладело, когда мы поняли, что обречены.

Мы стояли столбами.

В склепе.

В этот момент вошла та же женщина, а, быть может, другая. Подошла ко мне и сказала:

- Это ещё не всё. Я ещё хочу тебя, - и схватила за руку и повела, на ходу сбрасывая с себя одежды.

Блюдца малиновых сосков, манящие заросли родины вновь возбудили меня. И я занялся истинной мужской плодотворной работой. Пот с меня лил, как весенняя капель с крыши.

Я на какое-то упоительное время закрыл глаза, а когда открыл, то увидел нечто невероятное: женщина на моих глазах стала увеличиваться в размерах, пока не заполнила своим детоносным телом всю комнату, а я за какую-то минуту уменьшился до размеров её мизинца, и, втянутый невероятной силой в водоворотное место рождения, проскользнул по влажному туннелю в тайное смесительное пространство. Но, что потрясающе, всё оно было заполнено миниатюрными розовыми человеческими эмбрионами в прозрачных шарах, отдаленно напоминавших нимбы. Они плавали в воздухе, как беленькие мальки в воде, и их было так много, что они напоминали сильный снегопад. В глазах рябило. И самое ужасное, что точно в

таких же шарах плавали снежинками в воздухе малюсенькие гробики.

Я от неожиданности так сильно испугался, что всё померкло в моих глазах. Вывел меня из оцепенения Великанов, тут же приземлившийся откуда-то сверху на две ноги прямо передо мной.

Тишина через равные промежутки времени нарушалась едва слышным гудением, как будто где-то рядом, за стеной включался и отключался холодильник.

Надо было соображать.

Где мы и что с нами?

Великанов, отмахиваясь от эмбрионов и гробиков, ощупывал влажные стены.

Я стал более внимательно осматривать пол, пока не понял, что мы опять находимся в склепе.

Между надгробиями Фоки и Диамида я, приглядевшись, обнаружил прямоугольные железные крышки люка, какие обычно встречаются в полу метро. На одной створке была плоско лежащая ручка.

Я приподнял её, крепко ухватился и дернул.

Створка открылась.

И на тёмной стене, уходящей вниз, я увидел скобы лестницы.

Я даже не стал задумываться, куда она ведёт.

Я сразу стал спускаться по ней. Великанов нависал надо мной.

- МОсква, чтоб ты провалилась! - окаял он.

Глубина была не очень большая, метров пять-шесть, но мне казалось, что я спускался целую вечность.

Достигнув дна, я оказался у двери.

Железной, конечно. Надавил на ручку, она и открылась.

Почему-то в подземельях все двери железные.

Я стоял в узком полутемном проходе. Великанов дышал мне в затылок.

Пройдя по коридорчику несколько метров, мы услышали страшный грохот. А, когда повернули за угол и прошли еще ме-

тров десять, то поняли, что оказались в туннеле метро. Пропустив очередной поезд, мы по краю туннеля быстро прошли на свет и оказались на станции метро «Танганская»-кольцевая, с кафельными стенами и барельефами разных военных символов.

Высочив из метро, мы почти бегом бросились в наш переулок. Но во двор входили медленно, часто дыша, на полусогнутых ногах, с постоянной нервной оглядкой. Как только завидели «буханку», опрорхметью рванули к ней. Я первым плюхнулся на сиденье пассажира, и почувствовал, что у меня мелко постукивают зубы. Великанов дрожащей рукой не сразу попал ключом в замок зажигания, а потом, когда мотор взревел, не сразу тронулся, потому что никак не мог воткнуть скорость, так как нога его выжимала не сцепление, а давила до пола на газ. Но тем не менее мы быстро тронулись.

Лишь в покрытое дорожной пылью зеркальце заднего вида я как бы в тумане едва разглядел безликих женщин, высыпавших из подъезда на скамейку.

Когда в голове гуляет ветер, и одна мысль тревожит душу, мысль о том, как бы всё осталось по-прежнему, то возникает громкий лозунг: «Вперёд, и только вперед!» Большой глупости, банальщины, пошлости, избитости, убогости я не слышал.

В какой «перёд» призывает он идти в этом круглом восьмерочном, бесконечном мире?!

Миленький, вперед и без тебя всё на этом и на том свете крутится.

Ты попробуй пойти назад, против течения, против законов времени, и смело призвать народ: «Назад!», чтобы из гроба восстал Иосиф Сталин и прибил тебя гвоздями к забору вместо объявления: «Вперёд!»

СКРЕЩЕНИЕ

Жена Кузнецова, актриса, умерла семь лет назад.

Она уезжала далеко, хотя ему казалось, что была рядом. Она всё время стремилась вернуться в прошлую жизнь, которая протекала, как тихая речка, без всяких усилий, без мыслей, без преодолений препятствий. Даже малой плотины на её пути не было. Вот почему Кузнецову забывать эту женщину легко. И довольно часто ему кажется, что бывшее было лишь для смеха. В этот момент звучит миниатюра для скрипки «Прекрасный розмарин» Фрица Крейсlera. Самое замечательное состояние в жизни - это то, когда теряешь счёт годам. Какая разница, сколько тебе лет? Нет ни вопросов на этот счёт, ни восклицаний, ни сожалений. Ты просто паришь облаком по небу судьбы. И при этом как бы постепенно молодеешь. Хотя мелькнуло и: «Глупеешь». Впрочем, молодеть - всё равно, что глупеть! Счастливое состояние влюблённости! В иные минуты, подходя к зеркалу, Кузнецов не узнаёт себя. На него взирает седой старик, а в душе смеётся ребёнок. Перевернутый мир. Кто-то иной лелеет Кузнецова в другом измерении.

Кузнецов давно уже не работал в клубе, где всю жизнь руководил музыкальной студией, но слава о его педагогическом чутье доводить скрипачей до тончайшего совершенства личности, закрепилась за ним прочно. К нему относились как к предсказателю, магу, чародею. Его знал весь музыкальный мир, и никто не знал. Тайный наставник, читатель и мечтатель. Но от него в учеников переходили какие-то не изученные ещё флюиды созидания выдающейся личности. Через несколько лет занятий его ученики становились известными на весь мир. Учеников было мало, и выбирал он из направляемых к нему по большому знакомству и по секрету по одному ему известному принципу. Он сам говорил, что играть отлично на скрипке умеют тысячи, а гениями становятся единицы.

Кузнецов вышел на тесную кухню, где страшно гудел старый холодильник, доел из потрескавшегося эмалированного ковшика куриный супчик с вермишелью, после чего в большой комнате с книжными стеллажами устроился на диване с книгой избранных произведений Артура Шопенгауэра. Кузнецов открыл страницу на закладке и начал пробегать глазами текст, начиная с фразы: «Таким образом, обладание расширяет меру необходимого, а с нею и способность чувствовать страдание...»

Да, Кузнецов сильно чувствовал, что с годами расширение знаний приносило ему больше, если не в прямом смысле страданий, то уж точно - переживаний. Размышляя об этом, Кузнецов попил чаю с лимонным вареньем, затем надел длинный черный плащ, взял черную же фетровую шляпу с широкими полями и трость. У подъезда как всегда сидели женщины, которые, завидев его, сразу смолкали, дабы ритуал приветствия прошел как должно, а именно, Кузнецов останавливался напротив сидящих, длинными тонкими пальцами приподнимал шляпу, кланялся и произносил:

- Я польщен вашим присутствием и постоянным вниманием к моей персоне...

И шел дальше, к воротам кладбища, поскольку любил каждый день прогуливаться по кладбищу, рядом с которым жил.

Девушка обратила на себя внимание Кузнецова не обычным жестом, не выражением лица, а тем, что в глазах ее томительных небесный луч мгновенно промелькнул, незаметный ни для кого, кроме Кузнецова, и он уловил этот сладкий лучик, и сразу сообразил, в чем дело. Музыка еще звучала. Скрипка перекликалась с птицей. Но уже можно было догадаться, что пьеса подходила к концу.

- Вы знаете, кто вы? - услышал он мягкий и почти интимный голос девушки.

- Увы, сам не знаю, кто я, - замирая от удивления, тихо ответил Кузнецов.

- Как же вы не знаете, если умеете играть на скрипке? Вы же скрипач!

- Э-э, нет! Играют многие, а скрипачей - единицы, - сказал добродушно Кузнецов. - Я лишь создаю этих единиц, но сам я ноль.

- Вы себя очень жестко судите, - сказала девушка. - Я слышала, как вы проникновенно играете на скрипке. Лучше этих единиц.

- Может быть, - сказал Кузнецов. - Но у меня нет имени, а значит, я - ноль.

Музыка как бы засыпала нежным сном, чтобы опять встрепенуться на мгновение, подобно ребенку, не желающему спать, но все же быстро засыпающему, вспыхивала всеми инструментами - альтами, скрипками, валторнами, роялем и арфой, чтобы резко оборваться. Девушка отошла к зеркалам и села в кресло. Было заметно, как под ее учащенным дыханием вздымался снежный шёлк платья на груди. Девушка опустила белую руку с нежными пальцами (о, какие это музыкальные пальцы!) на сжатые колени, и Кузнецов никак не мог оторвать взгляда от этой руки, превратившейся в мраморную руку на старом мраморном памятнике.

Жизнь, ведущая к смерти, своей монотонностью вселяет во многих людей ужас. Ничего не умея противопоставить миру, они бегут от него в свой внутренний мир, но и там не находят ни счастья, ни покоя, потому что их внутренний мир беден. Это не преувеличение Кузнецова, это безумие самой действительности. И, может быть, безысходность у этих людей не очень глубока, но дух уже озадачен. Вещие сны, атмосфера тайны, двойники, перевоплощения - лишь внешние аксессуары магического мира души.

Один на всём свете среди чёрных железных, кое-где поржавевших оград и покосившихся крестов, и дождь умывает Кузнецова. Темнеет. Из-за лилово-бурых туч просачивается лунный лимонно-зеленый свет. И Кузнецов ощущает кисловатый аромат, как будто он серебряным острым ножом кольцами срезает зернистую кожуру лимона. Вся жизнь Кузнецова как бы сошла ныне в ожидании переезда сюда. Он горизонтален,

а дождь вертикален. Всюду видится скрещенье чего-то с чем-то. И слепому ясно, что дождь падает с неба. И глухой слышит, как Кузнецов ускоряет шаги. Всё здесь выглядит жиденько в полутонах, в свете - рельефно, а глубокие тени и вовсе не затрагивают его внимания, оставляя впечатление небрежного подмалёвка. Но и этот подмалёвок впечатляет, потому что кажется протемнённым, то есть Кузнецов видит что-то там, но не понимает что, даже света во мраке, но как бы менее контрастно. В прописи и лессировках заметны прозрачные краски. Картина кладбища кажется необыкновенно глубокой и насыщенной по гамме, а при хорошем освещении всё играет оттенками и цветовыми вариациями за счёт многократного прохода солнечных лучей через густые слои облаков.

Кузнецов понимал, что время бежит значительно быстрее в приятных делах и в радостях, и замедляет свой ход, когда печаль захватывает тебя в свои объятия, поскольку страдание, а не наслаждение, делает нас людьми.

Стук каблуков забирается в гулкие подворотни. Это ускоренный путь твой земной. Ты не вполне сознаёшь, что завершается жизнь. Она начиналась с рассветом украдкой в звенящей тиши. Там было всё сладко и гладко. И был колокольчиком ты.

Кузнецов с удовольствием вспоминал, как взбирался на колокольню заброшенной церкви в школьном дворе. Там тайна была. Да, тайна, поскольку ушёл от неё в другие годы, будто в бесконечность. И в колокола сам звонил мальчишкой в престольные праздники. Они совпадали с красными праздниками. И тогда особенно волнительно было названивать в колокола. Внизу течёт река демонстрации с духовыми оркестрами, с флагами и транспарантами, и всё красное, буквально красная река колышется в каменных берегах улицы, а маленький Кузнецов им своё противоположное мнение высказывает колокольным звоном. Большевики! Забыли снять колокола?! А Кузнецов с мальчишками всё разведал. Через чердак - на колокольню. И голуби, роняя пух, разлетались, свистя крыльями, в разные стороны с громким воркованием. Особенно Кузнецову нравилось

раскачивать большие, тяжелые колокола. И получалось у него прекрасно. Каждый колокол подавал свой особенный голос в нужное время, звонил уверенно и мощно.

Стройная гармония колоколов соединяет все праздники людей от рождения до смерти.

Кузнецов совсем недавно выпил чаю с лимонным вареньем и теперь отчётливо слышал звон колоколов. Такой звон, который Кузнецов слышит, воспроизводит текст книги, которую он читает про себя, шевеля губами. Так Кузнецов разговаривает во сне, под пасмурными небесами, когда кровь почти не пульсирует в его теле, а ночь напоена ароматом лимонов. Это в который раз толкает Кузнецова к догадке, и даже почти к пониманию того всеобъемлющего и непреложного факта, что во всех случаях жизни во главе угла стоит слово. В непонимании этого основополагающего закона состоит заблуждение подавляющего большинства людей, считающих материальный мир первичным, поскольку они, как слепые, не замечают слова, а через него с ходу выходят на предмет, обозначенный словом. Это неведение можно сравнить с не замечаемым ими воздухом, без которого человек не может жить. И груди твоей любимой напоминают созревшие лимоны. Именно поэтому весь мир вокруг без слова гаснет, бесследно исчезает. Ты слышишь, как звучат колокола?!

Подбив повыше подушку под головой, старик Кузнецов читает Шопенгауэра: «А так как наше положение в мире представляет собою нечто такое, чему бы лучше вовсе не быть, то все окружающее нас и носит следы этой безотрадности, подобно тому, как в аду всё пахнет серой: всё на свете несовершенно и обманчиво, всё приятное перемешано с неприятным, каждое удовольствие - удовольствие только наполовину, всякое наслаждение разрушает само себя, всякое облегчение ведет к новым тягостям, всякое средство, которое могло бы помочь нам в нашей ежедневной и ежечасной нужде, каждую минуту готово покинуть нас и отказать в своей услуге; ступеньки лестницы, на которую мы поднимаемся, часто ломаются под

нашими ногами; невзгоды большие и малые составляют стихию нашей жизни...»

Кто-то настойчиво стучит в железную дверь. Зачем стучать? Есть же звонок! Но стук продолжается. Тогда Кузнецов догадывается и смотрит в окно на железный отлив, по которому с ритмичной маятника стучат крупные капли с крыши. Тает снег. Снег синий, и зеленый, и в цвет лимона, и даже красный, но только не белый, особенно под памятником его жене на взгорке, прогреваемом весенним солнцем. Кузнецов приблизился к памятнику и с неизъяснимой осторожностью погладил изгиб цвета недозревшего лимона бронзы, как будто не мог поверить в существование вечности. По едва заметной дрожи его руки можно было догадаться, как замирает его сердце, когда он прикасается к памятнику.

В полумраке Кузнецов хотел притронуться смычком к струнам, но вместо этого нажал на педаль газа, машина взревела, но колеса не крутились, лишь шестерни в коробке передач скрежетали с треском, не сцепляясь друг с другом. Жуткий металлический скрежет. Было очень влажно и жарко как на солнцепёке. Воздух пропитался запахом бензина. Тут мотор заглох. Наступила ночная тишина. И вдруг машина поехала. Кузнецов взглянул через лобовое стекло вперёд на круто уходящую булыжную мостовую, в конце которой выростала книга, которую читать было запрещено.

Самое ценное в жизни то, что запрещено.

Чёрный мрак чернее ночи. Перед взором Кузнецова всё чернеет, как будто он оказался в помещении без света и без окон, идёт, выставив руки вперед, хватая воздух, на ощупь. Пьяный бархат темноты. Да, это состояние ночной прогулки по замкнутому пространству, совершенно ему не знакомому, подобно сильному опьянению. Кузнецов трезв, но покачивается. Случается, что из этой непроглядной, вещественной темноты выглядывает бледный лик луны. Очень тихий, стеснительный свет, не жёлтый, а голубоватый. Свет её слегка выхватил из иссиня-черного бархата мглы длинный прямоугольный стол на

фоне едва различимого как бы излучающего едва заметный свет мраморного пола, почти снежного. Появляется такая снежная слюдяная корочка ночью после весенней оттепели. Чёрная поверхность стола тоже едва поблескивала в темноте. И вообще, всё в этом ночном пространстве как бы поблескивало, как будто было покрыто тонким слоем бесцветного лака. Так светится всеми своими изящными формами рояль на сцене, как бы в приглушённых лимонных солнечных лучах, когда свет в зрительном зале погасили, и осталась гореть где-то на колосниках одна слабая, желтенькая, как керосиновая лампа, дежурка.

На черном прямоугольнике, чуть дальше от центра, вдруг медленно начала вырастать чья-то круглая голова, край парадной сорочки, административный галстук. Голова переместилась, как спасательный круг по воде, к дальнему торцу стола, и от головы начал разрастаться сам стол - там, вдалеке, узкий, а ближе к тебе - очень широкий, во весь горизонт взгляда. Черное, с коричневыми отблесками пространство, в перспективе которого - круглая, как стальной зеркальный шар, голова при галстукке, и от нее на тебя, как паровоз со звездой во лбу, неутомимо надвигается стол для заседаний. Стулья для заседателей не требовались, так как члены заседания не нуждались в них по причине наличия только голов заседателей, и эти головы одна за другой стали вылупливаться, как цыплята из скорлупы, из черной поверхности стола справа и слева. Так в темных подвалах выращивают белые упругие шампиньоны. Но головы появлялись разнообразные. У одних носы были широкие, у других - узкие, у третьих рот был большой, у других маленький, но с толстыми губами. У одних голов глаза были оловянные, а у других - деревянные.

Кузнецова вызвали. И сейчас его призовут к ответу. Уволят к чертовой матери по «волчьей» статье. Признают антисоветчиком...

Закончив очередное занятие с рыжеволосым темпераментным уже достаточно известным скрипачом, который всё схва-

тывал на лету и отличался почти механической техникой, Кузнецов посидел некоторое время в старом продавленном кресле, затем, поскрипывая суставами, ибо всё его старческое тело исхудало настолько, что под тонкой бледной кожей были видны кости, встал, подошел к окну и, глядя на улицу, сказал:

- Одну минуточку, сейчас проведём маленький эксперимент. - Кузнецов отошёл от окна и включил катушечный магнитофон «Днепр», до сих пор прекрасно работавший, хотя был куплен в 1968 году.

Зазвучала скрипка.

- Это «Боже, храни королеву» Паганини, - сразу узнал рыжеволосый скрипач.

- Ну, в этом я не сомневался, что вы без труда узнаете Паганини... Но кто играет?

- Леонид Когдан? - предположил скрипач.

- Нет.

- Иегуди Менухин?

- Нет.

- Вадим Репин?

- Нет.

- Так кто же?

- Это играю я...

- Удивительно, как я не догадался! - воскликнул смущенно скрипач.

- Не беда... Но я хочу сказать о другом... Люди строят всяческие препятствия на пути нового таланта.

- И в этом я убедился сам, - подхватил рыжеволосый скрипач, пытаясь откусить заусенец на безымянном пальце левой руки.

Старику Кузнецову видеть это было неприятно, но он старался никогда не делать замечаний.

- Вот ещё пару лет назад, - сказал он, - вы никому не были известны, хотя уверенно брали скрипку, выходили на сцену и с легкостью, поглощенные всецело сферой поэзии, играли лучше, чем Яша Хейфец, чем Давид Ойстрах...

- Ну, вы сильно преувеличиваете...

- Я говорю, то, что вижу... Замените фамилию "Ойстрах" на, предположим... - Кузнецов повертел над головой рукой, подбирая Ойстраху новую фамилию, - "Червяков"... Да, Давид Червяков...

- Это вы уж слишком, - мягко сказал ученик.

- А разве в слове "Ойстрах" вы не чувствуете страха? - спросил Кузнецов.

Скрипач задумался, почесал рыжий затылок и как-то испуганно усмехнулся.

- Я умышленно дал ему неблагозвучную фамилию. Что вы в этом "Червякове" слышите?

Скрипач опустил глаза в пол и перестал грызть палец.

- Ничего, кроме отвращения, - наконец вымолвил он, краснея.

- Вот... Но при этом и такое имя можно сделать знаменитым, любое имя можно сделать прославленным! Так и с вами дело обстояло. О вас мало говорили, затирали, просто не замечали. В чем дело? В имени, дорогой мой! Сначала работаешь на имя, потом имя работает на тебя. Вы теперь поняли, что важнее самой игры - публикация о вашей игре на скрипке. Те были раскручены, а вы находились только в начале пути. Если попали на телевидение, на радио, в газеты, то можно и концерт не проводить - известность и так гарантирована. А можно всю жизнь выступать "для публики" и исчезнуть в безвестности, потому что даже малой заметки в газете не было. Никто не слышал, как играет Паганини. Но все соглашались с тем, что он гений. Так я, Кузнецов, исчезну, испарюсь, как снег весной. Но я тайный наставник вашего и ваших коллег бессмертия.

- Это как-то выходит за грань обычного, - сказал рыжеволосый молодой виртуоз, портреты которого на афишах расклеивали теперь не только у нас, но по всему миру. - Всё делается, как вы сказали.

- Вот то-то и оно! - воскликнул Кузнецов. - О вас уже пишут газеты и говорят по радио, выражая восторг и непонимание,

как это вам удаётся исполнять так исключительно чисто терцовые пассажи, и что интонация у вас феноменальная! К техническому совершенству левой руки относят ваши поразительно воздушные переходы с одной позиции на другую... Но дело не в этом, и вы теперь должны это понимать...

Когда рыжеволосый талант удалился, Кузнецов взял скрипку, откинул назад плешивую голову с длинными седыми волосами по бокам, и смычком извлёк несколько высоких нот, похожих на пение кладбищенских птиц.

Когда Кузнецов учился в консерватории, ему прочили успешную будущность. Да, на скрипке он умел играть не хуже других, многозначно, с паузами и подтекстом. Ещё до консерватории он подрабатывал скрипачом в оркестре клуба влиятельных органов. Отец его был большим чином в этих органах. В клубе и остался надолго, даже когда оркестр ликвидировали. Стал руководителем музыкальной студии. И в какой-то момент у него открылся талант создания музыкальных личностей. Одному консерваторскому другу не везло. В каком бы конкурсе он ни принимал участия, везде проваливался. Кузнецов через органы пробил его выступление на телевидении. И научил играть с паузами и поэтично, с подтекстом. Причём, долго во время наставления смотрел ему в глаза. Мол, мы знаем такое, чего вы не знаете. И пошло. Правда, теперь этот скрипач живёт в Америке, но слава его гремит и здесь.

Кладбище было пустынно. Надвигались сумерки, и на небе показалась лимонно-бледная луна. Из боковой дорожки вышла высокая пожилая дама в шляпке с черной вуалькой.

- Как одиноко сегодня здесь, - сказала она низким грудным голосом.

- Пустынно, - согласился Кузнецов, приподнимая шляпу.

- И луна...

- У вас очень красивый голос.

- Я актриса...

- А я играл в оркестре.

- Играли в оркестре? Интересно. Ну и как там жилось?

- Одни дули, другие пилили, третьи стучали, - с некоторой иронией сказал Кузнецов.

- Как это? - удивилась актриса.

- Дули в трубы, пилили на скрипках, как я, стучали на рояле...

- Ничего себе. Да разве рояль - ударный инструмент?

- Ещё какой? Сколько молоточков стучит по натянутым струнам! И пальцы барабанят по бесконечным клавишам...

- Интересно, - сказала актриса, повернулась и пошла к выходу.

И только когда она пропала из виду, Кузнецов догадался, что это была его жена.

- Мы после смерти не узнаём друг друга! Вот в чём фокус! - прошептал он, оглядываясь в страхе по сторонам.

5 декабря 1945 года Левкоев, лысеющий, медлительный, отметил 56-ю годовщину со дня рождения. Жена напекла пирожков с капустой и яичками. Были сын с женой Надей и дочкой, пятилетней Аллочкой, и сестра Светлана с мужем и сыном. Выпивки было много. Бочковой красной икры Левкоев купил 300 грамм.

Когда Левкоев завёл речь о красоте церковного пения, Надя со злостью сказала:

- Бросьте вы эти старорежимные привычки! Это плохо влияет на Аллочку!

Левкоев промолчал.

За несколько дней до Нового года на площадях устроили ёлки, а по сторонам - понастроили домики в русском стиле. Торгуют в этих домиках всякой всячиной, в том числе водкой и вином. В результате многие закладывают за воротник. Левкоев видел, как один гражданин купил 200 грамм водки, то есть стакан, а к нему - бутерброд - ломтик белого хлеба с красной икрой. Одним махом он выпил стакан и стал закусывать. Левкоев вообразил, как его потом развезёт. Надо основательно поесть, чтобы выпить целый стакан. Вероятно, Левкоев бы обалдел. Ёлки, собственно говоря, устроены для детей. Но детей, кроме уличных мальчишек, там нет, потому что их могут смять в гуляющей толпе. Зато молодежи много, которая и развлекается как может.

31 декабря собрались в кабинете управляющего Берельсона. Левкоев прихватил плитку шоколада, которую с утра купил у метро «Дворец Советов». Выпили очень хорошо. В четыре часа утра Левкоев лёг спать в отделе на узком диванчике. В десять тридцать утра поехал домой. Пил кофе, ел вафли.

С утра болела голова. К вечеру стало лучше. Починил керосинку. Обед состоял из двух тарелок супа. Это в Новый-то год! А в столовой треста кормят рыбным супом.

Левкоев не всматривался в даль нового года, не гадал. Что будет, то и будет. Вспоминал апостола Павла, который постоянно повторял: «Всегда радуйтесь!» Левкоев всё-таки подмечал у себя надежду, что будто бы будет лучше.

Потом ходил на рынок за сухими дровами, но таковых не нашел. Как он будет топить сырыми дровами и что из этого получится? Он не знал.

Сын и его жена много работают, поэтому Аллочку оставляют у Левкоева.

После получки деньги быстро подходят к концу. Нет сомнения, что они тратились без расчёта. Левкоев покупал сливочное масло, сосиски в гастрономе № 1, на Петровке и в «Москве», так что в некоторые дни они с женой ели прилично.

На следующей неделе Левкоев был с Аллочкой на ёлке в Доме пионеров на улице Стопани. Сперва в фойе, а потом на сцене выступали клоуны, фокусники, жонглёры, гимнасты. Выступления были удачные, так что Аллочка смотрела с интересом. Очень прилично играл духовой оркестр. В заключение все дети получили подарок - мешочек с лакомствами. По сравнению с прошлым годом подарок беднее.

Аллочка рассказывала, что детский сад вели по улице Коминтерна на Красную площадь. «Я видела, - говорила она, - что у вас открыта форточка и так мне захотелось к вам зайти!»

Когда Левкоев шел с ней по улице Герцена, Аллочка недоумевала, что это за улица, но потом сообразила, что им надо свернуть в переулок, по которому Левкоев ходил с ней в театр на «Синюю птицу». Левкоев подумал, что за Аллочкой надо записывать, так она толково рассуждает.

Обычно родители не ведут дневника жизни своих ребятшек. А между тем они представляют драгоценный материал для чтения или воспоминаний в пожилом возрасте или в старости. Когда жизнь подходит к концу, человек оглядывается назад, ему очень мило детство. Но память почти ничего не сохранила. И вот тогда записки родителей и приходят на помощь, рисуя их в детстве.

Шестого числа на дворе была оттепель. Левкоев не помнил, чтобы накануне Рождества Христова было плюс один по Цельсию. На первое обеденным блюдом был суп, сваренный из остатков кеты. На второе - кукиш, или фиг, то есть ничего. Вот так Левкоев и живёт!

Ездил на Дорогомиловский рынок, купил 2 кг. картофеля - 36 рублей! Встретил там старого товарища, торгует сахаринном. Он жаловался на своего сына, которого принуждён был отправить в исправительный дом - бросается на мать с ножом. Явно больной и состоит на учёте у киевского райпсихиатра. Сам товарищ тоже болен - шизофрения, один глаз плохо видит, наркоман.

Жена Левкоева до последнего времени брала работу на дом, но от стука пишущей машинки у Левкоева пухла голова. Пришлось выдержать небольшой скандал. И он не сдержался, и жена не сдержалась. Наговорили друг другу грубостей. Но теперь она ходит в своё учреждение в те дни, когда Левкоев сидит дома. Сам он посещает трест три раза в неделю.

Жена частенько помыкает Левкоевым, когда оба оказываются дома. Она теперь почти ежедневно ведёт борьбу с блохами. Наконец она решила, что они развелись от давно не мытого пола. Левкоев молча вымыл пол. Теперь будет видно, что будет.

В воскресенье Левкоев с удовольствием слушал по радио Шаляпина и Собинова. Слышимость была плохая. Однако голос Собинова был с замечательной нежностью, благородством в произношении. Обыкновенные, затёртые слова вдруг обаятельно звучат. Ну а Шаляпин есть Шаляпин! Всё! И ум, и голос, и сила - забыть никогда нельзя.

Левкоев был с Аллочкой на ёлке в Колонном зале Дома союзов. Для детей - это праздник, громадное развлечение. С ними случилась беда - Аллочка зачем-то взяла с собой куклу - Марфушку. Когда они вошли в зал, программа только что началась. Аллочка так восторженно на всё реагировала, что забыла про Марфушку, и та в давке, в суете незаметно у неё выпала

из рук. Они вспомнили о ней, когда уже всё кончилось и надо было идти за подарком. Конечно, Аллочка расплакалась. Левкоев, как мог, её утешал. Женщина, выдававшая подарки, тоже утешала Аллочку, говоря, что куклу можно купить и расстраиваться не стоит. Кроме главного зала, Левкоев с Аллочкой побывали и в других комнатах. Им понравился кукольный джаз. Очень много раз пришлось держать Аллочку на руках. Одет Левкоев был тепло, и ему было очень жарко. В результате он даже устал.

На обратном пути Аллочка была печальной. Она думала, что ей нагорит от матери. В таком настроении они и пришли домой. Когда с рынка вернулась жена Левкоева, Аллочка совсем расквасилась. Бабушка, однако, нашла выход: решила вину за пропажу Марфушки свалить на дедушку, то есть на Левкоева. Аллочка успокоилась и сказала, что дедушке «не попадёт». Пили кофе, ели оладьи. Аллочка мало ест. Пришлось её уговаривать. В конце концов она съела два блюдечка варенца.

Затем они решили поспать. Улеглись на диване. Левкоев ухитрился на момент заснуть, даже видел сон. Накануне, когда он колот дрова, то сказал шофёру, стоявшему у машины около входа в их дом, что сегодня - сочельник, а завтра крещение; многие, наверно, будут праздновать, и, кажется, заметил, что разрешили звонить в колокола. И вот, когда он на момент заснул, ему и приснилось, что звонят в переулке на колокольне храма Александра Невского, в котором Левкоев служил до революции после окончания московской духовной академии. Услышав звон, Левкоев был в полном недоумении - когда же успели повесить колокола? На этой мысли он и проснулся. Звон по телефону. Это звонила сестра, выясняла, скоро ли придёт к ней жена Левкоева с Аллочкой на именины сына. Аллочка совсем было разгулялась, но Левкоев настоял, чтобы она спала. Они опять улеглись, и, может быть, заснули бы. Но пришла жена и начались сборы. Вскоре жена и Аллочка ушли. В гостях, как Левкоеву передавала жена, Аллочка сперва стеснялась. А затем выступила со стихами и, конечно, плясала. Угос-

тили её хорошо. Было много взрослых и ребят. Левкоев, несчастный, до девяти часов вечера возился с дровами. Сушил их на печке, которую топил. Сварил несколько картофелин. А в общем просидел без обеда.

Во вторник в тресте было общее собрание, посвященное выдвижению кандидата в Верховный Совет СССР. Президиум состоял из 7 человек. Попал в него и Левкоев, как самый тихий. Он сидел на сцене, слушал ораторов и глядел в публику. Потом выступил Берельсон, и так удачно, что из ничего сделал целую ораторию. Под бурные аплодисменты кандидатом был избран товарищ Сталин.

В четверг Левкоев был с Аллочкой в Третьяковской галерее. Обошли все комнаты. Аллочка рассматривала картины с интересом. Левкоев ей кое-что рассказал про боярыню Морозову. Когда они возвращались домой, она заявила, что её жалко Морозову. Некоторые картины Левкоеву ей было трудно объяснить. Увидев статую Христа работы Антокольского, она спросила: «Кто это? Почему руки связаны?» Левкоев объяснил. Кому-то дома, говорят, она сказала: «И священников тогда сажали». Рассматривая картины «Княжна Тараканова» и «Иван-царевич на Сером Волке», она обратила внимание на то, что одеяние их, в частности бархат и парча, как настоящие. Левкоев присмотрелся и убедился, что её замечание правильное.

Каждый день с утра одна и та же песня: Левкоев колет дрова и топит печь. И это в самом центре Москвы! Очень трудно ему одному топить. Дрова быстро подходят к концу. Значит, Левкоеву опять с бою придется добывать их на рынке.

За это время Левкоев почти ничего не читал. Некогда! Такой период он называл «мёртвым». В связи с этим прочёл интереснейшие строки о Достоевском: «Во всю свою жизнь он имел привычку - раскрывать то самое Евангелие, которое с ним было на каторге, и читать верхние строки открываемой страницы. Так поступил он и тут, и дал прочесть жене; это было от Матфея, гл. III, ст. 11: «Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надо креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко мне?»

Но Иисус сказал ему в ответ: «Не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Когда его жена прочла это, Достоевский сказал: «Ты слышишь, не удерживай - значит, я скоро умру». Через несколько часов он действительно умер, мгновенно, от разрыва лёгочной артерии. Это произошло 28 января 1881 года».

Левкоев всегда недоумевал, почему нет книги, в которой были бы собраны изречения великих людей в час смерти. Это был бы интереснейший, поучительный материал.

В Москве не хватает электроэнергии. За перерасход безжалостно выключают свет.

Зима незаметно перешла в весну. В среду на Страстной Левкоев был в церкви в Елохове. Хотел послушать Часы. Он побыл в храме от 11 до 12 часов.

Когда Левкоев вошёл, как раз облачали патриарха. С виду благообразный старик, с презлегантнейшим лицом, борода - лопаточкой. Протодиакон, хотя и старик, но с хорошим басом. И Апостол и Евангелие по старинке заканчиваются «Великим гласом». По мнению Левкоева, это устарело, и надо бы отменить. Всякий крик, даже восторженный, ни к чему. Он портит настроение. Хор пел очень хорошо, но с синодальным не сравнить. Великолепен альт, особенно когда канонарший. Слова: «Аще беззакония наши назриши, Господи, кто постоит», - прошибли у Левкоева слезу. То же слова: «Людие мои, что сотворите вам?» Вряд ли кто из присутствовавших так анализировал то, что читается и что поётся, как Левкоев. Публика - смесь. Есть молодёжь. Что её занесло в церковь? Непонятно. Есть дети, которые пришли с матерями. Больше, конечно, женщин. Но и мужчин порядочно. Арка царских врат усеяна электрическими лампочками. Когда они горят, получается довольно эффектно.

Служил патриарх. Левкоев стоял около клироса и слушал пение стихир. Больше ничего не удалось послушать, так как надо было ехать домой. Вслушиваясь в текст, Левкоев пришел к выводу, что в песнопениях есть много великолепных мыслей, но их надо раскусить. Левкоев посмотрел на молящихся: вряд

ли они улавливают эти мысли. Ведь требуется соответствующее образование, а его у них нет. Нет и способности схватывать большую мысль интуитивно. Это - редкая способность. Верующие откликаются только на то, что и младенцу понятно. Например, стоит запеть хору: «Господи, возвах к Тебе» или «Отче наш», - и все усиленно крестятся. Почему? Потому что понятно.

Простые необходимые товары надо было доставать, поскольку на прилавках их не было. Левкоев иногда целыми днями в отчаянии бегал по улицам, в поисках постного масла, или хозяйственного мыла. А уж о яйцах и говорить нечего. На задах магазина, со двора «выбрасывали». Очередь спиралью завивалась из-под арки в средний двор, там уходила в задний, а уж оттуда подходила к ящикам с яйцами у чёрного хода магазина. Порядковый номер писался химическим карандашом на ладони.

В пасхальный день Аллочка была у Левкоева. Танцевала, пела, читала стихи, оживлённо вела себя за столом. Прямо молодец! И притом в 5 лет! Почему-то вдруг пожаловалась, что её холодно. Поставили термометр. 38! Если бы у Левкоева была такая температура, он был бы сам не свой. А она даже виду не подала. Они всё надеялись, что она выправится. Левкоев видел её несколько раз. Ему показалось, что она и к жене, и к нему стала менее ласкова, менее внимательна. По-видимому, родители что-то говорят про них дурное, а Аллочка поддаётся их точке зрения.

Май был холодный, часто выпадали дожди. В тресте поговаривали, что и июнь будет холодный. Но не тут-то было! Уже с неделю стоит такая жара, словно на дворе июль. Все ждут дождя, а его нет и нет.

У Аллочки новое увлечение - прыгалки. Левкоев выходит с ней во двор, стоит в тени старого флигеля, а девочка прыгает, да так ловко попеременно поднимая ножки, невысоко, но часто, что веревочка мгновенно проскакивает под самыми красными туфельками, не касаясь их.

Частенько Левкоеву говорят, что он неплохо сохранился, довольно молодо выглядит. Но, не кривя душой, он стал замечать старость. Она выражается в том, что он вдруг стал уделять большее внимание мысли о краткости жизни. Эту мысль Левкоев постоянно подчеркивает в разговоре. Явления, на которые он раньше не обращал внимания, теперь, наоборот, его интересуют. Что же это за явления? Левкоев, например, разглядывает вещи, старые, смотрит, какой отпечаток на них наложило время. В переулках разглядывает старые дома, и даже слышит как будто голоса жильцов из начала века. Эти голоса прежде раздражали Левкоева, или он их вовсе не замечал, а теперь ужасно нравятся. Он взирает купола церквей, высывающихся отовсюду на фоне горизонта с закатным солнцем, когда прогуливается по набережной... А в голове одна мысль: осталось жить недолго и он исчезнет так же, как все исчезает. А между тем жить хочется и притом как-то по-особенному, вроде как бы хочется начать жизнь сначала... С улыбкой радости поглядывал на Аллочку. Вот ей предстоит увидеть новую жизнь, счастливую, без войны, безо всяких забот о хлебе насущном.

То, что Левкоев получает рабочую карточку, литер Б, и абонемент - это счастье. Но у Левкоев с огромным трудом находят деньги, чтобы их отоварить. Кроме того, отоваривание происходит зачастую неудачно: вместо сахара - конфеты, вместо мяса - рыба или селёдка, вместо сливочного масла - сало или растительное масло. Однако наряду с безденежьем и тяжёлыми условиями жизни приходится наблюдать сытых, здоровых людей. В гастрономических магазинах толпы народа, в комиссионных - покупателей. Значит, известный слой населения живет превосходно. На их лицах такое самодовольство, что они, по-видимому, даже не понимают реальной теперешней жизни.

Аллочка не ходила продолжительное время в детский сад, так как был карантин из-за эпидемии скарлатины. Левкоев этим воспользовался и возил Аллочку сперва в Новодевичий, а затем в Донской монастыри. Посещением Новодевичьего

монастыря они остались довольны. Собор открыт. Громадное впечатление производит чудесный иконостас. Левкоев нарочно кашлял - резонанс в соборе превосходный. Но алтарём Левкоев остался недоволен - он пуст. В витринах - несколько экземпляров облачения - и только. Престол пустой. Аллочка обратила внимание на старинные славянские книги.

По дороге в Донской монастырь Левкоев показывал ей, где он жил, будучи учеником. К сожалению, домик сломали, так что они постояли только на том месте. Затем Левкоев показал ей бывшее духовное училище, где учился до академии. На поляне около училища были две липы. Так вот одна из них сохранилась. Левкоеву было очень приятно посмотреть на неё. Потом ходили по кладбищу и заходили в собор. Но внутреннее помещение собора было закрыто, функционировала только галерея, где размещены разные экспонаты. Галерея была в порядке, но самый монастырь и кладбище в диком запустении. Левкоеву было от этого очень грустно. Аллочка и то сказала: «Что же это за архитектурный музей - протянута верёвка, а на ней - бельё, и всюду бегают мальчишки». Раньше здесь было чисто, красиво, благообразно, а сейчас - мерзость запустения. Почему? От дикости и невежества.

Именины Аллочки справили так себе. Ели пирожки, очень вкусные. Немного выпили. Итак, этой милой девочке исполнилось 6 лет. Выглядит она хорошо, голова работает превосходно, ведёт себя скромно. Вообще, производит на Левкоева впечатление отличной девочки. На октябрьские праздники в детсаду успешно выступала - танцевала и декламировала. Жена Левкоева была в восторге. Правда, Аллочка не любит, когда во время выступления смеются. Ей тогда кажется, что смеются над ней. Но бабушка не может удержаться от смеха, так что приходится Левкоеву на неё покрикивать.

Днём в воскресенье Левкоев был на рынке в Дорогомилово. Хотел продать свои новые ботинки. Уже у ворот стояли плотные ряды продавцов всего того, что можно продать. Покупатели же были в явном меньшинстве.

Много было среди толпы таких непревзойдённых артистов, которые с невиданным мастерством играли роли инвалидов, смертельно больных, потерявших родню, окончательно опустившихся на дно жизни. На тележках с подшипниками, на костылях, зрячие слепые, с выпученными глазами, в тряпье и рванье, с утра до позднего вечера выпрашивали себе подаяние. А цыганки в цветастых полушалках, сплочёнными стайками сновавшие туда-сюда, как пчёлы, пронеслись мимо Левкоева, словно его и вовсе не было на рынке, как и их не было для него.

Левкоев постоял некоторое время между толстой бабы в телогрейке, предлагавшей крикливым голосом купить у неё обувные стельки, грубо вырезанные, наверно, ею самой из картона, и небритым мужиком в офицерской шинели без погон, навязывавшим всем встречным-поперечным лошадиные подковы «на счастье», связка коих висела на проволоке на его шее, так что он прогибался под их весом. Левкоев, видя, что тут успеха не добиться, пошел, шлепая по лужам, по торговым рядам, сколоченным сикось-накось из дерева, предлагая свои ботинки подмосковным колхозникам, стоявшим возле огромных кадок с квашеной капустой. Давали только 350 рублей. Не продал.

Чувствовал весь день себя Левкоев отвратительно. И на другой день настроение не улучшилось. После обеда ушёл со службы. Приехал домой, а жена просит съездить за Аллочкой, забрать из детского садика. Туда пошел пешком, чтобы проветриться. Взял Аллочку. Решил вернуться на трамвае. Три остановки. Очередь на остановке скопилась приличная. Трамвая долго не было. Когда он показался, Левкоев взял Аллочку на руки, прошёл вперёд к остановке первого вагона, чтобы с ребенком его пропустили с передней площадки. Левкоев еле втиснулся на ступеньку. За его локоть уцепился ещё кто-то. Трамвай тронулся, не закрыв двери, прибавил ходу, с резкими звонками. Задний гражданин потянул его за собой, Левкоев не удержался и буквально вывалился из трамвая. Дальше Левкоев только услышал дикий визг Аллочки из-под колес.

Трамвай остановился. Пассажиры высыпали из вагонов. Сперва охали и ахали, потом сказали: «Хорошо, что насмерть. Так лучше».

Церковь находится рядом в переулке. Маленький гробик. Бледное неподвижное личико в белых кружевах. Началось отпевание. Певчие поют хорошо. Но разве такой хор должен был бы отпевать Аллочку?! Левкоев сам в этом виноват. Ему надо было заказать заупокойную всенощную, затем обедню и отпевание. Пригласить епископа, а главное - побольше певчих. В результате было отпевание наспех. Знаменитое «Покой, Спасе наш» певчие пели громко в быстром темпе, тогда как требуется лёгкий, воздушный, медленный напев. «Со святыми упокой» и «Сам един» певчие спели без особенного мастерства. Иногда резко выделялись то тенора, то басы. А надо было спеть *riano*.

Но вот отпевание кончается. Диакон провозгласил: «...и сотвори ей вечную память». Хор вдруг запел в унисон «Вечная память». Левкоеву показалось, что певчие не попали в тон. Оказывается, дальше послышались оригинальные аккорды, каждый голос повёл свою мелодию. Получилось так прекрасно, что Левкоев с умилением слушал. Само собой понятно, пели *riano*, переходя в *rianiſſimo*. Звуки постепенно замирали, как бы уносились вверх, рассеивались как дым кадильный. Наконец, последний аккорд - и всё стихло. Духовенство ушло в алтарь, паникадило потухло.

СПРАВКА

Вот она стоит пятиэтажка, украшенная мелкой, когда-то белой, а ныне серой плиточкой, как санпропускник Бутырок. Безрадостность этого дома подчёркивают гигантские с толстыми стволами тополя, закрывающие своими скороспелыми кронами все окна до пятого этажа. Под ними трава не растёт, сплошная глина, обнесенная металлическим заборчиком, выкрашенным в ядовитый зелёный цвет, и во многих местах уже поржавевшим. Мрак. Холод. Тоска. В первом подъезде всё время выламывается кодированный замок, чтобы легко можно было попасть под лестницу, где почти всегда людно, голоса подростков и переростков не смолкают, звенят бутылки и стаканы, завёртываются самокрутки из анаши и прочих пьянящих курительных смесей, под ногами хрустят раздавленные шприцы и осколки битой посуды. Все веселы, энергичны, азартны, но, в целом, ведут себя прилично: далее подлестничного закутка не растекаются, у подъезда не стоят, приходят и расходятся по одиночке. Из мрака проезда между железной дорогой и пятиэтажкой не догадаешься, что тут сидит компания. Кстати говоря, с другой стороны дома - тоже железнодорожное полотно.

И чего они в этом подъезде собираются?

А вот чего. В квартире слева, тут же, на первом этаже за ничем не примечательной железной дверью с глазком живёт Иванчик с семьёй. Раньше он с матерью жил в центре, у Кировской. Потом дом сломали, а им дали новую квартиру здесь. Так его зовут - Иванчик, хотя ему уже за семьдесят, и фамилия у него не «Иванов», а Соболев, и зовут его не «Иваном», а «Сергеем» с отчеством «Викторович». Это пошло с тех пор, как когда-то давным-давно Иванчик стал называть бутылку водки «Иванчиком», для конспирации. И даже не он ввёл в оборот «Иванчика», а покойная мать, называвшая водопроводчика «Болванчиком», а так как водопроводчика звали «Иваном», то

и произвела на свет мать «Иванчика-Болванчика». В общем, сплошная народная поэзия.

Потрудись Болванчик,
Вылезет Иванчик...

А почему "Викторович", а не "Иванович"? А просто так, взяла и записала, чтобы водопроводчика не выдавать. У того и так пятеро детей было и жена - уборщица в отделении милиции. Плешивый, худой, седой, облачённый в какую-то рабочую спецовку, Иванчик ходит два шага вперед, и десять назад. Так и хочется спросить, чего это он так ходит. Да он и не ответит. Потому что все время в незаконченном движении. Мозг у него так устроен. Одна половина мозга не соединена с другой. Вот и разберись тут!

У Иванчика всегда всё есть. Со всего района к нему тянутся алчущие, помятые, небритые, всякие. Спрашивается, куда смотрит милиция-полиция? Вопрос риторический. Туда же. Они такие же пьющие и едящие люди. И, спрашивается, для какой цели они будут прикрывать эту точку, которую нормальный человек днём с огнём не найдёт?! Ну, для какой? Вот то-то и оно.

Теперь выносят все по очереди - то жена с вываливающимися глазами старуха, то внук говорящий, то внук немой, то внучка с лицом грудного мальчика. Говорящий даже под лестницей посидит, поговорит, послушает, но сам - ни-ни!

Есть и правнук. От него. Как он только прижил от сортировщицы тряпья в палатке по сбору утильсырья? Правнук частенько плачет. Можно ли понять переживания человека, если он не рассказывает о своих переживаниях? Обливается слезами, вздрагивает, размахивает руками, издает всхлипывающие звуки, и не объясняет, что с ним. Понять нельзя. Иванчик же пытается понять своего правнука. Предлагает ему то одно, то другое. Наконец, вздыхая, извлекает из буфета бутылочку, на которую надета резиновая соска. Правнук успокаивается, и сосёт подсахаренную водичку. Молоко не переносит.

Отматываем плёнку на пятьдесят лет назад.

Что мы видим?

Про Иванчика все во дворе говорят: «Тунеядец».

А потом зашел участковый, сказал, чтобы принёс справку с работы, иначе под указ попадёт. Хрущёв сказал, что всех тунеядцев пересажает.

Иванчик хочет пошевелить горящий уголь длинной кочергой, но едва притронувшись обгорелым металлом к светящемуся изнутри углю, отводит руку и бросает кочергу на железный пол у печки. Садится на ящик, смотрит в угол. Витька спит на топчане, пьяный. Иванчик в рот не берёт, и не курит даже. Это он Витьке пузырь из дому принёс. Витьке что, он признан больным, и сразу в кочегарку устроился. Иванчик только присел, как тут же вскакивает, как будто что-то вспомнил, делает два шага к двери, но останавливается. Стоит очень краткий миг, даже одна нога ещё занесена для следующего шага. Разворачивается, нагибается к кочерге, приоткрывает железную дверцу, вновь стараясь пошевелить уголь, но в этот миг даже не притрагивается кочергой до пылающих камней. Бросает кочергу на металл пола. Ему нравится металлический звук. Мутные бесцветные глаза увлажняются. На лбу заметны капельки пота, переливающиеся всеми оттенками огня.

С тяжелой челюстью Иванчик через марлю хочет разгладить брюки. Утюг греется на газу. Брюки не простые, а с зеркальным отливом, писком моды 1964 года. Но, только подняв утюг, тут же ставит его на подставку.

- Сынулька! - зовет мать из-за занавески. - Сбегай в магазин, прикупи...

Иванчик заходит за занавеску.

Он с матерью живет в старом двухэтажном домике в Костянском переулке, на первом этаже, даже в полуподвале, потому что окна первого этажа углубились в землю за сто лет стояния этого домика. Раньше тут была дворничья, но как с 1957 года мать стала работать дворничихой, то и прижилась тут, и

Иванчика тут прижила с водопроводчиком. Как-то само собой ей поставили двухконфорочную газовую плиту, приделали возле раковину с краном холодной воды, а возле входной двери в углу установили унитаз, который огородили фанерными стенками, и дверцу фанерную навесили. Так что это помещение с годами превратилось в отдельную квартиру.

- Только на Кировскую не ходи, я там третьего дня брала. Сбегай на Сретенку...

- Ладно. Сколько брать-то?

- Двенадцать бутылок... Под субботу хорошо после одиннадцати пойдет...

Иванчик вернулся к уюту, чтобы закончить глажение брюк.

- Уж иди, сама я тут...

Он пошел, но в дверях остановился.

- А деньги? - спросил он.

- Так у тебя ж остались...

Иванчик покопался в карманах. Деньги были во всех.

- Ладно, сказал он, и пошёл.

Но снова остановился. Сделал два шага назад.

Мать доглаживала брюки. Кудрявая седина матери напоминала ком снега.

Иванчик снова пошёл к двери. Мать знала, что это он для разгону туда-сюда ходит. Привыкла.

Иногда он все же идёт одним направлением, без инверсии, но тоже как-то странно. Сделает несколько шагов и вдруг резко останавливается. Сдвигает обе ноги, как по стойке смирно, смотрит на носки ботинок, улыбается, и не шевелится так целую минуту. А это очень много. Тот, кто думает, что одна минута, это пустяк. Нет не пустяк. Попробуйте в метро на платформе так застыть на целую минуту. И главное - в проходе. Когда народ бурлит рекой. Собьют. Ан нет. Иванчик стоит, и не знает, зачем и почему он стоит. Но стоит. Если бы он знал, зачем он вообще ходит, то это был бы большой сдвиг в его психике. Нет, он нормальный. Болезней не выявлено. Но остановится и

стоит. Хорошо, что после стояния не бежит назад. Хотя, случается, что бежит.

С виду он - ничего, даже симпатичный, но нос у него слишком длинный и узкий, горбатый. В профиль - эдакий беркут. А характером незлобивый. Если вообще у него есть характер.

Очередь в винном отделе не очень большая, но постоянно и ритмично пополняется по мере ухода купивших. Иванчик молча встает в конец очереди за гражданином в шляпе. И сразу делает два шага назад, образуя перед собой значительное пространство, в которое тут же встает вошедший военный. Иванчик делает шаг вперед к спине военного. Постояв так долю секунды, посмотрев на носки своих ботинок, отходит спиной назад на несколько шагов. Этого его движения достаточно для того, чтобы двое молодых людей с портфелями, должно быть студентов, встали перед ним за военным. Иванчик даже не хочет вдумываться в то, что происходит. Наконец, когда в очередной люфт втискивается полная женщина, военный оборачивается и говорит, кивая на Иванчика:

- Он же за мной стоит.

Иванчик тут медленно соображает, что делать, и смущенно занимает очередь за военным. Когда же он вновь пытается попытаться, то студенты преграждают ему путь. Так Иванчик, стиснутый в очереди, доходит до прилавка.

И так в каждом магазине, потому что в одном столько бутылок, сколько просила мать, в одни руки не дают.

Обратно с полными сумками водки пошел через Малый Головин переулок. Правда, когда только вошел в него, так напугался от невиданного грохота, что застыл на месте. Впрочем, застыть для Иванчика новостью не было. Неожиданностью стало то, что вместе с грохотом ему на голову вылили ведро холодной воды. Так ему показалось. Но это на Москву налетела гроза с ливнем. Иванчику надо было в первую попавшуюся подворотню нырнуть, но он сначала влево три шага сделал, затем шагов пять, и довольно энергичных, вправо. В минуту он стал походить на человека, только что пытавшегося утопиться.

Смотрит по сторонам и ничего не видит. Ливень так же моментально прекратился, как и начался. Даже отблеск солнечных лучей от окон ударил в глаза Иванчику. Он с некоторой внезапно появившейся энергией уверенности двинулся вперёд, но сразу затормозил перед огромной луже. Он было хотел форсировать её с ходу, но задумался, и понял что он промокнет, забыв, что он уже промок. Сначала он нацелился обходить лужу слева, по узкому тротуарчику, хотя вода была и на этом углубленном месте переулка, потом принял решение, но не окончательно, обойти лужу справа. Пальцы стали ныть от сумок в обеих руках с бутылками водки.

- Чего ты тут прицеливаешься! - с искрящейся весёлостью крикнул ему человек в трусах и босиком. - Иди за мной, тут не глубоко.

И человек пошел по луже, не утопая в ней, ступни его белые шагали уверенно по поверхности лужи, как по паркету.

Иванчик несмело сделал шаг, другой, третий, восьмой, и тоже, как босой, не тонул в луже, а шёл как по стеклу.

Вскоре у Иванчика появился сын. Сначала он, разумеется, сошелся с медсестрой, соседкой по Костянскому. Она была чрезвычайно худа и лишена всяких девичьих черт. К тому же глаза у неё были не то что навывкате, а как бы висели отдельно от лица, как новогодние ёлочные серебристые шарики. Конечно, глаза у неё не серебрились, но были близки к этому, когда увлажнённые поблескивали. А когда жена ела, то казалось, что глаза сейчас, как два стеклянных шарика, упадут в тарелку с кислыми щами. Она очень любила варить щи с говяжьей сахарной костью из квашеной капусты. Иванчику очень понравилось жить с женой. Входить и возвращаться - было делом неимоверно приятным. Мальчик оказался вылитой копией Иванчика, и, когда вырос, стал ходить, как и отец, два шага вперёд, три назад. Тут и новая квартира у железных дорог подросла, так как дом в Костянском переулке подготовили к сносу.

В общем, дальше дело было так.

Иванчик с Витькой-кочегаром идёт к Жеке, цыганистому парню лет тридцати. Тот нигде не работает, нигде не учится, школу бросил после седьмого класса, а сообразительный.

У Жеки сидит белобрысый полноватый паренек с гитарой, поёт какие-то не известные Иванчику песни. Пришли не с пустыми руками. Две бутылки вермута и бутылку водки поставили на клеёнку кухонного стола. Иванчик, не отрывая глаз, следит за пальцами гитариста, и поражается, как тот ловко ими перебирает, и как другой рукой делает зажимы струн. Песня-то пустяковая, а играет на гитаре парень лихо. Иванчик даже рот открыл от удивления. Вот бы ему самому научиться так шарашить на гитаре!

Жека варит два яйца, хотя нужно одно, для верности. Варит часа два, добавляя в ковшик из кипящего чайника. Сварившиеся яйца обдаёт холодной водой, чтобы лучше чистились. Пока яйца варились, Витька-кочегар с Жекой выпили первую бутылку вермута. К водке пока не подступались. Это Иванчик поставил за отмазку. У Жеки заготовлены бланки справок. Почерк у него был, как у штабного писаря. А рядом лежала настоящая справка с круглой фиолетовой печатью. Жека прижал влажное яйцо тупой стороной к ней, а когда поднял, то на белом теле яйца идеально скопировалась печать, которую он тут же без промедления приложил к справке для Иванчика - Соболева Сергея Викторовича, «слесаря автобазы промстройматериалов».

- Ну, ты даёшь, как в аптеке! - восхитился Иванчик идеальностью «полиграфического» производства Жеки.

Витька-кочегар зубами сорвал пластмассовую пробку со второй бутылки вермута.

КЛИП

Я жму на кнопки пульта, лежа на диване с котом. Канал за каналом. Мелькают зубы, животы, стиральные машины, айпеды и айфоны, призывы «надёжных» банков, чтобы все несли деньги им. Безвозвратно. И что вы думаете, несут! Не перевелись на Руси доверчивые люди! И всюду поют растрёпанные девицы под электрический грохот барабанных струн. Ни на одном канале я не задерживаюсь, и вообще, можно сказать, не смотрю телевизор, но почему-то на одной поющей девице я притормозил.

Поёт какая-то Прозерпина. Её руки в черных перчатках без пальцев лежат на белом рулевом колесе. Она рулит, жмёт на педали в туфлях с невероятной шпилькой каблука (как ей только удаётся выгибать ступню!) и при всём при этом сексуальный красный рот её поёт:

«Я в темноте расслышал шелест крыл. Постоянные устройства предназначаются для временных жителей, но, однако, некоторые из которых всегда стремятся постоянное сделать временным, а временное постоянным. Построй себе небесный саркофаг! Иначе как понять временщиков при чиновничьих портфелях, переломавших весь центр Москвы для своих стеклянных временных дворцов? Скрипят часы вращения Земли. Все временщики мыслят временно, то есть не мыслят вовсе. Цифирь глаголет разуму зело. С другой стороны, из ничего ничто не возрастает, поэтому временное ничто есть видимость, которая смывается дождём с окна вечности. Я вместо цифр поставил буквы здесь. Я знаю ритм вращения светил».

Удивляюсь, откуда она знает мою ритмизированную, и даже иногда рифмованную прозу?

Да в этом клипе всё идет в рифму. Кроме езды. А рот поёт. С Прозерпиной в машине ещё пара подружек в шортиках, обтягивающих сладкие бедра, которые простой слесарь в автосер-

висе назвал «ляжками». Они катятся по Третьему кольцу, при лунном свете и множестве машин. Москва теперь катится и по ночам.

Прозерпина поёт следующую песню:

«Из туннеля в туннель в потоках летящих машин, чтобы серый ноябрь стал цветным, как апрель. На Тверской толкотня, как днём. «Нам бы, нам бы, нам бы - всем на дно! Там бы, там бы, там бы пить вино...» Вот когда-то советский «Москвич»-завод, вопреки бичам идеологий, золотится рекламой «Рено». Декабристы, двенадцатый год. Всех, кто дышит прогрессом - в кандалы и в Нерчинск. Кибернетика - лженаука - опутала беспроводными сетями каждую советскую семью. Москва, как Нью-Йорк, не затихает ночью, живёт той жизнью, за которую сажали в тюрьму за тлетворное влияние запада. Лапти, балайки, иконы. Нет лучшего настроения в вечернем возвращении по светящимся после дождя ночным улицам».

На Прозерпине красная куртка и такая же красная бейсболка. Разглядываю сидящую рядом с ней на переднем сиденье соседку, и та тоже в красной куртке, да и на заднем сиденье две девушки одеты в точно такие же куртки, как будто они члены одной какой-нибудь команды.

Моя песня в исполнении Прозерпины мне нравится. Песня яркая.

Она поёт то тихо, то громко и с хрипотцой. Я блаженствую с котом на диване.

И тут я понимаю, что все эти девушки - это одна и та же Прозерпина. Все четверо являют собой одну и ту же певицу. На экране появляется крупный план только её одной. Даже зрачок можно разглядеть в карей радужной оболочке. А само глазное яблоко белее белого. Она решила покататься по Третьему кольцу ночью. Сделать 140 километров, два раза промчаться в одну сторону, пару раз - в другую. Длина кольца - 35 километров, ширина - по четыре полосы в каждую сторону. От шоссе Энтузиастов до Рижской эстакады по самому длинному Лефортовскому тоннелю. По Сущёвскому валу от Шереметьев-

ской улицы до Ленинградского проспекта. И зазвенело сзади звонко Звенигородское шоссе.

Прозерпина изредка бросает взгляд на меня через зеркальце заднего вида, но видит не меня, а саму себя. Меня это сильно захватывает. И я понимаю, что она находится в очень хорошем настроении.

Больше всего мне нравится та Прозерпина, которая сидит на переднем пассажирском сиденье. Я бы с удовольствием познакомился с такой девушкой. Она абсолютно раскованна. Всё время смеётся. Жизнь праздник. И она его принимает таким, каков он есть.

Вдруг песня прекращается, и до меня доносится басовитый мужской голос:

- Я сорок лет в такси. Знаю Москву как свои пять пальцев. А до этого водил трамвай. После армии. Ни вправо, ни влево не свернешь. По рельсам туда-обратно...

Я обнаруживаю себя на заднем сиденье такси. В салоне темно, а за бортом разлитое море ночной Москвы.

Впереди справа замечаю четыре столкнувшихся автомобиля и стоящих возле них шоферов. Должно быть, ждут гаишника.

Таксист перехватывает мою мысль.

- Они тут четыре часа стоят. Я проезжал здесь. Возил людей на Южнопортовую с Курского вокзала. Пробка тут жуткая была. Ну, а эти лавировали, да не вылавировали, - произнёс таксист без запинки.

Помню, в юности в театральной студии я тренировал так свой речевой аппарат на этой скороговорке: «Тридцать три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали».

Летим через Автозаводский мост. Река золотится в огнях. Небо - в розоватых переливах. Набираю текст, и тут же выставляю в фейсбуке:

«Опять течет вода передо мной и сзади. Река, как провода. Вода - всеобщий ток. Вода ведёт туда, куда, как на параде, за взводом взвод всегда людей несёт поток. Река - любимой

речь. Река речёт бесшумно, меня стремясь увлечь в неслыш-
ный этот шум. Чтоб ласку уберечь, я верю неразумно в движе-
ние женских плеч, в прозрачный женский ум».

Прозерпина кокетливо пожимает плечами.

Крутится лента фейсбука.

Вижу, из Питера Бабушкин откликается: «Бальмонтствуе-
те...» Александр Бабушкин - поэт, который постоянно ищет
новые формы и которого я ценю высоко, так бальмонствует:
«Будет много разных слов. Будут проводы и встречи. Будут и
костры, и свечи. Будет много разных снов. Будет вечная лю-
бовь. Будет пыль и будет память. Будет искренняя зависть. Бу-
дет пролитая кровь. Будет всё, как сотни раз, как сейчас на
этом свете. Будут внуков нянчить дети. Будет всё. Не будет
нас».

- Я работал четыре года на одном и том же маршруте. На-
доело.

- На каком? - спросил я.

- На тридцать девятом...

- О, хорошо знаю, много раз ездил. От «Кировской» до уни-
верситета...

- Да. Бросил трамвай, - сказал шофёр. - Ушел в такси.

От бесчисленных огней Москвы на горизонте стояло заре-
во, на фоне которого чернели огромные трубы, называемые
градирнями, из которых величественно поднимался густой
светло-синий пар.

Прозерпина пела уже новую песню:

«Протяжен полдень, нескончаем день, и тени нет от верти-
кальных капель сплошного солнца. Гладь реки покойна. Ни от-
ражений нет, ни даже малой лодки. Сплошное небо в зеркале
воды. И ты идёшь по небу одиноко. Ты сам себе светило и ре-
ка, ты сам себе сплошная тишина, поскольку от себя ты сам
свободен. Тебя там нет, где тишина и свет, где остановлен бег
планет и лет. Там только буква вписана в судьбу. Я буквой с
небом молча говорю. Непрочно состояние души в тиши, когда
на свете ни души, и душен воздух, в зной перетекаем».

Ночью на улицах машины есть, но все равно ехать просторно. Широкое полотно асфальта кажется синим. Купол фиолетового неба с малиновыми подпалинками раскинулся от горизонта до горизонта. Понимаешь, глядя в окно такси, что Земля действительно круглая.

Эту мою мысль тут же подхватывает Прозерпина. Её звонкий голос звучит над всей светящейся ночной Москвой:

«Поменяешь вдох на выдох, и становится легко. Новый вдох, как новый день. Тень отбрасывают капли на оконном стекле. А через крупную каплю, прилипшую к стеклу, поучительно посмотреть на речной буксир: он становится огромным и искривленным, как кубики Пикассо. Вода как увеличительное стекло. В детстве мы были страстными уловителями солнечных лучей при помощи линз, которыми выжигали на досках очень сложные композиции. От дерева шёл приятный дымок. Стекло есть капля, преобразующая не только изображение, но и саму структуру материала, стремящегося стать водой, ибо всё на этом свете - вода. Шире - море. Для понимания этого не нужно пить море, достаточно попробовать каплю, чтобы понять, что оно солёное».

Певица неплохо умеет организовывать верлибр.

Лента фейсбука продолжает свой непрекращающийся бег.

Хорошо бы выпить, подумал я. А то голова кружится. Тут в ленте появляется грузинское вино саперави от по-детски впечатлительной писательницы Маргариты Прошиной:

«Праздник украшен чудесным букетом красного винограда, аромат которого навевает воспоминания о солнечной красавице Грузии. Душа моя поёт: «Какой лазурный небосвод сияет только над тобой, Тбилиси мой любимый и родной...». Изящная, как юная девушка в горном селении с кувшином на голове, стоит на моём праздничном столе бутылочка грузинского вина - «Саперави». Изумительный цвет любви, терпкий, почти забытый вкус «родного» вина - всё это пробудило воспоминания об искрящемся море, южном солнце и щедром гостеприимстве. Сколько же тепла человеческого я встречала в разных

уголках земли! Как хорошо люди понимают друг друга, когда не вмешиваются в их отношения неуёмные «организаторы» стран и народов! Я сегодня абсолютно счастлива, мне так хочется обнять как можно больше людей, согреть их и накормить!»

На экране возникает прилизанная голова в галстук за столом секретаря парткома. Ну, думаю, сейчас обсудят культуру! Прозерпина быстренько жмёт на газ. Голова заменяется детскими подгузниками, называемыми теперь памперсами. Кстати говоря, «гуз» - это зад, отсюда симпатичная птичка трясогузка.

При этом пояснении Прозерпина с намёками потирается на сиденье пышную гузкой, и выводит новую композицию:

«Стемнело. Фонари на аллее горят жиденько, а некоторые вообще не работают. Вступаешь во тьму, боишься споткнуться о неровно выложенную плитку. Впереди разлит желтый, как подсолнечное масло, свет от горящего фонаря. Остановливаясь в его луче, поднимаю голову. Вокруг светящейся лампы густыми тучками вьётся чёрная мошкара. Так и Москва притягивает к себе, как этот фонарь, миллионы людей, бешено вьющихся кольцами».

В ленте фейсбука мелькают картинки: от ПикАссо до банковской кассы.

В слове "Пикассо" я ударяю на "кассу".

В солнечном свете передо мной стояла великолепная со вкусом одетая женщина, но лица её я не видел, поскольку она находилась ко мне спиной. Но что-то дрогнуло во мне. Я посмотрел сначала на тень от захватывающих дух рельефов её фигуры, а потом с некоторой неловкостью уставился в даль улицы через её плечо. Женщина повернулась ко мне вполоборота. Её довольно привлекательный профиль в кадре моего взгляда упал на витрину библиотеки. Женщина уловила направление моего взгляда, и невольно обратила внимание на витрину, где среди множества книг выделялась картина маслом, на которой античные юноша и девушка слились в безум-

ном поцелуе. Синие, как небо, глаза женщины смущенно отвернулись, и стали медленно подниматься куда-то вверх, наверно, чтобы рассмотреть карнизы с лепниной верхних этажей. Но я успел перехватить этот смущенный взгляд, и мы встретились глазами.

Как правило, все люди, за редкими исключениями, одиночество расценивают как какую-то неизлечимую болезнь. Занятно, что у людей сердце ноет от одиночества. Или рассматривают одиночество как высокомерие, мол, все люди как люди, а этот делает вид, что ему никто не нужен. Тем самым как бы говорится, что человек живет не сам по себе, а только при условии непрерывного контакта с другими. Но, если вдуматься, то каждый без исключения человек что-то путное в жизни делает в одиночестве. Вагоновожатая ведет трамвай, электрик вкручивает лампочку, токарь вытачивает деталь, артист читает монолог, даже в хоре каждый поёт сам за себя. Исходя из этого, можно сделать заключение, что человек - это слияние одиночеств.

Прозерпина между тем продолжала свой концерт:

«Когда мы думаем о лете, за окнами стоит зима. Это всегда так. Вы наверняка знаете, что о том, что прошло, и о том, что будет, о том, что время бежит, а мы заглядываем вперёд, стараясь его обогнать, писали и Рильке, и Мандельштам, и Бодлер, и Аполлинер, и Тарковский, и Заболоцкий. То, чего нет, особенно привлекает не только поэтов, но и обычных людей. Ждём весну. Приходит она, и через неделю надоедает дождями, серостью, ветрами. Она пришла не такая, какую рисовалась в воображении. Мы убегаем мыслью в лето, откуда думаем о снеге - в круговороте вечном этом, в не прекращающемся беге».

Если знаешь полный объём своей жизни, то должен знать и её середину. Светила и звёзды движутся любовью. Ты находишься в центре круга, и всё вращается вокруг тебя.

Прозерпина заливается:

«Вор творит на поворотах ворда. Отворяет ворота. На дворе воркуют голуби. Из подворотни подглядывают воробыи.

Разворачиваются в марше товарищи. Стихи как ворованный воздух. Старуха на скамейке у подъезда ворожит. Ворона рядом бродит одиноко. Через воронку наливают самогон. Воротила бизнеса пересчитывает медяки, ворошит ушедшее богатство. Дед ворчит, что мало пожил».

Жаль, что так без спросу время-вор ворует, - писал я в юности.

Мы влетели на мой сияющий в огнях мост. В оформлении его над парашютом возвышается в начале подъёма огромный чёрный якорь. Такой же будет в конце. Машина парит, как самолёт, над широкой рекой.

- Я выйду у того якоря, - сказал я.

ФЛЕЙТА

Действие происходит на сцене.

Профессор консерватории. Себя представляем ангелами вечно живого искусства, ищем минуту и страсть для величия мысли, для возвышенной, сокровенной мудрости.

Флейтист (его ученик). Музыка слов, рождённых стремлением к запечатлению собственной души в вечности, ощущается нами теперь как истинная гармония возвышенного человека.

Профессор. Всё нас призывает переходить от молчания к записанному слову, к воскрешающему немую природу творческому словесному действию. Величие человека заключается в обеспечении постоянного образования на великих классических образцах. Он, пришедший из материнского лона животным, должен в совершенстве овладеть вершинами знания и полётом духа! Кто не знает величественного божественного гласа: превращать себя в буквы и быть бессмертным! Писать и быть всегда новым! Только записывающие свою душу наделены тем широким горизонтом мысли, которая необходима, дабы добавить свою яркую краску на холст вечности.

Пауза.

Флейтист. И именно в этом заключается великое предназначение человека.

В это время несколько рабочих сцены вынесли длинный рулон прозрачной плёнки, положили его на пол возле Профессора и Флейтиста, находящихся на авансцене, и стали раскатывать его к заднику, у которого одновременно с этим опустился штанкет, к которому прикрепили дальний край пленки. Штанкет медленно пошел вверх. Вместе с этим общий свет на сце-

не стал гаснуть, а софты с синими фильтрами с колосников осветили пленку, которую рабочие принялись покачивать. И море, заиграв поблескивающими волнами, казалось, сейчас прольётся в зрительный зал. В правом верхнем углу показалось изображение маленького белого домика, похожего на парус. А из левого угла, плавно паря, опустилась девочка в белой тунике.

Раздались бурные аплодисменты.

Профессор (глядя на море). Да, в пене волн скрывается любовь. И светлый завиток над таинством рожденья. Со снегом падающим слышу флейту. Она звенит как тоненький ледок. Кто там купается в море, играя на флейте? Кто на пляже читает старинную книгу? Домик стоит на горе. Очень маленький беленький домик. Кажется снизу, что это распахнутый парус.

Флейтист. Парус как древняя пирамида.

Профессор. В этом сравнении дышит ритмичная стройка. Все человеческие инженерные приспособления, все строительные усилия под сладкие звуки флейтистов, которые звуками музыки создавали жилища для душ; рифмованной кладкой плели городов паутину - и каждая строчка веков росла как медлительный улей, такой симметрично простой, но вместе с тем непостижимый. Из хаоса тьмы чёрных тел был выращен северный лотос, белеющий сном человек, построивший в камне Европу. Какая надёжность, какая гармония являлась среди тончайших нитей паутины, стянувших тела под звучание флейты!

Флейтист. Седовласый профессор на пляже читает «Китайскую флейту» (Песнь о земле).

Профессор (декламирует).

В капельке росы
Светится цветок.
Вечности часы
Смотрят на восток.

Флейтист. В капельке восток... Замечательно!

Профессор. Из капельки - тело... На первый взгляд всё кажется обычным. Есть окна, есть дверь. Но, оглянувшись, я заметил, что дверь нарисована, и окна какие-то не такие. Когда перед домом стояла женщина в косынке и с тележкой, я дома не видел. Но как только женщина тяжело покатила свою тележку, я увидел дом. Я всего лишь шёл мимо по улице, не видя дома, а глядя на эту пожилую женщину с тележкой, которых очень много появилось в Москве. Они катят свои тележки в продуктовые магазины и на рынки, и покупают сразу много разных круп и овощей. Здесь я поймал себя на том, что второй план почти всегда ускользает от взгляда. Когда женщина ушла, я подошел к двери, чтобы убедиться, что она нарисована, как это делается теперь повсеместно на задрапированных домах, подготовленных то ли к сносу, то ли к реставрации. Но, что удивительно, дверь в это мгновение ожила, отворилась наружу, и из двери вышла в сопровождении медперсонала в белых халатах счастливая молодая женщина, держа на руках запелёнатого ребенка. Я встряхнул головой, и прочитал табличку, которую до этого не заметил: «Родильный дом».

Флейтист. Девочка в белой тунике, как античная красавица, прогуливается неподалёку. Профессор отстраняется от чтения и замечает устремленный на его плавки воспалённый взгляд девочки. Он кладёт книгу на место взгляда, после чего девочка смущенно опускает глаза.

Профессор: Посмотрите, с этой девочкой светлой явилась на свет прелесть ноты. В ней отчетливо видится сущность грядущих рождений: юный отблеск того, что ещё не явилось пред взором, но заложено в пьесе моих неземных ожиданий. То, что помнил, ушло, но с надеждой рождается снова, воплощаясь в известный, но новый фрагмент повторений; эти вспышки созданий, которые ты наблюдаешь, флейта вечности к жизни какой-то иной призывает. Посмотри, что, когда ты играешь на флейте, я в иные миры улетаю в своих сновиденьях, отдаваясь всецело чудесному брачному гимну.

Пауза.

Флейтист. Звуки флейты идут из глубин потрясенного сердца.

Профессор (прикрыв глаза, представляя вслух такую картину). Девочка идет по авансцене в переливающихся огнях рампы, в отсвете морских волн, от одной кулисы к противоположной. Ей кажется, что она вот-вот приблизится к белому парусу, когда слышит громкий шум и плеск. Флейтист выходит из моря. Девочка останавливается и смотрит на флейту в его руках. Как можно купаться с флейтой? Можно. Я с ней никогда не расстанусь.

Флейтист. Я извлекаю из флейты птичьего голоса, и начинаю ходить за девочкой. Та парусом проплывает перед зрительным залом туда и обратно. Я подношу флейту к губам, играю из Густава Малера. На фоне моря возникает лес с пением птиц.

Профессор (декламирует). На поверхности зеркальной - павильон, и мост, и люди в отражении чудесном: перевернута картина в павильоне из фарфора цвета снега и травы. Мост стоит как полумесяц - вниз дугой. Друзья неспешно пьют вино, ведут беседу.

Флейтист. Я зазываю мелодией девочку в море. Она говорит мне, что без купальника, но я советую купаться без всего, ведь на сцене никого нет, кроме меня, её и Профессора.

Профессор (повторяет как бы про себя). Перевернута картина в павильоне из фарфора... Течение жизни можно назвать сумбурным, а можно - хаотичным, а еще это течение бывает противоречивым, воинственным, хищническим. Но почти никогда - добрым. Здесь возможны добавки на любой вкус и интерес. Но течение это поддерживается вечным рождением, и вечной смертью. Если это представить евангелически, то один лежит в хлеву беспомощный, новенький, а другой встает из гроба по мановению того, кто не умирает. Всеобщий метаболизм. Одна волна идет на берег, а другая уходит быстро под ней в море.

Пауза.

Флейтист. Я вижу, что девочка мучительно сомневается, прилично ли ей голышом купаться передо мной.

Профессор. Это почти весна...

Флейтист. Весна мне в юности казалась началом новой поэмы жизни, как будто всё предшествующее обрывалось, и наступал момент невиданного восторга, когда на самом деле я говорил стихами. Новое дыхание весны, как криком паровоза, оглушало меня. Хотя не только меня одного. Весна ассоциировалась с гитарными песнями ребят из соседнего двора. Улица пахла талым ледком и женскими духами. То, что движется, и то, что еще будет. Весна. Она едет, но не подъехала. В этом движении скрывалось ожидание какого-то невиданного праздника.

Профессор. И на этом празднике, опьяненная стихами, девочка грациозно снимает через голову тонкую белую тунику.

Пауза.

Флейтист. Я интересуюсь у девочки, сколько ей лет. Она отвечает, что двенадцать.

Профессор (думает вслух). Надо же, моей дочери столько же!

Флейтист. Какая у неё пронзительно снежная кожа!

Профессор (как бы про себя шепчет). Воображение превратило на минуту девочку в мою дочь.

Флейтист. Нужно быть очень талантливым, чтобы представить такую прелестную девочку. А кругом какие-то бездари. Не замечают красоту.

Профессор. Это верно сказано. Убогий взгляд порождает убожество. Ну, например, люди постоянно угнетают себя понижением своих способностей и возможностей, принижением самих себя, говоря, что они не талантливые, вообще бездарные, что и улица, на которой они живут, им порядком осточер-

тела бездарным рядом однообразных пятиэтажек... А тут такая изумительная девочка, спустившаяся с небес, или рожденная моркой пеной...

Флейтист. Я родился в коммуналке на Калитниковской улице. Любил играть на флейте в длинном коридоре. Слышите? Звук донёлся до конца коридора и перелетел через открытую форточку на улицу...

Профессор. Отчётливо слышу с улицы, проходя к кладбищу. У меня там мать похоронена.

Флейтист. Я сказал девочке, что она очень симпатичная. От этого она не на шутку возбудилась. Видимо, оттого, что я вижу её грудь и завиток локона при входе в тайну.

Профессор (громко в зрительный зал). Девочка вдруг раскрепостилась, как раскрепощаются люди, когда принимают окончательное решение, совсем перестала сомневаться в том, хорошо ли показывать обнажённую грудь и тайный завиток Флейтисту.

Флейтист. Я с улыбкой непосредственности рассматриваю её небольшие груди и завиток у края пропасти. Как мне нравится этот светлый завиток у входа в вечность! Девочка, смеясь, посмотрела на собственное тело, и сцепила руки над низом живота.

Профессор. Когда она с нескрываемым любопытством посмотрела на плавки Флейтиста, то заметила там стремительно увеличивающуюся выпуклость.

Флейтист. Девочка без какой-либо видимой робости подошла ко мне вплотную, присела на корточки у моих ног и с завидным изяществом стянула с меня плавки до колен, чтобы я был первозданным, как она, и моя флейта закачалась у нее перед глазами.

Пауза.

Профессор. Как же ей хватило смелости?

Флейтист. Я и сам удивлён.

флейта

Профессор. Тайное стало явным.

Флейтист. Явное станет тайным.

Профессор. Девочка нервно захихикала, впервые увидев величественную флейту мужчины. Девочка слышала уже не раз, что мужчины имеют такой необыкновенный инструмент.

Флейтист. Девочка недоуменно спрашивает у меня: «А почему она такая большая и твердая?»

Профессор. Потому что Господь всегда твёрд и огромен!

Флейтист. Девочка явно растеряна.

Профессор. И весь народ растерян пред явлением Христа.

Флейтист. Всё в этом мире создано по образу и подобию.

Профессор. Непостижима величественная музыка сфер... На всём лежит покрывало тайны. И на этой большой и твёрдой флейте.

Флейтист. О, да!

Профессор. Флейтист рассмеялся, сказав: «Она такая, чтобы девочкам, подобным тебе, с ней приятнее было играть, и чтобы она доставляла тебе ни с чем несравнимое наслаждение».

Флейтист. Девочка наивно переспросила: «Играть?»

Профессор (к зрительному залу громко). Ну да, все прелестные девочки невольно становятся очаровательными женщинами, как только овладевают этим божественным инструментом.

Флейтист. Это абсолютно так. Обнаженное женское тело всецело повелевает флейтой. И в этом ничего не изменишь.

Профессор. Когда Флейтист увидел эту миленькую девочку, казалось, что взгляд его полыхнул огнём. Это и понятно, поскольку девочка изящно покружилась перед ним, как античная танцовщица, а затем легла на горячий песок животом вниз. Преодолев смущение, Флейтист склонился над ней и с нежной осторожностью погладил её по ягодицам.

Пауза.

Флейтист. Я увидел вдруг себя дремлющим новорожденным сыном на обнаженной материнской груди.

Профессор. Увидеть на груди - ещё полдела. Вот лицезреть своё явление из чрева - это да!

Флейтист. Всё устройство женское известно. Но почему охватывает трепет перед новой?!

Профессор. Так намечено при сотворении человека; в этом ты преуспел, и со всей определенностью понимаешь, что жизнь перемальвает всё, ничего не отвергая. Она владеет бесчисленным арсеналом средств, только бы не прекратилась её чудодейственная работа по превращению дерева в камень, огня в снег, пену волн в девушку...

Флейтист. Вновь из волны рождается Венера...

Профессор (декламирует).

Вечности часы
Смотрят на восток.
В капельке росы
Светится цветок.

Флейтист. Стало быть, всё исполняется самой жизнью по давно написанной пьесе?

Профессор. О, да! И это чудесное превращение совершается постоянно и бесконечно, и я перевоплотился из небытия в бытие неукротимой силой вечного двигателя, я превращён в то, что я представляю из себя на самом деле в эту минуту, в то, что позволяет мне перевоплотиться в другого человека, дабы я существовал вечно!

Флейтист. И эта девочка, возникшая из волн морских под звуки флейты, есть всего лишь мысль, выраженная словом, и превращенная в образ, уносящийся над гладью переливающегося позолоченной лазурью моря к горизонту, где маячит маленький черный силуэт сторожевого эсминца.

Пауза.

Профессор. Мы все уходим в сияющих лучах музыки в непостижимую бесконечность. Так и девочка неотвратимо превра-

флейта

тилась в мысль - иначе говоря, воплотилась в то, что пожелала жизнь, чьим стала она голосом, потому что житвородящая, томительная, непостижимая музыка жизни, которая её в мгновение ока создала, опять зовёт к преобразению, и девочка, вся поглощенная страстно звучащей флейтой, подчинившись своей женской сущности, вновь стала мыслью, которая рождается только в сказанных нами словах.

Флейтист. Если нет слов, то и мысли нет?

Профессор. Нет!

Рабочие выносят на сцену длинную лестницу-стремянку. Устанавливают её. Вершина лестницы скрывается в колосниках. Первым поднимается по ней Профессор.

Профессор. Слава слова - в лестнице мысли. *(Исчезает в небе.)*

Флейтист (поднимаясь по лестнице). Пора и мне слиться с вечностью, стать пылинкой космоса.

Издалека доносятся звуки симфонического оркестра, вступают скрипки, затем виолончели. Неторопливо льётся умная музыка. Пауза. И после замирания, в тишине, - вступает флейта.

Занавес.

РОЗЫ

День выдался какой-то весь тёмный, пасмурный. Гальперина немного гуляла во дворе, сидела на скамейке, затем вернулась и протерла в комнате оба окна от пыли. Нина сегодня не приезжала, по телефону сказала, что привезёт «боржоми». Давление даёт себя знать каждый день. На ночь она читала Тургенева: «Поднявшийся ветер мешал и застилал все звуки...»

Она давно заметила, что желудок у неё работает плохо-то, даже ночами часто не даёт покоя, приходится вставать. Вот и сегодня вставала. Потом довольно долго не могла уснуть, потому что у соседей всю ночь звучали голоса. Днём была Нина, привезла хлеба, капусты, моркови и поливитаминов. Сварила немного картошки и отрезала докторской колбасы примерно 100 грамм. Гальперина её съела с картошкой, вечером ела рисовую кашу. Читала Тургенева: «В тени высокой липы, на берегу Москвы-реки, недалеко от Кунцева, в один из самых жарких летних дней 1853 года лежали на траве два молодых человека...»

Она родилась ещё при Тургеневе. Ей было три года, когда Тургенева привезли из Парижа и похоронили на Волковом кладбище. И что такое годы? Что значат все эти столетия? Как краток путь человека и как длинен! Окна её комнаты на первом этаже выходили в переулок. Она садилась в кресло и смотрела на прохожих. Их было немного. Но всё же они были. По переулкам ходят ведь только москвичи. И вот она увидела в цилиндре бородатого улыбающегося Тургенева, а следом шла она сама за ручку с няней. Годы жизни её сжались в маленькую, едва различимую точку в окне на той стороне. Гальперина вгляделась. Там тоже, как и она, какая-то древняя старуха смотрела на улицу.

Сегодня Нина приехала с бульоном и лапой курицы. Нина была в мокром пальто. На улице шёл дождь, а она забыла взять

зонт. Бульон был очень жирный, но Нина его процедила, так что жир значительно убавился. Вечером вычистила помойное ведро, раковину и плиту. Они были запущены. Очередь уборки Гальпериной. Она очень устала и к вечеру ей нездоровилось. Читала Тургенева: «Вдали, за рекой, до небосклона все сверкало, все горело; изредка пробегал там ветерок и дробил и усиливал сверкание; лучистый пар колебался над землей...»

Завтра Гальпериной исполняется 90 лет. Вечером, кто жив, зайдут поздравить и посидеть за столом. Нина с утра была занята подготовкой, то есть покупкой продуктов. Ей удалось купить всё, что необходимо для салата, затем она купила сардин, колбасы, сыру, ветчины, тёртой селедки, яблок, кагоры и водки. Вечером хорошо посидели. К 6 часам стол был накрыт. Согласно договоренности, пришли Горшкова, Васильева и Елена Исаковна Шварцберг с букетом роз. Гальпериной не пришлось занимать гостей. Они сами оживлённо беседовали. Гальперина говорила очень мало и больше слушала. И всё-таки к 11 ч. 30 м. утомилась: сказываются годики. Нина и Горшкова быстро вымыли посуду. Когда все разошлись, Гальперина немного посидела, глядя в тёмное окно, затем погасила верхний свет, легла, включила ночник над головой и читала Тургенева: «...теплый ветерок шевелил и поднимал их листья, качал головки цветов...»

От погоды Гальперина зависела, но не настолько, чтобы при солнышке утреннем расплываться в улыбке, а при дожде и морозе впадать в затаянное уныние. Но чему она неизменно удивлялась при пробуждении, так это неугасаемости своей жизни. Уже в 50 лет она удивлялась, что продолжает просыпаться каждое утро в целостности и невредимости. Ну, а ныне всё это постоянное пробуждение превратилось в бесконечную цепь сна и бодрствования, как будто кто-то другой тянул эту цепь жизни за неё. Гальперина не прилагала никаких усилий, чтобы жить. Всё совершалось само по себе.

Сегодня Гальперина встала поздно, в 11 часов дня. Два раза выходила гулять. Весь день чувствовала усталость от вче-

рашной вечеринки. Нина была на работе, а затем приехала к себе домой и ждала мастера по ремонту телевизора. Увы, он не пришел. Таким образом, телевизор у Нины бездействует уже значительное время. Вчера Гальперина заметила, что Елена Исааковна имела утомлённый вид. По-видимому, она устаёт от работы, но Гальперина никогда не слыхала, чтобы она жаловалась на усиленную работу. Наоборот, она склонна к шутке и смеху. Сейчас 22 ч. 25 мин. Гальперина хотела было вынести помойку, но на дворе лужи, идёт дождь. Вчерашние недоеденные сардинки дала коту, он с удовольствием съел. Перед сном читала Тургенева: «Солнце уже высоко стояло на безоблачной лазури, когда экипажи подкатили к развалинам Царицынского замка, мрачным и грозным даже в полдень...»

Гололедица. Но даже в такую дурную погоду Гальпериной совсем тоскливо сидеть без движения. Она выходила погулять во двор, передвигалась очень осторожно - всё время боялась упасть, а руки и ноги от напряжения дрожали. Нина купила 2 пакета картошки и кое-каких медикаментов. У Гальпериной целый день болело под ложечкой и в левом боку. Ест мало: кашу геркулесовую, картошку и яйцо. Эта боль её беспокоит. Читала Тургенева: «Ночь уже наступила, светлая, мягкая ночь...»

Слегка подморозило и шел пушистый снежок. Гальперина выходила побродить на воздухе, сидела около остановки троллейбуса, наблюдала публику - она однообразна. Да, когда Гальперина вышла из своих ворот в переулок, то заметила худенькую девушку в чёрной шляпке и в черном пальто. Гальперина бы прошла себе мимо, но во взгляде девушки было что-то из далёкого прошлого. Гальперина постояла. Девушка с поднятым личиком следила улыбчивым с грустью взглядом за мерно падающими снежинками. И всего-то! После работы приехала Нина, привезла батон и пару плавленых сырков. Гальперина читала Тургенева: «Солнце уже довольно высоко стояло на чистом небе; но поля еще блестели росой, из недавно проснувшихся долин веяло душистой свежестью, и в лесу, еще сыром и не шумном, весело распевали ранние птички...»

Вчера и сегодня довольно значительно выпавший снег быстро тает. Гальперина выходит погулять пока в осеннем пальто. У Нины никаких новостей. Сегодня она купила для Гальпериной кочанчик цветной капусты за 60 коп. А вчера Нина ходила в прачечную и принесла бельё. Гальперина немного гуляла по двору. Никаких впечатлений. Утром вынесла остатки хлеба, который предварительно смочила, чтобы было удобнее крошить воробьям. Все дни скверное самочувствие. Да ещё соседи постоянным шумом донимают. Очень любят говорить, стучать, а иногда и пилить. Постоянно что-то пилят. Но Гальперина молчит. Не делает им замечаний. Вот им и кажется, что Гальперина всем довольна и их не слышит. А сделай Гальперина им замечание, тогда известно, что будет. Промолчит, и всё сходит на нет, забывается, как будто не было. Сильное недомогание наступило к вечеру. Гальперина поставила 2 горчичника на затылок. Вчера испортился замок от почтового ящика. Гальперина никак не могла вытащить ключ. Но вдруг заработал, то есть ключ вынулся из замка, а то не вылезал. За утренним чаем Гальперина ела манную кашу и яйцо (белок). В пятницу Нина привезла ей кусок осетрины в бульоне и стаканчик чёрной икры. Гальперина вчера на всё это налегла - давно такое не ела. Но сегодня кушала с меньшим аппетитом. Очки плюс 2, которые Нина купила Гальпериной, не годятся: лучше плюс 3. Читала Тургенева: «Но вот тучка пронеслась, запорхал ветерок, изумрудом и золотом начала переливать трава... Прилипая друг к дружке, засквозили листья деревьев...»

Небольшой мороз. Гальперина гуляла в осеннем пальто около часу. Выходила в переулок и дошла до самого угла улицы Чернышевского. Гальперина всё думала, что её жизнь прошла - ей стукнуло 90 лет, что пирушка, возможно, была последней, ибо бессмысленно заглядывать в будущее: что будет, то и будет. А то можно совершенно развалить свою нервную систему. Вчера вечером Гальперина разбиралась в комодке, нашла старые карточки, долго рассматривала, кое-что вспоминала, на многих карточках людей не узнала, оста-

новленные лица смотрят на неё, а кто - не известно. Гальперина решила, что сегодня займётся платяным шкафом. Читала Тургенева: «Только по ровному и плоскому дну оврага, некогда затянутаю жирным илом, да по остаткам плотины можно было догадаться, что здесь был пруд. Тут же существовала усадьба. Она давным-давно исчезла. Две огромные сосны напоминали о ней; ветер вечно шумел и угрюмо гудел в их высокой, тощей зелени...»

Сегодня основательный мороз, примерно 12 градусов. Всё-таки Гальперина гуляла в зимнем пальто около часу. Зябнут, между прочим, ноги - юбка тонкая, она не греет. Надо было надеть пару чулок. По-видимому, морозы будут нарастать. Послезавтра Николин день. Обычно бывают никольские морозы. Прогулки у Гальпериной будут краткими, так как у неё быстро зябнут конечности рук и ног. У Гальпериной совершенно износилось покрывало на диване. Нина сделала новое, - это подарок. Старое покрывало «проработало» 20 лет, а новое столь прочно, что просуществует вдвое. На подушку покрывало Нина сошьёт на днях, есть материя такая же. Новое покрывало очень кстати. Вечером Гальперина читала Тургенева: «Весенний, светлый день клонился к вечеру; небольшие розовые тучки стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури...»

Все дни стоят морозы. Гальперина гуляла мало. Новостей никаких, кроме неважного самочувствия. Гипертония и гастрит. Читала Тургенева: «Солнце ярко освещало молодую траву на церковном дворе, пестрые платья и платки женщин...»

Сегодня заплачено за квартиру, телефон и газ. Нина сварила Гальпериной картошки и вермишели. На улице небольшой мороз. Но, в общем, зима на исходе. С крыш счищают снег. На улице Чернышевского мостовая и тротуары очищены от снега. Гальперина вспомнила, как Покровку так переименовали в январе 1940 года в память исполнившегося в 1939 году 50-летия со дня смерти публициста Н. Г. Чернышевского. Праздновали смерть. Гальперина усмехнулась. Некоторые люди,

прибывшие на этот свет, по их мнению навсегда, рассуждают на тему предсмертных мук. У них этих мук не будет, поскольку они никогда не умрут, они говорят о других. Гальперина подумала, что её предсмертные муки не страшат. Умирать вряд ли много страшнее, чем заснуть. Гальперина бывала под наркозом, и знает, что говорит. Но если говорить о самом состоянии небытия, тогда дело другое. Было время, когда мысль о смерти почти не давала Гальпериной жить. И иные люди кончали с собой исключительно из страха перед смертью: ведь страх перед состоянием смерти - вернее было бы назвать его антисостоянием - способен полностью завладеть человеком, как навязчивая идея шизофреником. Весь ужас в том, размышляла Гальперина, что природа не одарила нас таким вечным "я", которое сохранилось бы и за гробовым входом. Гальперина вполне понимала людей, которые цепляются за надежду как-то продлить свою жизнь в новом качестве, став, например, березой или собакой... Нет нужды верить в Бога, чтобы поддаться соблазну. Но тому, кто не может в это поверить, остается одно: привыкнуть к мысли, что конец неизбежен, хотя для этого необходима большая сила воли. Задача совсем не в том, чтобы упорно отгонять мысль о смерти всякий раз, как она появится у человека, а уж появится она непременно. Гальперина другое сказать хочет: всякий раз отгонять мысль о неизбежном конце - значит, лишь умножать грозную власть этой мысли и тем самым умножить своё бессилие. Наверно, это и есть тот редкий случай, когда полезно разбередить рану, не давая ей зажить. И глядишь, боль от этого поутихнет. Парадоксально? Гальперина так не считала. Ей, однако, гулять, опираясь на палку, не везде можно: скользко даже на её дворе. День пасмурный. Настроение кислое. Читала из Тургенева:

«Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною... но первый стих остался у меня в памяти:

Как хороши, как свежи были розы...

Теперь зима; мороз запушил стекла окон; в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол; а в голове всё звенит да звенит:

Как хороши, как свежи были розы...»

Она отложила книгу. И хотя Тургенев не называет автора стихотворения, Гальперина прекрасно знала его, и не просто знала, но и помнила наизусть. Она прикрыла глаза, и прекрасные строки потекли перед её глазами.

Иван Мятлев

Розы

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодную рукой!

Как я берег, как я лелеял младость
Моих цветов заветных, дорогих;
Казалось мне, в них расцветала радость,
Казалось мне, любовь дышала в них.

Но в мире мне явилась дева рая,
Прелестная, как ангел красоты,
Венка из роз искала молодая,
И я сорвал заветные цветы.

И мне в венке цветы еще казались
На радостном челе красивее, свежей,
Как хорошо, как мило соплетались
С душистою волной каштановых кудрей!

И заодно они цвели с девицей!
Среди подруг, среди плясок и пиров,
В венке из роз она была царицей,
Вокруг нее вились и радость и любовь.

В ее очах - веселье, жизни пламень;
Ей счастье долгое сулил, казалось, рок.
И где ж она?.. В погосте белый камень,
На камне - роз моих завянувший венк.

1834

День дождливый, в комнате темно. Вчера Гальперина немного гуляла во дворе. Днём была Нина, привезла 2 батона, кордиамин и корвалол. Жаловалась, что у них в квартире холодно. Гальперина перед сном читала Тургенева: «Всё кругом золотисто зеленело и лоснилось под тихим дыханием тёплого ветерка...»

День солнечный. Гальперина выходила гулять 2 раза. Нина сегодня не приезжала, поскольку у Гальпериной всё есть. Нина, было, купила ей десяток яиц, но Гальперина сказала, что у неё они есть. Столетие со дня рождения Ленина, всюду флаги. В Кремле во Дворце съездов съезд представителей компартий всех стран. Торжественные речи. Громадный доклад - 4 часа - тов. Брежнева. День солнечный. Гальперина немного гуляла. Нина сделала вермишель, кисель, а с собой привезла куриного бульона и кусок курицы. При таких ресурсах Гальперина пообедала хорошо. Конечно, всё должно быть в меру. Иногда Гальперина думает, что жизнь её проходила в такой же постепенной последовательности взросления, цветения и плодоношения, как и жизнь культурного растения, и чем идеальнее идёт такое постепенство жизни, тем богаче становится совокупная красота людей. А когда этого нет у человека, он смешивается с массой. Гальперина легла поздно, читала Тургенева: «Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра...»

К Пасхе Нина купила ей кулич, или кекс, затем десяток яиц, пять крашенных, и бутылку кагору. Некоторые дни была плохая погода, и Гальперина сидела дома. Она часто думает, что прошлое не вернешь и не исправишь, каждым человеком

вертят обстоятельства, все несчастны. Читала Тургенева: «Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцаая, обозначали ее течение...»

Сегодня по старому 1 мая. Солнечный, но нежаркий день. Гальперина немного посидела на скамейке во дворе. День солнечный прохладный. До завтрака вытряхивала «персидские ковры», вынесла помойку. Вскоре приехала Нина, привезла 2 батона, 2 коробочки поливитаминов, валидол. Читала Тургенева: «Луны не было на небе, но и без нее каждый предмет четко виднелся в полусветлом, бестенном сумраке...»

Солнечный день, иногда набегают тучки. Дождя не было. Нина привезла цветов - полевых и фиалки. В комнате вечером сильный запах. Днём у Гальпериной была ощутимая головная боль, ставила горчичники, принимала таблетки от головной боли и от давления. Гальпериной снятся сны, где она всегда без возраста. Ну, ей может быть и 5 лет, и 90, и 17 и так далее. Её жизнь дается так произвольно, что Гальперина поражается устройству своего мозга, который соединяет сцены без всякой паузы и перехода. А получается одной картиной. Будто бы Гальперина сидит в кинотеатре и всё это видит на экране. Но не просто видит, а сама всё делает, говорит, поёт, летает и, главное, переживает всею душою. Для чая Нина уделила Гальпериной кусок сладкого пирога.

Гальперина долго и внимательно своими почти выцветшими глазами рассматривала чашку. То так её повернет к свету, то эдак. И при каждом повороте ёкало сердце оттого, что из этой чашки, на которой с тыльной стороны стояла дата изготовления - 1867 - пила мама.

Часто Гальперина за собой замечает, бывают такие минуты, заторможенность взгляда. Видит голубя на дворе. Она сидит на скамейке у кирпичной стены. Смотрит на голубя. Голубь как голубь. Головкой покачивает. Что-то время от времени, покосив глазом, высматривает на асфальте и выклевывает. Мелкие пёрышки лиловые и серебристые переливаются.

ся, красные лапки вышагивают. И Гальперина всё это наблюдает. Приказывает себе отвести взгляд от голубя, а глаза словно к нему примагнитились. И картина с голубем то расплывается, становится совсем размытой, так что голубь в какое-то чернильное пятно превращается, то постепенно проявляется резкость, да такая чёткая, что малюсенький носик его только она и видит, укрупненный, во всю ширину взгляда. Гальперина даже глаза прикрывает, встряхивает головой, чтобы отвязаться, а не получается. Голубь её взгляд прилипший к нему водит.

Пасмурный холодный день. Гальперина надеялась, что во второй половине сентября погода будет лучше. Гальперина считала, что если часто думать о допущенных в жизни ошибках и о последствиях, то можно лишиться душевного равновесия. Надо уметь управлять своими мыслями, в частности, не погружаться в воспоминания, если они печальные.

Мать утонула, купаясь в Москве-реке, на даче в Серебряном бору, недалеко от Хорошевского конного завода, в 1909 году. Спустя два года отец вновь женился. Гальперина давно уже жила отдельно с мужем, в этом же доме, где теперь у неё одна комната в коммуналке, в том самом доме, который весь принадлежал мужу. В 1902 году у них родилась дочь. Отец, полковник, погиб у Мазурских болот в августе 1914 года, когда Гальпериной было уже 34 года. Муж был арестован в 1935 году и в 1937 году расстрелян.

Нина у Гальпериной училась с 8 по 10 класс, в 50-х годах, и прибилась к ней, как родня дочь. А родная дочь, которой скоро 70, живёт через два переулка и не признаёт мать.

На похоронах были Горшкова, Васильева и Елена Исааковна Шварцберг. Обо всём хлопотала Нина.

Красный сатин обивки гроба и белое покрывало превратили саму Гальперину в розу. Её лицо не просто помолодело, оно искрилось улыбкой, и даже губы едва заметно шевелились, читая:

юрий кувалдин

Игорь Северянин

КЛАССИЧЕСКИЕ РОЗЫ

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодной рукой!

1843 Мятлев

В те времена, когда роились грезы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!

Прошли лета, и всюду льются слезы...
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране...
Как хороши, как свежи были розы
Воспоминаний о минувшем дне!

Но дни идут - уже стихают грозы
Вернуться в дом Россия ищет троп...
Как хороши, как свежи будут розы
Моей страной мне брошенные в гроб!

1925

Осень, дождь и туман, в клочьях лиловых и чёрных неба горизонт...

СЕСТРА ЖЕНЫ

Дмитрий Алексеевич Костров, заметной упитанности, невысокий, с белой акуратной бородкой, просто сидел с книжкой, которую изредка листал, и курил на аллее, замощенной лилового отсвета брусчаткой. Вдруг сзади, из-за кустов, с параллельной дорожки услышал знакомый, малоприятный голос тещи. Ей отвечал другой голос. Костров обернулся, взгляделся в прорехи листвы, и разглядел двух старушек. Да, там присели две старушки. В музеях по углам дремотствуют такие старушки. Ручейком текут подобные старушки в поликлинику, чтобы изменить погоду, остановить вращенье земного шара, остановить мгновенье бессмертия. И заговорили. Вернее, пошли потоки слов то с одной стороны, то с другой. Обычно в таких ситуациях Костров поднимался и уходил. К тишине, к пению соловьев. Они его не раздражают. А эти...

- Надька...

- Ирка...

- Митька...

При своём имени Костров вздрогнул и похолодел. Впрочем, при оценке состояния больного в процессе лечения не требуется, в принципе, ничего, помимо диалога психиатра с больным.

- А она что?

- А он что?

- Тра-та-та...

- И-то-то...

И так до бесконечности. Причём, иногда говорили сразу обе. Подруга тещи была лет 80-ти. Не меньше. Грузная, седая, с лицом цвета взошедшего теста. Теща тоже была вся седая (что Кострову нравилось, поскольку она не скрывала своей старости), со впалыми, но сильно нарумяненными щеками, и подстриженная под мальчика, с кольцами золотистых больших колец в ушах.

Он, в общем-то, не удивился появлению тещи в парке. Сам ей неоднократно советовал гулять здесь, ибо жила теща почти рядом, в начале Шипиловской улицы, а сам Костров работал на «Каширке», а жил прямо у метро «Орехово».

Сначала Костров не вслушивался в разговор. Потому что уже готов был встать и уйти к белой беседке, которую он приметил. Но хотел дожидаться, когда же вместо «Надьки», его имени - «Митьки», и «Ирки», они назовут известных ему персонажей если не «Надеждой», то хотя бы «Надей», если не «Дмитрием», то хотя бы «Митей» и, если не «Ириной», то хотя бы «Ирой».

Вот если бы Костров в темноте слышал разговор этих старух, то подумал бы, что это говорят молодые женщины, а голоса у старух были молодые, которые только так небрежно и называют друг друга: «Машка», «Дашка», «Пашка»... Ну, так дворовых кликали в дворянских усадьбах. И вот это-то ожидание более почтительного упоминания имён Кострова и придержало.

Соловьи отчаянно долбили металл песен, и он, задрвав голову, шарил глазами по кронам лип в надежде увидеть этих певцов.

А под музыку соловьиною аккомпанементом звучали голоса двух старушек.

Теща: «Тра-та-та...».

Другая: «И-то-то...».

Надька, свояченица, первый раз приехала посмотреть на Митьку в 85-м году, когда Ирка ей сказала, что нашла его. У Ирки до Митьки был муж, с которым она развелась, оставшись с сыном. Митька не знал зачем, но однажды Ирка пригласила бывшего мужа в гости, чтобы, видимо, он оценил Митьку. Ирка срывалась всё время на крик. Бывший муж сказал:

- Ты всё так же кричишь?!

А когда она вышла, прошептал Митьке, что с ней жить невозможно, потому что она всё время кричит. Митька пока этого не замечал, поскольку их с Иркой кроме секса, ничего не интересовало.

Спустя два года у них родился сын.

Ирка и раньше беременела, но всё время неудачно, то у неё случался выкидыш, а то внематочная беременность. Она ложилась на операции. И вот всё же она разродилась.

А в это время Надька осталась одна с дочкой.

- Тра-та-та...

- И-то-то...

Муж бросил её, ушел к другой. Надька всегда жила с родителями, и с мужем там жила. И вот он ушел. Сошелся, как говорила Надька, с какой-то стервой во время ночного дежурства.

- Тра-та-та...

- И-то-то...

Вроде бы черты лица у Надьки были правильные, но не привлекали к себе внимания. Она была смуглой. Жена рассказывала, что когда Надька родилась, то была вылитым негрятёнком. Сестры не были похожи. У жены был тяжеленький подбородок, а у Надьки нормальный. Да и глаза у них были разные. У жены голубые, а у Надьки карие. Обе сестрички были невысокими, даже можно сказать маленькими, не худощавыми, но и не склонными к полноте. Много подобных им женщин скользят по жизни. Ничем не примечательных.

К невзрачным женщинам Митька относился точно так же, как и к другим многочисленным явлениям обыденной жизни, на которые просто необходимо с мудростью на челе обращать внимания.

С этого времени Надька стала довольно часто приезжать к ним, и как-то странно посматривать на Митьку. В этой странности он сразу уловил её желание. Но ему и в голову не приходило сблизиться с ней.

Наконец, Надька нашла себе другого. Причем, выбор её пал на простецкого мужика, рабочего-строителя. Митька устроил его на подготовительные курсы в институт. Но через полгода он утонул, прыгнув с высокого берега, пьяным, в неизвестное место в реке.

Тут разговор старух ускорился, и Костров стал терять нить.

Ранее, у метро Костров заметил лежащего на асфальте человека. Полная расслабленность. Похрапывал себе с голым пупком посреди тротуара! Как он был величествен и спокоен, как он умело отдыхал, невзирая на толпы нёсшихся туда и сюда! Выпадение из общих правил вносило какую-то новую краску в привычный ритм города. Или вот в метро. Напротив Кострова присела парочка довольно модных, уже в возрасте, лет под сорок, людей, как он понял - из отвязанных, но трезвые, как говорится, и в сознании. Он был в узких прямоугольных очках в черной оправе, с модной стрижкой, с сединой на висках. Она - вся в кольцах и перстнях, в чёрных колготках, видимых до самого «не могу». Это оттого, что она подкидывала высоко свою ногу, как в канкане, и укладывала её на его джинсовое колено. При этом она истекала сексуальной слюной. Он гладил ладонью её тощую ляжку. Вот-вот начнут, без всякого стеснения, совокупляться. Пожилая женщина, сидевшая с Костровым рядом, от такого эпатажа встала и ушла в другой конец вагона, и даже с затылка было видно, как шевелились её злобные губы, и как она посылала в адрес парочки проклятия. Костров обошёл без проклятий, когда поезд открыл двери на станции «Орехово».

Вышел, прошел в калитку через рамку металлоискателя, направился по аллее к прудам. Просто прогулка сама по себе есть успокоение, равномерно рождающееся с каждым шагом, приносящим удовольствие. Костров в последние годы внимательно изучал протекание у пациентов болезни Альцгеймера. Этот недуг проявляется, как правило, в период биологического старения организма, или чуть ранее, что является редкостью, с почти незаметных перебоев в работе памяти, общего умственного ослабления и отхода от привычной индивидуализации, с течением времени при незаметном "для глаза" постоянном развитии начинается тотальная деменция амнестического типа, проявляющаяся ощутимым ослаблением высших корковых функций, которые (в отличие от пресенильной - ранней - болезни Альцгеймера) сравнительно редко выливаются в полно-

объемные корковые очаговые расстройства. От 75 до 85 процентов выявленной сенильной деменции альцгеймеровского типа берёт начало в возрасте 65–85 лет, хотя ранние доклинические признаки болезни вполне возможны и ранее 60 лет. Длительность протекания этой болезни составляет от 4 до 15, а то и больше лет.

Справа и слева аллеи продавали свои картины самодеятельные художники. Преобладали пейзажи, фотографически выписанные, с березками и избушками, или сусалью исполненные лики белокаменных мадонн с пухлыми младенцами на руках, или букеты всевозможных васильков и лютиков. Все работы говорили о том, что художники старались рисовать красиво. Но, собственно, ни одна картина не говорила о личности художника, о его собственной манере, о его мире.

Костров остановился, присел, и вот через некоторое время услышал голос тещи.

Прислушался.

- Тра-та-та...

- И-то-то...

Есть люди не умеющие молчать. Входят в лифт двое и, не замечая Кострова, начинают очень громко говорить. Не важно о чем. Просто они тревожат Кострова, сбивают с мысли, вторгаются в его душу. Сидит он, к примеру, в вагоне метро. И бьет его по лбу чей-то омерзительный голос. Долбит и долбит Кострова. Понять, что этот голос бубнит, невозможно. Потому что он бессмыслен. Наблюдая нескончаемую болтовню повсюду, Костров с всё большей любовью относится к молчанию. Молчать очень трудно, практически невозможно. И сложнее всего за поверхностной мыслью находить другую, потаённую, словно написанную водяными чернилами. Эти мысли никто не видит, кроме тех собеседников, кои нюхом чувствуют душу Кострова. Коннотации. Костров любит паузы с добавлением к ним уточнений типа "семантическая бесконечность". Вообще же, коннотация есть первейшая вещь для психотерапевта, поскольку позволяет вскрывать потаённые, как бы сопутствующие

щие значения языковой единицы: эмоциональное, оценочное, ассоциативное, стилистическое.

Тут Костров вспомнил еще одно развлечение для любящих «та-та» и «то-то»: привязали друг друга мобильниками и болтают в метро, в автобусе, в кино, в парке, на лодке, в машине, на улице...

Как фотография, смысл стал проявляться.

Надька опять осталась без мужчины. И снова стала часто наведываться к ним. Митька по-прежнему хладнокровно воспринимал её негласные просьбы переспать с ней. Но она стеснялась прямо пойти на него.

- Тра-та-та...

- И-то-то...

Через некоторое время она опять нашла себе мужа. Но спустя пару лет, он сильно заболел и скоротечно умер.

Когда Митька узнал об этом, то сразу стал ожидать наездов Надьки. Так и случилось. Причем, теперь она ухитрялась наведываться тогда, когда он был один.

Рядом на диван с ним она садиться не осмелилась, сидела в кресле, поглядывая на него молча, не решаясь прямо сказать что-то.

Так и разошлись ни с чем.

- Тра-та-та...

- И-то-то...

Можно всю жизнь, не останавливаясь, говорить, доставать своей болтовней близких, соседей, коллег, а умерев, не оставить после себя ни одной своей мысли. Сколько в своей жизни Костров видел умных людей, которые постоянно вели с ним умные разговоры. Среди них были и такие, которые строчили свои «умные» мысли, как из пулемёта, чтобы Кострову не было возможности даже вставить слово.

Но, конечно, это уже не умные люди, а больные логореей, то есть словонедержанием. Костров заметил, что воспитанные люди с интеллектом не злоупотребляют его вниманием, а, как опытные шахматисты, оставляют ему для высказывания столь-

ко же времени, сколько берут они сами. Но не очень долго. Устной перекидки мыслями достаточно по две-три, допустим, минуты.

Вы входите в ритм беседы, успеваете высказаться, и даёте полную возможность сказать что-то собеседнику. Но по большому счету вся эта умная устная беседа служит лишь прелюдией к её научной интерпретации. Если же умеющий излагать в разговоре свои мысли человек не пытается их осмыслить, и не фиксирует в исследовании, то они равны нулю.

- Тра-та-та...

- И-то-то...

Их можно сравнить с болтовней тещи Кострова с другой старухой. Так или иначе, вся умная устная речь проваливается в тартарары. Но она в то же время служит преддверием, репетицией, тренировкой к полнокровному превращению устной речи в научную разработку, иначе говоря, - в бессмертную. Настоящий мудрец не тот, кто говорит, а тот, кто записывает.

Сквозь прорехи в листве просматривался Царицынский дворец, орнаментально украшенный. "Орнамент строфичен, узор строчковат", - писал Осип Манделъштам. "Поэзия должны быть глуповата", - писал Александр Пушкин.

- Тра-та-та...

- И-то-то...

Глуповатость поэзии в орнаментальности. Орнамент - это как стихи, повторы, ритм, рифмы. Впрочем, Костров и свои научные работы стрит по принципу орнамента. Интересно, что слово "орнамент" происходит от латинского *ornamentum*, что означает украшение.

Вот сидит Костров и украшает новую статью, да так украшает, чтобы коллеги не видели украшения. Особенности орнамента состоят в следующем. Во-первых, каждый орнамент состоит из отдельных, обычно повторяющихся мотивов. Мотив (растение, фигура, определенная комбинация линий) - первооснова, художественный элемент, без которого нет орнамента.

При сочетании мотивов, в композиции создается художественный образ орнамента.

- Тра-та-та...

- И-то-то...

Мотивы орнамента могут быть расчленены на ритмически повторяющиеся элементы, которые называются раппортами и выявляются при техническом анализе мотива. Во-вторых, орнамент, в отличие от живописной картины или станковой графики, не существует самостоятельно, а входит как составной элемент в общее оформление, как этого парка и дворца Царицына... Нужно смело брать научную лексику и украшать ее орнаментально. Для мультиинфарктной сосудистой деменции характерно сочетание очаговых изменений плотности вещества головного мозга и нерезко выраженного расширения как желудочков, так и субарахноидальных пространств.

В другой раз, когда жена уехала на неделю по работе, а сын был с родителями на даче, Надька приехала поздно вечером, сказав, что она переночует у Митьки. Тот насторожился, но решил блюсти раз и навсегда избранную линию поведения.

- Видала, чего...

- Сама припорола!

- Тра-та-та...

- И-то-то...

Надька пошла в комнату жены, он остался у себя.

Потом она бесшумно показалась на пороге его комнаты в одной ночной рубашке.

- Приходите в гости, - сказала она, постояла на пороге, пока он не понимающим взглядом окинул её с ног до головы, особенно ему не понравилась её шелковистая рубашка какого-то выцветшего чернильного цвета.

- А один раз показала Митьке в расстегнутых джинсах. Он вылупил глаза и тут же убежал в другую комнату.

- Смех, прямо!

- Смех смехом, а Надька-то джинсы на голое тело надевала. Вот Митька и увидел...

- Ой, какая ж бесстыжая эта Надька!

- Тра-та-та...

- И-то-то...

Надька отличалась удивительной угловатостью. Взять, к примеру, её неумение что-либо нарезать. Колбаса у неё получалась не то что толстыми ломтями, а какими-то разрезанными по диагонали конусами. Ну, не может Надька что-либо ровно нарезать. Пальцы у неё, что ли, не гнутся были. Ирка-то, впрочем, недалеко от неё ушла. Ни варить, ни стирать не умела. В одном преуспевала - терла губкой с порошком плиту. Плита сияла снежным холодом. Митька это знал, поэтому обедал всегда в клинике, а в выходные выходил на прогулку, чтобы поесть в какой-нибудь столовой или пельменной. А Ирка и не спрашивала, сыт он или нет. Сама торчала перед телевизором на диване с какими-нибудь творожными сырками, которые Митька терпеть не мог.

Походит Костров в раздумьях по парку, присядет на скамейку, наслушается против воли житейских историй, что на сотню статей хватит. Костров обратил внимание на то, как люди свободно, без всякого смущения, рассказывают во всеуслышание о своей личной жизни. Ну, что ж, они вышли из той страны, где считалось нормой вмешиваться в личную жизнь, где парткомы рассматривали дела о разводах и «нарушении общественной морали».

С течением лет Костров всё больше углублялся в труды не только Юнга и Фрейда, но и в, казалось бы, далёкие от медицины философско-лингвистические произведения Ролана Барта, Александра Жолковского, Жана Бодрийера. Это и понятно, поскольку Костров теперь уже совершенно отверг стиль устаревшего мышления, сформированного советским образованием, далеким от психоаналитического. Психиатры привыкли обосновывать функции организма и их нарушения анатомически, объяснять их химически и физически и понимать биологически, но никогда их интересы не обращались к психической жизни, которая как раз и является венцом удивительно сложного

организма человека. А посему психологический подход до сих пор чужд врачам, которые видят в человеке только тело, не видят Слова, на котором всё и построено, и они привыкли относиться к нему с недоверием, отказывая ему в научности и отдавая его на откуп непрофессионалам, писателям, философам и богословам. Такие староверы полагают, что в мозгу человека что-то есть от рождения. Костров же прочно встал на фундамент идеализма, полагая, что именно Слово, знак, создали человека, а его мозг есть операционная система, как у компьютера, перерабатывающая плоды метафизики, и выдающая свои добавления к ней. Память человечества находится вне человека. При этом Костров пробежал глазами по строчкам книги, ещё раз убеждаясь в этом.

Костров отчетливо представил Надьку, слыша от тещи более откровенные высказывания. И ушедшие эпизоды жизни как-то незаметно начали обретать реальные черты на экране воображения Кострова. Надька стала медленно покачиваться, и джинсы сами собой стекли на пол. Затем она завела руки за спину и через мгновение лифчик последовал за джинсами, представив Митьке для любования немного свисающие груди с напряженными сосками и углубленной ложбиной между ними.

- В лесочке они грибы собирали. Ну, Ирка, Митька и Надька. Стал накрапывать дождь. Они спрятались под елью, согнувшись. И, представляешь, она приподняла подол своей юбки, когда нагибалась, оголив ягодицы прямо перед лицом Митьки.

- Опять без трусов была?

- Конечно!

У Кострова при этих словах задергалось левое веко и задрожали колени.

- Озверела, девка!

- Не то слово!

Прежде чем отвергать то, что тебе предлагается, подумай, а нужно ли тебе продолжать жить так, как ты жил до этого предложения. Это называется случай. И каждому смертному пред-

лагается всегда в жизни что-то очень важное. Каждому выпадает случай, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Но большинство так и не реагирует на предложение, сидят на скамейке у подъезда и обсуждают жильцов.

- Да это Ирка сама подстроила, - сказала толстая старуха.

- А кто ж ещё! Ты разве не догадываешься, что она сама блядовала направо и налево!

В этом месте Костров хотел бежать, но тело было словно прибито к скамейке гвзрдями. Ум повелевает, а тело не слушается. И это говорит теща о своих дочерях! Костров даже позеленел.

- Догадываться-то догадываюсь, но уж как Ирка это всё хитро делала!

- То-то и оно, - сказала теща.

- Тра-та-та...

- И-то-то...

Именно так Костров минутами слышал их болтовню, не вникая в суть. Конечно, словечко «блядовала» резануло его слух, но Костров, зная, что оно относится к словам Бога, запрещённым еще при Моисее к произнесению, не сконцентрировал на нём внимание. Костров частенько в различных местах слышал из женских уст сакральную лексику. Смысла её они не понимают, кроме лежащего на поверхности...

Бог существует нелегально, в подполье.

- Тра-та-та...

- И-то-то...

Вот мы говорим - «ограниченные люди», часто не понимая, что это такое. Ограничение - от чего, или в чём? Они вам предметно растолкуют любую мысль, которую вы им сообщите в доступной для них форме. Сидят «ограниченные» на скамейке перед подъездом, а вы подсаживаетесь к ним и говорите, что они «ограниченные люди», потому что неограниченные люди на скамейках у подъездов не сидят. Это-то они поймут сразу, что вы буквально оскорбляете их. И пристыдят, мол, «начитался». Да, вы начитались. И понятными словами объясняете, кто

такой Фрейд: «Фрейд писал книги». И больше ничего про Фрейда растолковывать не надо, мол, он там с разных сторон сексом занимался. Ограниченные люди у подъезда теперь сами говорят друг другу:

- Дуся, ты знаешь, кто такой Фрейд?

- Конечно, Маша, знаю. Он писал книги.

А вы говорите - «ограниченные люди». Растолковывать им нужно простыми словами каждый день, что к чему в психоанализе. И не будет ограниченных людей.

Но Костров вспомнил другое. Однажды он ждал автобуса на остановке, рядом с которой был стеклянный газетный киоск. Автобуса всё не было. К киоску, где, кстати говоря, продаются и игрушки, подходит седовласая старушка с маленьким мальчиком.

Женщина что-то рассматривает в окошко, а мальчик, присев, сквозь стекло видит трактор и как-то добродушно восклицает: «Купи!». Старушка ничего, конечно, как обычно, не покупает, а мальчик повторяет свое «купи». Старушка берет его за руку и, оттаскивая от киоска мальчика за руку, проходит мимо Кострова.

Тогда Костров говорит: «Надо всегда покупать детям игрушки». Старушка буквально столбенеет, затем объяснительно отвечает: «Да у него целый угол в игрушках!». Костров возражает: «Дело не в игрушках, а в отказе. Если вы подвели его к витрине, то нужно покупать. А чтобы не покупать, тогда не нужно ребенка таскать с собой к витринам. Каждый отказ травмирует психику мальчика. У него будет плохой характер». Костров отошел в сторону, а старушка с мальчиком пошла своей дорогой. Через некоторое время Костров видит, что старушка вернулась к киоску и, подумав, купила мальчику пластмассовый трактор. Мальчик ликовал, прижимая к груди игрушку.

Очнувшись, Костров опять услышал:

- А Митька сам-то чего?

- Да этот целый день в клинике...

- Вот. Там и пристроился к медсестре.

- Да что ты, он такой инертный, мямля какая-то.

- Э-э, не говори... Бывает так, что на людях тюфяк-тюфяком, а в постели диким зверем делается, только бабий стон стоит!

Костров покраснел и покрылся горячим потом. И об этом теща знает. А о дочерях своих как беззастенчиво судачит!

Груды овально волновались, будто существовали отдельно от тела, когда медсестра легла на кушетку в ординаторской. Её руки пошли по животу вниз, смуглые ножки взлетели, распахнувшись, а пальчики с алым маникюром слегка раздвинули вьюнки клумбы, открывая розовые с капельками росы лепестки ночи.

Но откуда теща об этом могла узнать?!

- А, видать, стонала при этом?

- Ещё бы! Да и любила тут же разговаривать.

- Вон что...

Костров даже сам чуть не застонал, подумав про себя о том, что от тещинога глаза спасу нет.

Кострова удивило то, что он сидит и слушает всё это. А Надька, которая регулярно оставалась без мужей, представилась ему вдруг даже хорошенькой. Надо же, как речь посторонних перестраивает его психику! Костров почему-то подумал, что, видимо, в подсознании каждый человек, в том числе и он, являются отъявленными сексоманами. Так часто бывает в жизни. Ведь неукротимая сила божественного размножения одерживает победу над любой моралью и рассудочностью.

Утром Митька быстренько смотался в свою клинику, не уделив Надьке никакого внимания.

Через какое-то время она звонит ему, говорит:

- Я хочу приехать к тебе.

Митька сильно удивился, ведь в клинике у него Надька никогда не была. Он, помедлив, сказал:

- Приезжай.

- Тра-та-та...

- И-то-то...

Надька вся раскрашенная, расфуфыренная приехала с бутылкой водки к концу рабочего дня. В кабинете Митьки они устроили небольшую пирушку. Он сбегал в буфет, купил кое-какой закуски и пакет яблочного сока.

Только они выпили, и Надька всяческими намёками предлагала тут же трахнуть её, даже ляжку обнажила, как припёрся Зельцман с бутылкой портвейна. Оказывается, он получил премию и решил с Митькой это дело отметить.

- Тра-та-та...

- И-то-то...

И Надька так и не соединилась с ним.

- Представляешь?! - сказала теща, стриженная под мальчика.

- Не могу представить, - сказала толстая старуха.

С этими словами старухи поднялись со скамейки, и направились по дорожке к выходу.

Костров же всё сидел, потрясенный услышанным, и думая о том, что всё тайное становится явным, и что теще сенильная деменция альцгеймеровского типа, иными словами - старческий маразм, не грозит.

ОНЕЙРОСФЕРА

Желтоватый свет в безысходном пароксизме угасания мерцал лишь под тупым куполом внутренней поверхности скорлупы. Павлов в отчаянном страхе мумифицирования провел крылом по своему длинному стальному клюву, как бы проверяя его остроту и прочность, затем из последних сил отклонился всем птичьим корпусом назад, сконцентрировался до лазерного луча, как бы проведя мгновенную юстировку своего прибора, и с мощностью отбойного молотка ударил клювом по скорлупе, которая тут же треснула, раскалываясь на мелкие многоугольники, как раскалывается только что извлеченное из кипятка сваренное всмятку яйцо под ударом чайной ложечки, и в образовавшееся отверстие в ужасе выпорхнул на волю сразу став взрослой птицей. Дул холодный пронизывающий до позвонков, которые позванивали колокольчиками, немилосердный ветер над черным утесом, и ветер этот подхватил распластанные крылья Павлова, и он понесся стремительно над зеленоватым штормом океана, в одном месте заметив сражающуюся с девятым валом всепожирающих волн триеру с древними греками на вёслах.

Из океанских волн вздымался «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса с величественными картинами траурного шествия и воскресения из мертвых. Блаженны плачущие, ибо они утешатся в хорале в сочетании с песенными лирическими интонациями. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, опираясь на традиции эпохи барокко. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы реквиема с удивительной стройностью и уравновешенностью. Ибо всякая плоть - как трава, и всякая слава человеческая - как цвет на траве, засохла трава и цвет ее опал с тяжелыми аккордами оркестра, мрачность которых усиливается фразами хора в унисон.

Павлов всю жизнь сочиняет другую жизнь, снимая научно-популярное кино о жизни птиц. Можно сказать, объехал с камерой весь белый свет. Очень начитан, любит компанию актёров, режиссеров, драматургов, художников, работников, одним словом, кино. Всю жизнь ходит в замшевом пиджаке кофейного цвета и в джинсах. Вежлив, даже деликатен, во всём предупредителен, в споры не вступает. Когда кто-либо из коллег попадает в его дом, то, глядя на огромные книжные стеллажи, восклицает: «И всё прочитал ты, старик?!» Не моргнув глазом, Павлов отвечает: «Всё!». И этот простой ответ нравится всем.

В общем, всё хорошо, кроме того, что жена улетела. Так он считает.

Немного подумав, скандирует Павлов: «Я чайка, я думал, что женщина чайка, но это мужчина летит над водой. О, чайка-мужчина, не лезет на сцену, не рвёт себе глотку: «Я буду звездой!».

Так птица олуша парит над волнами, я думал, что я в этом теле лечу. Но это морская красавица птица, как лебеди-гуси, как утренний сон. Распахнуты острые длинные крылья и правит полётом лопатка хвоста. Все белые перья трепещут от ветра, и чёрные перья свистят на крылах. Клюв острый и грозный, чуть-чуть красноватый, а лапы, как вёсла, прижаты к груди.

Любимое место гнездовий - утесы, в обрывистых скалах душа их поёт.

Значение слова «любовь» забыл для себя, но не только. Павлов забыл его и для жены, словно бы в душу её проникал и видел там нечто противоположное по отношению к себе, но слово это, тем не менее, довольно часто с губ их слетает. И только для того, чтобы взрослые дети слышали. Сыну пятнадцать, а дочери меньше на три.

За свою жизнь Павлов снял десятки птичьих фильмов. То он отправлялся на поиски и снимал грифов - огромных таинственных птиц, с размахом крыльев 2 метра, то ослеплял зрителей красными, синими, зелеными, золотыми роскошными птицами Новой Гвинеи, а то просто поражал повадками и умом наших ненаглядных ворон.

А фильм о белогрудой, чернокрылой, с длинным клювом олуше, самой крупной морской птице северной Атлантики оказался поистине пророческим. Эти небесные странники проводят большую часть своей жизни в воздухе над океаном, перелетая из одной его части в другую и приземляясь только для размножения. На суше они чувствуют себя не уютно. Длиной один метр от клюва до хвоста и размахом крыльев около двух метров, северная олуша перелетает океан лишь едва взмахивая крыльями. Торпедой уходя в воду на скорости 100 км/час, олуша не даёт никаких шансов выжить нежащейся у поверхности в солнечных лучах рыбе.

Океан страшил и радовал, как известие о неизвестном. В голове Павлова звучал странный разговор, как будто он слышал из самой чёрной глубины гулким эхом расходящиеся по всей неизмеримой толще воды голоса о Страшном суде. Там и трубящие ангелы, и полыхающая звезда, падающая в море и превращающаяся в кровь. Соленая вода становится кровью, наполняющей жизнью человека, вышедшего из глубин. И он увидел большую белую птицу, раза в три больше самой большой чайки. Она так величественно парила над гладью вод, что Павлов не мог оторвать глаз от неё, пока не разглядел в птице женщину античной красоты.

И приблизилась к нему стройная олуша, белая грудка, черные крылья, длинный носик, который при взгляде Павлова заметно уменьшился и превратился в женский, и вся птица в мгновение ока предстала перед ним необычайной женщиной. Прочие птицы, завидев столь чудесное превращение, сорвались со своих мест и улетели.

- Какая милая птица! - воскликнул Павлов.

- Милая, - повторила грудным голосом птица.

Онейросфера Павлова чрезвычайно ассоциативна, художественна и изобретательна.

Конечно, при всей огромности для птицы, Павлову в сравнении с ним, высоким и молодым, в то время полным любовных сил, она казалась миниатюрной, с глазами цвета океанской

волны, с вишенками сосочков на крепких грудях, которые напоминали бутончики нераспустившихся роз, с белыми ногами балерины, с гибкими руками с тонкими маленькими пальчиками, которые вряд ли могли обхватить возбуждённый божественный мужской член, если не самого Бога, с маленьким ротиком, в котором едва ли могла уместиться набухшая до потрескивания головка того же божественного начала.

Мила явилась как милая избавительница Павлова от долгого воздержания. Он с дрожью поспешно освободил птицу от перьев-платьев, и, не донеся свой внушительный цветок до её лона, изверг семя на вьющийся виноградник, который стал похож на заснеженный сад.

Пальцы Павлова опустились на этот заснеженный виноградник, подобно пальцам пианиста к клавишам фортепиано, и стали массировать в млечном семени раскрывшуюся коралловую раковину, доставляя Миле необъяснимое, таинственное наслаждение, доводящее её до экстаза. Наплывами птица превращалась в женщину, затем женщина - в птицу. Туда - сюда. Женщина, птица, женщина, птица, женщина, птица, стон, песня, взлёт, падение, птица, небо, женщина.

И дети у них рождались сначала птицами, с белыми грудками, с черными крыльями, а уж потом превращались в людей.

За время, что прошло после больницы, Мила высохла так, что желтоватая кожа обтягивала каждую ее кость, позволяя в подробности рассмотреть скелет ее тела.

Павлов к тому же запамятовал тот день, превративший комнату жены в нечто вроде гостиничного номера, когда, прежде чем войти, он вежливо стучал в дверь, как будто сама дверь изменилась, стала другой, не его привычной дверью, чего на самом деле не было.

Всё это переиначивалось в самом Павлове. Это-то он понимал, но всё-таки привычные вещи стали выглядеть иначе, и ничего с собой он поделать не мог.

Дети мгновенно подросли, и в какой-то момент Павлову и жене стало ясно, что им необходимо по комнате.

Первые дни любви были чудесны, хотя уже тогда Павлов чувствовал странный характер Милы - к Павлову она была как-то равнодушна. Но вот она снесла сначала яйцо, огромное, из которого вылупился сын, а спустя три года из подобного яйца вылупилась дочь. Однажды Мила сказала, что ей не хватает истинной любви с Павловым, и нашла себе олушу на «Красносельской». Мало ли олуш в Москве! В силу интеллигентности Павлов молчаливо перенёс это событие. Просто стал жить в своей комнате, весь увлеченный новым птичьим замыслом. Да и ассистентка режиссёра вполне его удовлетворяла прямо на съёмочной площадке. С течением времени дети стали поклёвывать друг друга, пока дочка не пробила череп своим острым клювом сыну. Тут пришлось их разводить по разным комнатам, а Павлову водворяться к жене. Как только он это сделал, то заметил резкое ухудшение здоровья жены.

И тут нужно сказать об одной особенности Милы - она питалась исключительно рыбой. Павлов заезжал на рынки чуть ли не через день, чтобы отовариться свежей серебристой килькой, которую очень любила Мила, так любят старухи у подъездов семечки. Ну и плотвой не брезговала. Обожала ставить эмалированный таз с рыбой прямо в центре комнаты и, присев, подкидывала клювом быстро каждую рыбку, серебристо сверкающую в воздухе во время пируэта, и заглатывала с жадностью их одну за другой. Кильку она уминала с такой скоростью, что таз быстро пустел. Она опасалась, что если будет глотать медленно, то дети проворно влетят в комнату и выхватят рыбки прямо у неё из-под носа.

Вот Павлов и перешел в комнату жены, перетащил свою узкую кровать и поставил между шкафом и окном, ногами к окну.

На «Красносельскую» она летала вечерами, чтобы прохожие не очень обращали внимание на огромную белую птицу, несущуюся над улицами и площадями. Город расцветчивался огнями, и олуше Миле из поднебесья казалось, что она парит над мерцающим в заходящем солнце океаном. Пахло водорослями и рыбой. Иногда Милой овладевало желание стремитель-

но, пулей, ринуться вниз, принимая какую-нибудь сверкающую никелем машину за рыбу.

Такая зоркость бывает лишь у бабочек и птиц.

Часть рыбы, главным образом, плотвы, Павлов оставлял для себя, на засушку. Весь балкон был обвешен сохнувшей на веревках рыбой, под пиво, которое Павлов очень любил, да и на студию носил пакетами, а там уж, известное дело, налетали стаей операторы и режиссеры, редакторы и администраторы. А что ещё делать на студии в подготовительный период, как не пить пиво под воблу, к вечеру плавно переходя на водку.

Железная птица, вылетевшая из Апокалипсиса, неслась над океаном.

На ночь Павлов наливает себе две больших кружки крепкого чая, сладкого, кладет по четыре чайных ложки сахарного песка в каждую, и ставит их на тумбочку у кровати, рядом со старым большим будильником с никелированным колоколом сверху.

Как только во сне Павлова начинает бить кашель, он отбивает его несколькими большими глотками уже остывшего чая. До утра двух кружек хватает, а иногда и полкружки остаётся.

Неземная птица может в женщину воплотиться только тогда, когда вам снится.

Белая с рассвета птица.

В сущности, это автобиографическое повествование, где Павлов чувствует себя, как птица в полёте.

Сердце колотится птицей, вот-вот выпорхнет из груди.

Будильник звонит по утрам так вызывающе противно, что Павлов не просто просыпается, а вскакивает спящим, и ещё некоторое время стоит и спит, дожидаясь, когда у будильника кончится ход пружины.

Последние звонки будильник выдает со значительными паузами и с глуховатым дребезжаньем. Тут же покоится пепельница, стекло под хрусталь, с ложбинками для окурков по бордюру. Но пепельница чиста, поскольку Павлов теперь здесь не курит.

Для женщин желание иметь волосы красивые и крепкие чуть ли не самое сильное. Вы только посмотрите на наших женщин! Все они не просто показывают, а демонстрируют свои волосы. Вот я какая! И все, как одна, красятся. Особо им нравится цвет под мокрый асфальт или под чёрный гуталин. Шестнадцатилетняя бомбошка уже нагуталинилась. Личико детское бледненькое с нездоровым румянцем, а волосы ведьмы, под смолёный черный конский хвост. Но чтобы волосы были действительно красивыми и здоровыми, опытные женщины используют морскую соль.

А уж Мила просто вся купалась в ванне с морской солью, да еще с сухими водорослями, которые в горячей воде становились похожими на настоящие. Крылья Милы вспенивали морскую воду, омолаживая её сущность Афродиты, родившейся из морской пены.

Все действия Милы возбуждали в Павлове когнитивную функцию. Здесь как бы у него возникала ментальная репрезентация её физического тела.

Морская соль и лечит и лелеет, удивительные её антисептические свойства хорошо известны были всем летающим женщинам еще в Элладе.

Ванны с морской солью улучшают кровообращение и ток лимфы, и даже приводят в порядок нервную систему, улучшают обмен веществ, снимают отеки и, практически, уничтожают ненавистный женщинам целлюлит, да и худеть помогают.

Прежде было по-другому. У Павлова была своя комната, где он курил, и стряхивал пепел мимо пепельницы, а то и в стаканы с остатками портвейна, и высыпал остатки мелочи. Мила потом ссыпала серебро и медь в металлическую круглую банку из-под чая, а когда что-то скапливалось, покупали какую-нибудь безделицу в подарок друг другу, и Мала называла это «золотым запасом».

Стремительно на солнечном фоне летели строгие белые птицы.

Да и сейчас Павлов выгребаёт из всех карманов металлические рубли, ссыпая со звоном их на низкую широкую тумбочку у кровати, а Мила затем пересыпает их в эту банку. Наступило время каких-то металлических денег.

Всюду сдачу дают металлом, не то что прежде, когда на рубль можно было продержаться целый день, включая курево и кофе.

Месяц назад Павлов закончил фильм о безгранично многообразном птичьем мире наших нехоженых северных лесов, лесостепных дубрав, речных пойм и полей, лугов и болот, побывал на побережьях Финского залива и Ладожского озера, где отснял весенние и осенние миграции птиц, в Пушкинских горах, где познакомился с птицами, населяющими долину реки Сороти и старинные парки Михайловского, Тригорского и Петровского, и в других местах. Павлов показал повадки, гнезда и птенцов более 200 видов птиц. Фильм насыщен оригинальными кадрами, помогающими не только распознавать птиц по их голосам, поведению, но и узнавать их гнезда и только что вылупившихся из кладки птенцов, и понимать биологический смысл наблюдаемых таинственных явлений.

Мила, как она полагает, оглядывает Павлова несколько насмешливым взглядом, и это кажется неуместным, потому что насмешливости в истощавшем лице нет нисколько.

Так птица с жизнью прощается.

Её насмешливость представляется Павлову как снисхождение. Но это неестественное выражение натянуто на кости лица, как прозрачная перчатка на руку хирурга.

- Не беспокойся, любимый, - произносит она своим птичьим голосом. - Пару минут ещё полежу и встану.

Здесь явно были видны коммуникативные универсалии.

- Ладно. А если хочешь, я что-нибудь приготовлю на ужин, в его голосе сквозит фальшь, но он хочет показаться любезным.

Мила как-то равнодушно говорит:

- Давай.

И немного ещё на неё посмотрев, он неспешно выходит, плавно дверь за собой притворяя. Ничего бы вообще он не стал предлагать, чем вот так говорить ни о чём и не к месту.

Формат жизни равен формату кино: только сел смотреть, как уже - конец фильма.

Золотистая тишина обволакивает тебя ирреальными смыслами со всех сторон. И вздох, и отблеск, и волна к волне, и тишина и возвышение звука, и угасание, и медленная, почти в остановке, чья-то речь.

Руки Милы конвергентно превращались в крылья с такой скоростью, что Павлов даже не замечал, как растут на них перья. Может быть, этот процесс роста перьев на изящных женских руках умышленно скрывался, дабы не вызывать некоего отвращения к физиологическим метаморфозам, которые не так уж приятны для созерцания. Руки Милы становились мощными белыми крыльями с чёрными окончаниями, а стройные ноги мгновенно превращались в ласты, которым шлепают по мокрому кафелю бассейна купальщики.

Вот она параллельных течений конвергенция, приведшая к большему взаимообмену на основе общей, или по крайней мере сходной, эволюционной судьбы.

Как в общем хоре голосов все эти звуки отзовутся?

Ангелу не нужны руки. Павлов вдруг понял всю нелепость крыльев, растущих из лопаток, при наличии рук. Два крыла и две руки. Да еще лютня в руках. Как это сделал Леонардо да Винчи в «Ангеле в красном». А в «Семи смертных грехах» трансцендентного Иеронима Босха ангелы руками выделявают всё, что угодно, при этом крылья всюду статичны, если не сказать мертвы. То же самое у Сальвадора Дали в "Кубистическом ангеле", где наиболее рельефно дана вся чудовищность дисгармонии рук и крыльев.

Это ход эволюции. Рыбы воспарили над водой, передние плавники превратились в крылья, а задние - в лапы. Птицы стали ходить по земле, превратившись в животных с четырьмя лапами. Животное, вставшее на задние конечности, преврати-

лось в человека. Руки человека, ставшие крыльями, превратили его в ангела.

Было совсем темно на платформе, только желтая лампа-дежурка высвечивала круг перед черным жерлом бесконечного тоннеля. Мила встрепенулась, взъерошив перья и похлопав крыльями. Вдруг она съёжилась, услышав грохот приближающегося поезда. Луч прожектора осветил птицу невиданных размеров. Свист тормозов заставил Милу отпрянуть. С резким скрежетом перед ней остановился последний синий вагон. Двери открылись. Только Мила прошлепала в вагон, как единственный заросший с ног до головы бурым мехом пассажир с криком:

- Караул, допился до чертиков! - пулей вылетел наружу.

По вагону разнесся голос: «Следующая станция "Красносельская"».

Поезд тронулся. При этом свете в вагоне поубавилось. Лишь желтенький отблеск одинокого светильника отражался в пластиковых поверхностях столиков, стоявших вдоль стен вагона вместо сидений. Мила этому не удивилась. Но едва только успела взлететь на один из столиков, как тот же голос объявил: «Станция "Красносельска", конечная. Поезд дальше не пойдёт. Просьба выйти из вагонов».

Вместо станции перед Милой предстала станционная столовая Красного села, с пивной стойкой и толпой посетителей перед ней. Павлов решил взять сразу четыре кружки.

Водку наливал непосредственно в пиво.

Когда он вышел к морю, наступал рассвет с нежной розовой полоской.

Пока Павлов в Михайловском плавал на лодке с камерой по Сороти, Мила сама решила половить рыбу, хотя этой рыбой у нее был забит весь дом. Мила воспарила из окна и устремилась к Москве-реке, но уже за Новоспасским мостом её атаковали чайки и вороны, не признав её своей из-за огромности и клювастости.

Два рыбака удили рыбу за Автозаводским мостом.

Один другому:

- Ты посмотри, что это?

- Где?

- Да вон гусь какой-то летит, а вокруг него стая чаек с воронами!

- Долбят гуся-то клювами.

- Нет. Это не гусь. Размах крыльев больно широк.

- И клюв, как у этого, как его... пеликана.

- У пеликана с зобом клюв, а у этого гуся нос острый, как кинжал.

По мере приближения стаи очертания эксплицитного «гуся» стали проясняться.

- Слушай, да это и не птица... Ты посмотри только! - другой одному, протирая глаза. - Это ж баба летит!

- С ума ты что ли сошел?! - один другому.

- Точно баба, смотри-смотри!

И оба рыбака разглядели летящую в стае чаек и ворон женщину.

Мила как могла отбивалась от полчищ москвичей, но они наседали, и сбили её, окровавленную в Печатниках у монастыря Иконы Иверской. Женщину в изорванном платье и со множеством ранений обнаружил пожилой иерей, который и вызвал скорую помощь.

Воздух вздрагивает, искажая изображение.

Когда Павлов вернулся с кухни, жена впала в неминуемый бихевиоризм, воспарила бестелесной плащаницей, подхваченной стальным северным небом, растаяла язычески, улетела, исчезла. Если рождена летать над океаном и сносить яйца, - так нечего прикидываться женщиной! Проверь свои эволюционные хромосомы!

Эмпатия Павлова была сильнее перевоплощения.

Будьте долготерпеливы до пришествия Господа в использовании трансцендентного, нежного, но плотного аккордового звучания, органично сочетающегося с полифоническими вариациями. Вот, земледелец ждет драгоценного плода от земли

и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Но слово Господа пребывает во веки веков, образуя величественный внешний круг обрамления онейросферы.

И снег в искажённом свете все кружился, медля в воздухе, падал, как будто сыпалась из огромного сита мука на мельнице вечности.

Из мрака ночи в свете звёзд конвергенция выступала в значении «сгущения», «скопления» изобразительно-выразительных кадров, смонтированных с учётом участвующих в воплощении образов, как и синкретизм элементов (поэтических реалий, вербальных единиц, признаков предметов), их «скрещивание», «гибридизация» одного с другим.

И сам паришь в воздухе, невесомым, как тополиный пух, похожий на снег, и дыхание у тебя становится более глубоким, медленным, как у рыбы, которой не хватает воздуха, ноги болят от усталости, и начинает постукивать в левом виске. Стук этот подобен великолепному фонтану, гонящему воду мыслей из подземного резервуара через множество узких отверстий в воздух немислимыми траекториями, создающими иллюзию гармонических форм. И все эти цветы герани, все эти фиалки и бегонии смотрят на “белые звездочки” снежинок и тянутся туда, “за оконный переплет”, “к белым звездочкам в буряне”, и не понимают, что там не только другой мир, но и другой климат, другая температура воздуха, при которой они замерзнут, и что им не надо тянуться туда, что им на этот белый мир лучше смотреть из окна.

Чистый на улице воздух. Павлов в работе подчинен бессознательному, интуиции.

На чёрном утесе лежит огромное белое яйцо.

УЕДИНЕНИЕ

Вот эти льдышки под ногами, как хулиганы по углам. Того гляди, дадут по голове. Или сам головой приложишься до забвения. Сухо вроде на тротуаре. В окошке свет горит, на подоконнике белый кот сидит. И вдруг. Конечно, зима всегда у нас вдруг. Решетки, заборы, ямы. Пьяный лежит у ворот. В потёмках бронных переулков, где тротуары так узки, что двоим не разойтись встречным, и ледок поблескивает чёрный. Ноги, как протезы, до деревянной несгибаемости напряжены. Но и в этом вся прелесть природы. Ты ходил по Москве босиком? Ты Христос. Здравствуй, время цветущих гортензий. Ты несёшь в себе семя новой Библии, сладкой до слёз.

Какая-то маленькая радость. Выхожу из метро. Вдруг из синей темноты вспыхивают огоньки, и начинают бегать по спирали вверх и вниз. Елка! И люди при виде её как-то приосаниваются, стряхивают с себя суетность и озабоченность текущими делами. Оказывается, помимо текучки, есть что-то в этом мире высшее, непостижимое и прекрасное. В белом венчике из роз по воде як посуху идет наш дорогой Христос. Как это просто и понятно. Мы живём в раю. Нам нужны огоньки и блестящие стеклянные шары. Этот праздник и прежде как бы смывал все красные тоталитарные праздники. Как будто бы мы окунались в воды Иордана. Чистыми садились за стол по поводу вечности, бессмертия, сказочности.

Вот иди прямо по Рабочей улице, никуда не сворачивая. Понимай, что это места за Рогожской заставой. Слева от тебя идущего пролегает Владимирка - шоссе Энтузиастов. Продолжением улицы Сергея Радонежского идет. Слева - завод "Серп и молот", справа - вагостроительный и вагоноремонтный завод им. Войтовича. И оттуда можно зайти к Рогожскому кладбищу, по улице Войтовича. Но по Рабочей улице как бы срезаешь угол, как в футболе у Высоцкого "режет угол у ворот".

Москвичи, настоящие москвичи, а не те, которые приехали и москвичами стали, а те москвичи, деды которых тут жили, так вот эти москвичи всегда норовят не как все идти по прямым улицам, а все в подворотни ныряют, в переулки-переулки, в проходные дворы, знают черт-те какие ходы и выходы. Колхозник на метро будет полдня от ГУМа до ЦУМа ехать, а москвич в три минуты перескочит с Никольской на Театральную проходным двором...

Черная решетка бульвара производит на меня сильное художественное впечатление. Литая с выдумкой, с узорами и орнаментом... Тут я остановился против кинотеатра «Колизей» в размышлениях по поводу «узоров и орнамента». Сами собой легли на мои уста строчки из Мандельштама, кажется, из «Разговора о Данте» (а Мандельштама всего я знаю наизусть): «Орнамент строфичен, узор строчковат...». Может быть. Вообще-то говоря, узор всегда мельчит. Орнамент же дышит Библией и Египтом с египтянином Моисеем, по смелому и точному определению Зигмунда Фрейда. Впрочем, я шел по Яузскому бульвару в маске своего персонажа, то есть я забыл себя и залез в шкуру нового своего персонажа, и представлял, как мой еще неопределённый персонаж вышагивает от угла Воронцова поля вниз под ручку со своей возлюбленной. Каслинское чугунное литьё украшает многие места Москвы. Ворота и ограды, газонные решётки, перила мостов и балконов. Это также уличные фонари и светильники. Литье из чугуна. Персонаж ожил, заговорил о другом, забыв напроць о чугуне.

Ты не вполне себе принадлежишь. Ты всё время впадаешь в тоску. Но никому не подавая даже виду об этом. Всё время живёшь на разрыв. Здесь тебе хорошо, но не так, чтобы очень, потому что стучится всегда другая мысль, что там, откуда ты ушёл, лучше. Но придя туда, где лучше, ты начинаешь судорожно скучать по тому месту, где не очень хорошо. Выходит, что ты постоянно раздваиваешься. И только ушедшие дни как-то устаканиваются, и кажутся милыми, тихими. Но оттуда,

из вчерашнего дня выплывают написанные тобой строки. Ты их читаешь, удивляешься самому себе, как же ты так талантливо мог написать. Кому же ты принадлежишь? И сам себе разумно отвечаешь: Слову. Как только понимаешь, что ты в руках Господа, так сразу и вновь подступает тревога, тоска. И тут не так, и там не эдак.

Весна в юности казалась началом новой поэмы жизни, как будто всё предшествующее обрывалось, и наступал момент невиданного восторга, когда на самом деле я говорил стихами. Новое дыхание весны, как криком паровоза, оглушало меня. Хотя не только меня одного. Весна ассоциировалась с гитарными песнями ребят из соседнего двора. Улица пахла талым ледком и женскими духами. То, что движется, и то, что еще будет. Весна. Она едет, но не подъехала. В этом движении скрывалось ожидание какого-то невиданного праздника.

Следует ли для подкрепления своих мыслей обращаться к авторитетам? Смотря как вы хотите высветить самого себя. Если вы оригинальный мыслитель, то авторитеты будут вам лишь вставлять палки в колеса своими закрепленными истинами. Но, глядя на их истины, вы поймете, что они не совсем истинны, то есть вы видите за этими истинами более глубокие свои мысли, до которых авторитеты не докопались. А, следовательно, вам нужно было знать мнения этих авторитетов. И вы их знаете, потому что прочитали всё наиболее важное для себя в области оригинальной мысли. Не надо пить море, чтобы понять, что оно солёное. Достаточно чайной ложки морской воды. Я в жизни встречал множество эрудированных людей, все тексты которых сводились к перечислению имён и к выписке их мыслей. Это работа секретарей литературы, но не мыслителей, не писателей. У писателя к определенному моменту жизни в голове скапливается столько мыслей, выраженных в словах, что перемешав их, как коктейль в миксере, он выдает совершенно новые мысли. Я это говорю к тому, что писателю сначала нужно хорошенько начитать, а уж потом писать. У нас же, как правило, сначала пишут, не читая классиков, и по-

том пишут, не научившись писать. Вот почему от века остаются пять-шесть писателей.

Я был в мастерской известного художника, поднимался по крутой лестнице с никелированными перилами на балкон, который опоясывал по периметру всё помещение. Сверху были видны столы, стулья, табуреты с бесчисленным количеством серебристых тюбиков с красками. На дощечки, которые умно называют палитрами, были выдавлены белые, желтые, красные, зелёные, синие поблескивающие червячки. Из банок, стеклянных и железных, торчали кисти всех размеров и конфигураций. Всюду валялись, висели скомканные и расправленные пестрые тряпки. Пахло приторно маслом и керосином. Часть поработавших кистей, метёлочками вниз, стояли в керосине. Художник стоял у нового, работаемого холста, и перемешивал на нем довольно-таки большой кистью краски. Брал их с фанерки и переносил на картину. Как-то уж очень смело, почти не задумываясь, и приговаривал: «Всё это химия. Сейчас мы тебя захимичим. И жизнь моя - химия. И искусство - химия!» Я смотрел за его безбоязненной работой, и думал о том, что литература - тоже химия. Беру любые слова, не думая, кладу на лист новые и новые, они перемешиваются и создают картину, о которой, быть может, до начала писания и не догадывался.

Совершенно не обращаешь внимания на сверхъестественные вещи. Например, твердое вещество на глазах превращается в жидкое. Причем, видит это явление каждый человек, но не замечает. На глазах - и без глаз. Из этого можно сделать вывод, что самое обычное - на самом деле еще не познано и не описано. Загадка находится в простых вещах, которые сами по себе не существуют. Они начинают жить только тогда, когда мы их называем: лёд и вода.

Сиюминутная оценка - это на экране телевизора. Ты туда выскочил, все тебе похлопали: "Ой, мы тебя видели, ты такой знаменитый и известный..." А назавтра мы его забыли, его нет, не существует. Недавно я программу посмотрел по телевизору,

такая ностальгическая программа: вот были дикторы, Валя, Нина, Зина... там, я не знаю, кто еще... Но они абсолютно ничем не подкреплены. Они - картинка, та, которая была в памяти тех людей, которые жили с ними в одну эпоху. И вот я кстати вспомнил еще эту мысль... Когда я смотрю хронику по телевизору, или в кинотеатре, хронику старую, вот, скажем, начала двадцатого века, событийную хронику: идут люди, толпы людей, ораторы выступают, митинги там, шквал оваций, восторги... И меня гложет постоянно мысль: а ведь их нет никого в живых, они все исчезли. Эта мысль присутствует у каждого художника, у каждого философа, ибо он бы тогда не был философом. Философ начал думать о смысле жизни именно тогда, когда он понял, что он исчезнет, - не другой исчезнет, не вы, не он, а я исчезну. Это эгоизм. Но эгоизм - это блестящее качество, которое подвергалось сомнениям в советский период. Нужно воспитать себя, а не воспитывать соседа, и тогда все будет хорошо, делать себя, лучше - по системе Станиславского - работать над собой постоянно. Тогда ты вырываешься из атмосферы повседневности и выходишь к вершинам совершенства.

Потерянное время, найденное время. У меня его нет, ибо я живу вне времени. К этому приходишь не сразу. Сначала ты бегаешь по часам. Туда-сюда. Особенно насмехается над людьми школа, строящая из себя бог весть что. Какая-то угрожающая обязаловка. Никаких опозданий. Иначе - дневник на стол, и вызов родителей. Если сказать, что школа ничему не научила, то это будет полуправдой. Теперь я вижу школу, как временное место, где ты будешь изолирован от улицы. С рук - на руки. От родителей - школе. Постоянный присмотр. Общество создает свои институты для присмотра за людьми, чтобы они не били стекла и не угрожали себе подобным. Так вот из всего этого я вывалился на обочину. Потому что мне не хотелось бить стекла и тем более угрожать другим людям. Я уходил в свои лабиринты образования, уходил к книгам, погружался в книги. Мир внешний отключался. Я жил другие жизни, перетекающие в меня строчками. Я очень заинтересовал-

ся этим перетеканием, и стал сам писать строчки, которые вытекали из меня, когда я был переполнен строчками других писателей. Я вступил в соревнование с великими авторами, потому что мелких я избегал. Мелких сразу видно по двум-трем фрагментам, которые выхватываешь глазами, потому что они пишут «правильно» для редакторов, что разрешено и за что можно получить деньги, а это всегда фальшиво. Читая великих писателей, я понял, что у меня вырабатывается вкус, появляется способность безошибочно отделять прекрасное от посредственного.

С возрастом постоянно ограничиваю круг людей, которые приводят меня в состояние возбуждения. Что это такое? Просто у меня огромная коллекция всех видов людей, и эта коллекция способна мне выдать типаж для любого моего рассказа. А живых возбуждающих на порог не пускаю. Последний раз несколько лет назад пустил. Было хорошее настроение. Пригласил двоих пишущих. Стол накрыл, водки купил.

- Я не буду пить, - сказал первый.

- Я вообще непьющий.

Испортили целый день. И при этом старались передо мной показаться очень умными. Я терпел из-за воспитанности. Но настроение было горькое, и хотелось выкинуть их со своей трезвостью в окно. Пошел, с мужиками у магазина раздавил бутылку, причем спел им во дворе какую-то хорошую песню, вроде «Где ж ты, мой сад...», потом еще добавил, и почувствовал себя человеком.

Ты потихонечку иди по льду, не падай. Такой коварный серый, как асфальт, лёд. Сумерки. Серый асфальт с чёрными, как будто пролили чернила, пятнами. На повороте, по неосторожности ступив на эти чернила, опрокидываюсь навзничь. И ничего не понимаю. Открываю глаза. Вижу, что я лежу. А почему, с какой стати? - не пойму никак. Ноги людей сами собой проходят мимо меня. Без туловищ. Поднимаюсь на морозе. Чувствую, озяб. Самое любопытное, что никто меня не побеспокоил, пока я лежал без сознания. Одинокий. Спокойный. В уголке.

Может, думали, пьяный лежит. Полежал, и ушел. Так ничего и не поняв, где я? Будто заново родился.

Заставить человека сидеть на одном месте, практически, кроме экстремальных случаев, невозможно. Многие так и считают - жизнь есть движение. Вокзалы, аэропорты переполнены всевозможными путешественниками, даже если они не путешествуют, а едут с места на место. Человек намагнетирован многими субъектами и объектами - домом, родственниками, работой... Вот он и снимается с места, хотя бы для того, чтобы каждый день ездить на работу. На месте может сидеть только писатель. И чем он надежнее и дольше сидит, тем значительнее он становится. Долго сидеть на одном месте за столом, не значит писать много и долго. Пишешь, в основном, для тренировки. Ты, как режиссер и актер своих произведений, репетируешь ежедневно. Иногда в день напишешь страницу, чтобы на другой день из нее сделать одну фразу. В этом промежутке от написанного до сокращенного и рождается что-то путное и самостоятельное. Работа очень кропотливая. Но если ты вник в нее, то она погружает тебя в иной мир. В мир изображения через Слово.

Узнавая в глубину себя, ты невольно изучаешь других людей, построенных по тому же принципу, что и ты. Этим погружением в себя ты видишь такое, что, как говорится, не приведи Господь! Ты лицезрешь в себе бездны всего: и хорошего, даже прекрасного, и дурного, такого негативного, что и вымолвить невозможно. Этим изучением себя, ты так себя разогреваешь, так накаляешься, что бываешь противен сам себе. Воскликнешь, да неужели я так низок. Пусть только в мыслях своих низок. Но другой голос тут же перебивает тебя, и говорит, нет, ты прекрасен, великолепен, потому что перекрываешь силой своих положительных качеств - плохие твои свойства. Но бывают моменты, когда тебе кажется, что ближние начинают догадываться о твоих низменных качествах, которые ты невольно скрываешь, потому что положено их скрывать. Оценка тебя окружающими и складывается из твоих взлетов и падений.

Всегда идет противоборство с материалом. Он не хочет тебя слушаться, вечно выскользывает из рук, как обмылок, или сопротивляется, как мрамор, когда ты бьешься об него головой на станции «Кропоткинская». Почему «Кропоткинская»? Потому что там светло, и все будут видеть твоё усердие по работе с материалом. Бьешься, бьешься головой, а потом вдруг что-то начинает завязываться. Еще не совсем туго. А уж потом материал сдаётся. Начинает текст сам собою литься, как горный ручей. Это называется вдохновением. Многие начинающие авторы так и остаются начинающими, потому что не высекают из лба своего при ударе о мрамор искр. Нужно биться головой умело. И, причем, только на станции «Кропоткинская».

Я шёл в снегу, снегами скрытый, я пел метельные стихи, метели наши, сначала медленно снежок - граве, ларго, адажио, ленто - ласкал прохожих, вьюги звон включал анданте, умерато, потом гулял по ним лишь ветер вольный, всё убыстряя снежный темп - анимато, аллегро, виво, престо, метель стучалась в окна к нам, и чёрным снегом билась в двери, бושует вечная метель, как самогон, замутит душу, метель метёт, снег сверху бьет, а снизу стелет, когда б не снежные метели сугробов горы намели, и в бровь, и в глаз, и в спину, и под дых - спит метель, свистящий ветер хлещет, всё яростней, точнее, упрямей, резче, пронзая стариков и молодых, пока метут метели, белые ели, страхи метели, пусть ветер свистит и метелица вьется, и дорогу к могиле забытой густым снегом метель занесет, метель окружает с пронзительной тоской, мне захотелось в путь - туда - в метель, я пел и шёл, я шёл и пел в метель и о метели!

Наверняка каждый человек так или иначе задумывается о кратковременности жизни, поглощаемой прошлой и будущей вечностью, о ничтожности пространства, которое он сам наполняет. Кто поместил его сюда? По чьему распоряжению ему назначено именно это место, именно это время? Неужели каждый человек для себя есть всё, и с его смертью всё исчезнет? Что же делать, за что зацепиться? По-видимому, нужно познать

самого себя. Если это не поможет разгадать загадку, то, по крайней мере, поможет хорошо направить свою жизнь.

Мысль о бессмертии и есть двигатель моего творчества. А вообще, всё это состоит из простой самодисциплины. Когда ты живешь в полной зависимости от себя, то ты раздваиваешься на командира и солдата. Приказ начальника - закон для подчиненного, и этот приказ должен быть неукоснительно исполнен. Тут уже не будешь вилять, откручиваться, манкировать своими обязанностями. Моё сознание разделено надвое: на начальника и на подчиненного. Сам себе даю указание, и сам же во что бы то ни стало выполняю это указание. И в этом моё творческое счастье, ибо с молодых ногтей работаю исключительно в этом режиме. А когда уж начинается работа над новым произведением, то там я вообще рассыпаюсь на множество «я», влезаю в шкуру своих персонажей. В эти моменты, проходя по улице, я присматриваюсь к прохожим, и невольно подмечаю что-то существенное, нужное для меня.

Прежде чем садиться за стол, а я сажусь уже ежедневно более 50 лет, нужно хорошенько размять голову. Для этого снимаю с полки первую попавшуюся книгу. Сейчас сдернул «Записки нетрезвого человека» Александра Володина. Начинаю разминку. Листаю с конца до начала. Потом с начала до конца. Глаз выхватывает строчки. Но я бегу мимо. Надо пристреляться. И вот цепкий автор тормозит меня. Я по его приказу останавливаюсь. Вчитываюсь. И меня охватывает радость. В чем тут дело? А вот в этих простых мыслях: «Когда мне удастся выпить, то вернувшись домой, я разговариваю с женой грустно, серьезно, обратясь в сторону. Но жена откуда-то знает. Тогда я стал разговаривать, не дыша. Но она откуда-то все равно знает. Что делать?»

Действительно, что делать?

Удивляюсь, как довольно часто люди уподобляют себя животным. Им нравится ходить под властью пастуха. С умилением вспоминают даты имперских тупоголовых пастухов из пирамиды феодального государства. Несвобода проявляется у

многих от непонимания собственного случайного явления на свет. Благодарным можно быть только Всевышнему, создавшему каждого по своему образу и подобию для божественного вдохновения. Человек рожден для искусства, и только для искусства. Вне государства, которое день ото дня дряхлеет и становится анахронизмом.

Нужно сначала полежать в грязи, чтобы потом показаться чистому человеку, который бы тебя грязного полюбил. Обычных, правильных, даже хороших людей мало кто любит. Почему? В них нет события. С античных времен, если эти времена, конечно, были, поскольку уже многие понимающие люди склоняются к тому, что все произведения античности были созданы в новое время для углубления истории своих государств, так вот с тех бывших времен повелось обливать персонажа грязью, чтобы в конце чуть-чуть осветить его светом надежды. Дело в том, что человек есть существо исчезающее, проходящее. Каждого ждет его кладбище. Если еще жестче определять человека, то это всего-навсего проигрыватель для пластинки вечности, которую создают художники. Новичок на земле, родившийся, начинает питаться этой пластинкой, изучать и понимать грязь жизни, чтобы самому, может быть, научиться излучать свет искусства.

Едешь по дороге жизни, но не замечаешь, что едешь. Только изредка догоняют тебя яркие впечатления прошлого. И то такие нечеткие, размытые, но приятные. Всегда такие милые, что сердце радуется. Даже мрачные страницы ушедших дней окрашиваются розовыми красками. Ты хочешь остановиться, но дорога убегает из-под тебя, выкатывая новый день, а за ним - другой, третий...

Понимать жизнь, как реку, очень полезно для размышления о колесе вечности. Вот течёт река, и вместе с ней течёт твоя жизнь. Случайно, спонтанно, и намеченно, равномерно. Всё на этом и прочих светах расписано до запятой. И твоё появление записано в книге вечности. Как расписан ход светил, являющихся всего-навсего атомами, которые находятся в несметных

количествах в теле каждого вечного жителя земли, у реки, прозрачной до дна, где плавает маленькая рыбка возле золотящегося камня. Не надо ничего придумывать для продолжения текста, который задумывался на берегу Москвы-реки туманным утром с дождем и снегом. Рассказ подобен реке, струится сам по себе без моего участия, ибо был написан несколько миллионов оборотов назад кольца вокруг электрона вздоха. В едином потоке реки вечности продвигаются все тела, скрещённые накрепко друг с другом, всех времён и народов.

Ну, вот и еще один круг вокруг солнца я совершил без билета, бесплатно, созерцая ночные и дневные космические светила. Но каждый мой такой оборот превращен мною в буквы. Вот интересное слово «буква». Это слово говорит о юности русского языка, о коротенькой истории территории, которой приклеили название «Эрос». Итак, рассматривая слово «буква», вижу её английское происхождение. «Book» - книга. Ну, об «эросе» и говорить нечего. Его знают даже в начальной школе, вода указкой по географической карте и говоря: «Россия». А тут еще попадаетея вилка. И вилка из-за границы. «Welcome» - это же наша вилка! А наш глаз по-английски - это рюмка: «Glass». И тут же вспомнил семейство Глассов из рассказов Сэлинджера. Семья Рюмкиных. Рюмки.

Я очень люблю сахар. И не просто потому, что он сладит чай, а потому, что он это делает тихо, незаметно и сам исчезает с глаз долой. Не было и нет. А сладко. Такое же впечатление остается от вежливых людей. Они приходят всегда вовремя, с ними легко говорить, они не противоречат, ничего не доказывают. И, главное, уходят всегда так вовремя, даже чуть опережая это «вовремя», что оставляют сладкое чувство, как растворившийся сахар в чашке чая. Особенно мне сладостны прозрачные стихи, но в них есть сладость, и я знаю, что там был когда-то сахар, но исчез.

Как-то раз в солдатской юности я возвращался ночью из самоволки в часть. Поезда уже не ходили. Я шел по линии железной дороги. В мороз. В какой-то момент я понял, что у ме-

юрий кувалдин

ня ноги превратились в лёд. Я остановился. Стал смотреть на свои сапоги, как будто пытался разогреть их взглядом. Когда же поднял голову, то в сторонке увидел слабый огонёк. Я спустился, едва держа равновесие, с заснеженной насыпи, и напрямик по сугробам двинулся на тот огонёк. То была избушка путевой обходчицы, старухи, которая не побоялась меня ночью впустить. Усадила на лавку у печки. Налила горячего чая с сушеной малиной. Дала ломоть хлеба. За печкой послышалось шевеление, потом выглянул огромный, с блюдце, синий глаз. Потом показался розовый нос и такой же розовый язык.

"Наша улица" №174 (5) май 2014

НЕВЕСТА

На первом курсе я влюбился. Звали её Валечкой. Худенькая, черноглазая, с длинными ресницами и с видом невинной школьницы. Целоваться она не очень любила. Только я свой язычок к её язычку прислоню, как она тут же отстранялась, и обидчиво тоненьким голоском восклицала:

- Нет, не надо. Вот распишемся, тогда...

В то время я уже кое-что писал, читал Валечке. Она молча слушала, но суждения свои скрывала, а, может, не понимала того, что я писал.

А читал я ей примерно такое:

«Удивленный Блинов широко открыл рот.

- ...Да, пишу стихи, - продолжил молодой человек, поправляя ворот старенького свитера под горлом. - И вынужден заниматься такими делами, - он кашлянул, - разбираться, протоколировать... Да еще выслушивать смешки... Но я вам скажу откровенно, вы, видимо, не совсем чувствуете время, в которое мы живем...

- Почему вы со мной откровенничаете? - спросил Блинов. - Может быть, у вас метод работы такой?

Молодой человек вышел из-за стола, стал расхаживать вдоль стены, увешанной портретами и плакатами.

- Метод... - как бы про себя повторил он. - Мне двадцать четыре года. Какой там может быть метод... Но то, что вокруг нас происходит что-то не так - это я понимаю... Мне вас нечего стесняться, мы почти что ровесники... Вы воевали? - вдруг спросил он.

- Да, - ответил Блинов, пристукивая тростью по полу.

- Понятно. Я тоже, не доучившись на юрфаке... Не на передовой и не по-геройски - рокадные дороги прокладывал: кирка, лопата и бревна... О передовой по далекому артиллерийскому гулу догадывался. В лесах, по болотам... Но дело, разу-

меется, не в этом... Я хочу вам сказать, что вы влипли в серьезную историю... Значит, "Философию печали", говорите, пишете? - спросил он, долгим и задумчивым взглядом окидывая Блинова.

- Это я так, - смутился тот. - Но пишу, пока не знаю, что получится... Хотя возникновение мысли, необычайной мысли - для меня процесс мучительный. Я прежде увидел одинокое озеро на широком лугу, изрезанном глубокими тенями продолговатых облаков, тянущихся вдоль горизонта. К озеру идет философ... Понимаете, - и тишина! Звук жужжащего шмеля: ж-ж-ж-жз-жз-жз! Мир, подобно ребяческой погремушке, сотрясается где-то в стороне, недосыгаемой стороне. А философ идет к озеру... Он всю жизнь идет к озеру. Облака, как шершавые черепахи, ползущие по небу полудня. Солнце то скроется, то... Вопиющее, страдающее сердце философа, брошенного в туманную точку среднерусской местности. Совершаются на земле где-то войны, перекаленные люди безумно доказывают друг другу недоказуемое, а философ идет к озеру. Век проходит, и ничего у философа и с философом не случается. Ничего. Широкий, утопающий в ромашках июльский луг, воздух дрожит и струйками вздымается к небесам, а философ идет к озеру. И все - век: поход к озеру! Жизнь, совершенная на периферийности жизни...

- Странно, а почему - философ? - выслушав, спросил молодой человек.

Наступило молчание. Блинов через некоторое время, подумав, сказал:

- Понимаете, девятнадцатый золотой век русской мысли, век необычайных метаморфоз, век противоречий, войн, борьбы... Разночинцы, народовольцы, покушения и убийства царей и министров... И философ, который обо всем этом понятия малейшего не имеет, он ни разу не выезжает ни в какой город, он не выписывает календарей, не читает газет...

- Утопию сочиняете, - усмехнулся молодой человек. - А почему вы о современности не думаете? Я ведь так понимаю, что о девятнадцатом веке сказано достаточно...»

Много лет спустя, это стало романом «Философия печали».

Итак, у нас с Валечкой дело шло именно к женитьбе. Очень уж Валечка мне нравилась именно своей строгостью, цельностью, девичеством. Не раз она бывала у нас в гостях, когда отец, в ту пору еще полковник, наливая шампанское, возглашал:

- В дисциплине и строгости рождается настоящая семья.

А моя мать показывала Валечке свои наряды, которые перейдут после свадьбы Валечке. Отец много разного тряпья и барахла привёз из Германии.

Тогда ещё у нас был патефон. И набор пластинок, в 78 оборотов, рижской фирмы грамзаписи «Беллакорд», на которых были записаны песни в исполнении Петра Лещенко (баритон): "Алеша", "Андрюша", "Вернись", "Возле леса у реки", "Два сердца", "Друзья", "Звуки гитары", "Лола", "Любимая", "Марфуша", "Метелица", "Миша", "Мусенька", "Настя", "Не уходи", "Прошка", "Рюмка водки", "Стаканчики граненые", "Татьяна", "Уйди", "Утренний рассвет", "Цыган" и другие.

Отец обожал Лещенко, и пел вместе с пластинкой:

У самовара я и моя Маша
Вприкуску чай пить будем до утра...

И я бывал в доме у Валечки. Её мать ходила в шелковом халате, который при мне почему-то частенько разъезжался, как театральный занавес, обнажая очень белые и очень полные бедра с синими прожилками, как будто мраморные.

Даже при ней я читал Валечке развитие моего Блинова:

«Действительно, Достоевский какой-то журналист, репортер. Молотит, молотит, как язык не отсохнет! Из "Раскольникова" вообще можно одну главу лишь оставить - первую... Но иногда... Иногда он доходит до каких-то необычайных вершин. И как ему, черт возьми, удается! Ума не приложу! Вот, к примеру, - Блинов достал записную книжку, и, найдя нужное, с жаром принялся читать, скандируя и размахивая руками: "Тут, брат, нечто, чего ты не поймешь. Тут влюбится человек в ка-

кую-нибудь красотку, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского (это сладострастник может понять), то и отдаст за нее собственных детей, продаст отца и мать, Россию и отечество; будучи честен, пойдет и украдет, будучи кроток - зарежет, будучи верен - изменит. Певец женских ножек, Пушкин, ножки в стихах воспевал; другие не воспевают, а смотреть на ножки не могут без судорог. Но ведь, не одни ножки... Тут, брат, презрение не помогает, хотя бы он ее и презирал. И презирает, да оторваться не может... А вот тебе еще один случай. Приходит к старику патеру блондиночка, лет двадцати, девушка. Красота, телеса, натура - слюнки текут. Нагнулась, шепчет патеру в дырочку свой грех. "Что вы, дочь моя, неужели вы опять уже пали?.. - восклицает патер. - О, святая Мария, что я слышу: уже не с тем. Но доколе же это будет продолжаться, и как вам это не стыдно!" - "Ах, мой отец, - отвечает грешница, вся в покаянных слезах. - Это доставляет ему такое удовольствие, а мне так мало труда!"... Красота - это страшная и ужасная вещь... Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут... Иной, вышший даже сердцем человек, и с умом высоким, начинает с идеала мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит... Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает, что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красоты. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, - знал ты эту тайну или нет? Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с богом борется, а поле битвы - сердца людей", - Блинов захлопнул книжечку и сунул ее в карман. - И при всем при том у него много лишнего. Даже в "Бедных людях" и то есть, что сократить... Потом, возьмите "Село Степанчиково". Ну, кто в жизни говорит такие длиннющие речи, такие монологи! Дай бог, пять-десять слов друг другу скажем и готово, договорились, поняли друг друга... По мне уж ближе Писемский или Гончаров. Это худож-

ники! Рассуждают мало - больше показывают. Один "Обломов" чего стоит!»

Мать садилась в низкое кресло, обнажив круглые колени, и говорила:

- Сложно у вас выходит.

Валечка молчаливо вздыхала.

С Валечкой мы ходили частенько в кинотеатр «Метрополь», где шли трофейные фильмы, и, конечно, «Девушка моей мечты» с Марикой Рёкк. Водил я Валечку и на футбол, на «Динамо». Валечка оживленно хлопала в ладоши, когда наши - ЦДКА - забивали, или чуть ли не плакала, во всяком случае, одна слеза крупной каплей падала на щечку, когда мы проигрывали.

Потом я долго провожал её, стараясь как следует обнять и поцеловаться враспашку. Но это почти никогда не удавалось, поскольку Валечка повторяла заученное:

- После свадьбы.

Да, уже подходило время регистрации наших отношений в загсе. Стоял жаркий май. Мы поехали в Серебряный бор купаться. С нами поехал мой лучший школьный приятель Славка, родители которого недавно получили новую квартиру на Ленинском проспекте, напротив Нескучного сада. Со Славкой была рыжеволосая с конопушками Ленка.

Конечно, купили вина. Загорали, потягивая сухое, заедая его шоколадом. Все, кроме Валечки, которая сидела в платье и в соломенной шляпе под тентом, купались.

- Я не умею плавать, - попискивала она. - И не люблю загар. Я хочу быть беленькой.

Вместо сумки я всю дорогу таскал с собой отцовский военный планшет, набитый моими рукописями. Я читал какие-то новые фрагменты:

«Блинов молча подсел к верстаку, взял предложенную картофелину в "мундире". Почистил ее, густо посолил, сунул в рот.

Уминал картошку Блинов, поглядывал на Якова, удивлялся самому себе, что за каких-то четыре часа пообвыкся в складе,

свету как будто в нем прибавилось, притерся к телогрейке, которая из холодной превратилась в жаркую, да и в работе смысл отыскался: ходи, набирай по накладной детали, складывай в ящик, а сам, между тем, думай любую думу, только вот мозоли появились на руках, да поясницу стало поламывать, но это от непривычки.

Однажды Яков, к слову пришлось, рассказал о себе, как он воевал. Блинов запомнил. 1941 год, битва за Москву (сам Блинов был мобилизован в начале 1944). Наступление немцев началось в самом конце сентября массированными ударами танковой группы Гудериана.

Была изморось, плотная стена тумана застилала взор. Взвод, в котором служил Яков, отрезанный от роты, пробивался редколесьем из окружения. Слева, из-за белесого марева строчил пулемет, заставляя бойцов ложиться и ползти. Время терялось, и никто не знал, вместе со взводным, на сколько километров продвинулся противник в нашу оборону. Пулемет строчил, отрезая дорогу для отступления.

Яков и еще один красноармеец поползли к пулемету. Граната была одна, патронов для трехлинейки - не густо. Обмотки на ногах вымокли, ноги казались чугунными. Подползли справа незаметно. Швырнули гранату, она не взорвалась, отсырела, что ли. Яков вскочил и в три прыжка оказался у пулемета, свалился на него. Садануло в пах.

Так вот отвоевался Яков. Крови много вышло из него, но очухался в госпитале, где провалялся около года.

- У-убить т-трудно человека - живуч! - смеялся Яков, теребя свои черные усы».

- Ну, ты даёшь! - вскричал Славка. - Этот Яков у тебя, что, как Александр Матросов?

- Матросов - это символ, а на пулеметы ложились тысячи. Отец рассказывал такое, что волосы дыбом вставали, - сказал я.

- А поехали-ка лучше ко мне, - сказал Славка, когда мы уже подъезжали на троллейбусе к «Белорусской». - Родители смо-

тались на дачу, так что посидим спокойно. У меня маг новый и Билл Хейли записан.

Время было еще не позднее, часов семь вечера. Славкина подружка поддержала:

- Поехали! Потанцуем!

Ну, мы поехали.

Сначала Славка выставил на стол одну бутылку коньяка.

- У отца реквизировал.

Потом, по мере продвижения веселья под рок-н-ролл «Вокруг часов», который крутили раз двадцать, если не меньше, так что соседи снизу стучали шваброй в потолок, чтобы мы сделали звук потише, Славка выставил вторую бутылку.

Мы совсем маг отключили, потому что я еще кое-что почитал:

«Вышел Блинов на широкую улицу, против каких-то высоких желтых гаражей. Оркестр отчетливо заиграл слева. Блинов свернул на его переливы и, пройдя несколько метров, увидел ярко освещенную площадку, зеленую арку с надписью “Сад Эрмитаж”».

Блинов пошарил в карманах, выгреб медь, купил билет и оказался в веселой толпе отдыхающих, гуляющих, танцующих. На лотке продавалось мороженое. Блинову захотелось попробовать его, но весь наличный капитал, к сожалению, был использован на входной билет. Облизнулся Георгий Блинов, потер красивый нос и пошел к раковине эстрады, где восседали военные оркестранты.

Блестели медь и серебро, сияли красные, зеленые, желтые, синие прожекторы, расписывали на свой вкус, словно художник акварелью, пеструю толпу. От работы на воздухе музыканты покраснелись. В фуражках с красным околышем, в затянутых ремнями кителях с двумя рядами латунных пуговиц они напоминали кукольных персонажей из сказок Андерсена или фантастических новелл Вельтмана. В перерывах между вальсами и маршами они слегка ежились, разминали немеющие пальцы.

И вновь шевелились, приставляли мундштуки инструментов к синееющим губам, надували румяные щеки, скашивали внимательные глаза на низенького майора-дирижера, под кителем которого ходуном ходили острые лопатки, и по взмаху его руки в белой перчатке начинали “Амурские волны”...

Музыка ударила в толпу, люди сдвинулись с мест и пары, одна за другой, закружились на асфальте, шурша плащами, шаркая сапогами и ботинками. Вскидывались полы пальто, девушки поддерживали шляпки, кавалеры обнимали партнерш за талию, выставляли в сторону сцепленные руки.

Тут и там стояли кучки молодых парней в кепках, надвинутых на глаза, смолили папиросы, поблескивая стальными зубами. Сплевывали они по обыкновению через плечо, говорили “ша!” и насвистывали, вопреки оркестру, “Мурку”: “Ты зашухерила всю нашу малину и за это пулю получай...”, - тянул кто-то гортанным хриплым голоском...

Когда Блинов сидел на ящике у склада вместе с Яковым, грянувшая музыка оркестра, донесшаяся до него, показалась загадочной, манящей, но как только он вошел в “Эрмитаж”, увидел оркестр, все очарование пропало. Видно было, как трудятся музыканты, как с отсутствующими лицами дуют в свои трубы, берут нужные ноты. Когда оркестр был невидим, казалось, что кто-то веселый делает один всю музыку под синим небом московского вечера.

И всегда так бывает, когда ты, допустим, идешь расстроенный чем-то полутемным переулком и вдруг в каком-то окне слышишь звонкие радостные голоса, видишь, как мелькают за шторами руки, доносятся до твоего слуха звуки патефона, и тебе кажется, что именно там, за этими окнами, происходит что-то самое важное, таинственное и прекрасное, что именно туда бы ты хотел ужасно попасть, и щемит твое молодое сердце, тянет туда... Но вот, положим, ты оказываешься там, видишь самые обыкновенные картины: Иван Иванович уже пьян и норовит лицом упасть в тарелку с винегретом, патефон крутит маленькая девочка в красном сарафанчике, а некрасивые, угрюмые

женщины пьют чай, лузгают семечки и злобно судачат о соседях. Ко всему прочему поет никогда не выключаемое радио. А с улицы-то тебе казалось!»

После этого Славка выставил ещё одну бутылку.

Я, откровенно говоря, поплыл, и даже упал, когда хотел сделать кувырок, который в трезвом виде делал спокойно.

Потом всё как-то оборвалось.

И я увидел на отцовском большом письменном столе, столешница которого была обтянута зеленым сукном, пулемет, который как-то странно медленно строчил в меня. А я шел на дымящийся от перегрева ствол, откуда вылетали свинцовые пули (тут в голове моей почему-то мелькнула фраза: «Строка печатная, газетная, как пуля, льётся из свинца»), и пробивали мое тело. Я чувствовал как пули гвоздями прибивают меня к кресту. На голове моей была красноармейская будёновка моего отца, в которой я любил бегать по коридору с деревянной саблей, играя с мальчишками в войну, в этой будёновке со звездой отец сфотографирован на своём коне, красный командир. Я был в будёновке прошит пулями, и в трусах, при этом босиком. Но ноги мои ступали по красному озеру, алмазно сияющему в алых лучах заката. Я уже был убит, мёртв, но понимал, что я не убит и не мёртв, поскольку осознавал, что я убит и мёртв. Если бы я был действительно убит, то я бы не понимал этого. А тут ещё голос Славки послышался. И одно слово долетело до меня: «...мёртвый...». Он, наверно, сказал, что я сплю, как мёртвый, но донеслось лишь слово "мёртвый". А пулемётом билось мое сердце, поднимающееся к горлу, и готовое вырваться изо рта. Всё тело изнывало от пуль.

Я открыл глаза и увидел фонарь в окне. Голова сильно болела, меня подташнивало, и хотелось в туалет. В полубредовом состоянии, босиком, в трусах, я вышел в коридор, приоткрыл первую попавшуюся дверь, думая, что в уборную, но то была маленькая комната, где в предутреннем размытом свете моя девственница Валечка в диком сексуальном экстазе совокуплялась со Славкой. Я не мог поверить в происходящее. Стоял, как

дуб, созерцая голые ягодицы Славки, раскинутые и поднятые к потолку ювелирные ножки Валечки. Славка работал со скоростью паровой машины, вталкивая поршень в цилиндр с невероятной быстротой, отчего Валечка постанывала: «Ой-ой-ой!».

Я даже не стал разворачиваться, я тупо попятился бесшумно. Оделся и так же осторожно буквально выскользнул из квартиры.

На другой день к вечеру Валечка звонит и грозно пищит в трубку:

- Какой же ты негодяй! Я глаз не смыкала, всю ночь, как дура сидела на кухне, читала. А ты исчез с этой... - она сделала паузу, - шлюхой...

Оказывается, Ленка, подружка Славки так же, как и я в какой-то момент исчезла. Но когда точно, никто не знал. Может быть, она тоже видела совокупающегося с другой своего ухажёра?

Я не стал оправдываться. Просто сказал, что свадьбу придется отложить, потому что меня забирают в армию.

Что соответствовало действительности. Отцу я кое-что намеками поведал, он меня понял и сказал:

- Не расстраивайся. Найдёшь другую.

Сказал он это очень обычным голосом, как о деле, не требующем внимания.

И тут же отправил служить.

За что я отцу очень благодарен.

С тех пор с женщинами я стал очень осторожен, не то что не доверял, а как бы постоянно помнил свой опыт, зная, что свою любимую никому и никогда не надо даже показывать, не то что куда-то водить в гости. А вдруг?

МОЯ ВЕЧНОСТЬ

Я родился... Каждому читателю важно знать, когда и где я родился, какая пара соединилась, чтобы я выполз из нежной пурпурной раковины лона между раздвинутыми белыми бёдрами головой вперёд, головой довольно большой, с реденькими волосиками, налипшими в красноватой слизи к «черепной коробке», как впоследствии именовали мы свои головы в школе. Надо еще сказать, что я родился во вторник, в 10 часов 17 минут. Голова моя уже вылезла наружу, а руки, прижатые к розовому тельцу, только начали появляться, но я уже огласил роддом на Язуе своим звонким голосом.

Пусть всё идет так, как идет, не стоит тревожить судьбу, она к тебе благосклонна и посылает тебе, как священный дар, внезапную любовь. Я всегда писал художественно, из-за одной единственной любви к хорошему слову, к фразе, наполненной изобразительными средствами языка, его тайнами. Все в нашем мире движется любовью, и совершенствование человека идет через удовольствие. Любовь не имеет возврата.

Если хорошенько подумать, то возраст человеку совершенно ни к чему. Человек разделен на две половины - на белогвардейцев, те, которые с крестом, и на - красных - те, которые с молотом. Понимаете, на крест прибавляют человека, из которого получается Бог. Но женщина идет по улице без возраста, волосы девичьи распущены, сапоги на шпильках, шубка серебрится. И стоит толстяк в дубленке. Двое они делают одно. Никто не знает, что, но получается третий, с двумя полушариями в одной голове. Этого я никак понять не могу, хотя молотом крещусь пред Распятым.

Сначала о христианской евхаристии. В ней явлена Любовь (согласно евангелию от Иоанна, Бог есть Любовь - Эрот, Эрос, Херос), жертвоприношение плоти и крови, когда эта жертвенность обожается.

Наивысшее наслаждение возлюбленные получают, если в момент оргазма воочию присутствует и ощущается Смерть. Поедание тела Христа, не символическое, а натуральное - одно из удовольствий Эроса. Наивысшее удовольствие в сексе - это стать одновременно и палачом и жертвой, ощущая сразу страдание и наслаждение. Наивысший оргазм достигается тогда, когда в нём сливается желание наслаждения и желание смерти.

В беспмятные времена человек был не такой, как теперь, а совсем другой - жили андрогины, сочетавшие в себе оба пола - мужского и женского. Тело у андрогинов было округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же, сколько рук, и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых; голова же у двух этих лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая, ушей имелось две пары, столько же детородных устройств, а прочее можно представить себе по всему, что уже сказано. Передвигался такой андрогин либо прямо, во весь рост, - так же как мы теперь, либо, если торопился, шел колесом, заноса ноги вверх и перекатываясь на восьми конечностях.

И вот Зевс решил разрезать каждого из них пополам, и тогда они, во-первых, станут слабее, а во-вторых, полезней для Зевса и богов, потому что число их увеличится. И ходить они будут прямо, на двух ногах.

И Зевс стал разрезать людей пополам, как разрезают яблоко или как режут яйцо ножом. И каждому, кого он разрезал, Аполлон, по приказу Зевса, должен был повернуть в сторону разреза лицо, чтобы, глядя на свое увечье, человек становился скромней, а все остальное велено было залечить. И Аполлон поворачивал лица и, стянув отовсюду кожу, как стягивают мешок, к одному месту, именуемому теперь животом, завязывал получавшееся посреди живота отверстие - оно и носит ныне название пупка. Разгладив складки и придав груди четкие очертания, - для этого ему служило орудие вроде того, каким сапожники сглаживают на колодке складки кожи,

- возле пупка и на животе Аполлон оставлял немного морщин, на память о прежнем состоянии. И вот когда тела были таким образом рассечены пополам, каждая половина с вожделением устремлялась к другой своей половине, они обнимались, сплетались и, страстно желая срастись, умирали от голода и вообще от бездействия, потому что ничего не хотели делать порознь. И если одна половина умирала, то оставшаяся в живых выискивала себе любую другую половину и сплеталась с ней, независимо от того, попадалась ли ей половина прежней женщины, то есть то, что мы теперь называем женщиной, или прежнего мужчины. Так они и погибали. Тут Зевс, пожалев их, придумывает другое устройство: он переставляет вперед детородные их части, установив тем самым оплодотворение женщин мужчинами, для того чтобы при совокуплении мужчины с женщиной рождались дети и продолжался род. Вот с каких давних пор свойственно людям любовное влечение друг к другу, которое, соединяя прежние половины, пытается сделать из двух одно и тем самым исцелить человеческую природу.

Таким образом, любовью называется жажда целостности и стремление к ней. Ведь тому, чем надлежит всегда руководствоваться людям, желающим прожить свою жизнь безупречно, никакая родня, никакие почести, никакое богатство, да и вообще ничто на свете не научит их лучше, чем любовь.

В сущности, Христос - это Эрот (Херос) из «Пира» Платона.

Изучим книги, старые как мир, чтобы самим явиться миру книгой, пока по жизни время-конвоир тебя ведёт к уничтожению мига твоей вселенной. Да, ты прожил миг, такой же миг, как Данте Алигьери, но даже малой доли не постиг, такой, что он постиг в небесной сфере. Не в теле жизнь, а в старых вышших книгах. В бегущих буквах держится душа. Даруется бессмертье вместо мига тому, кто пишет, жизнь в словах верша. Устало тело, кончилось дыханье, упало в яму, как осенний лист. А что осталось? Только воздыханье на кладбище, где воздух тих и чист. Да, тихо там, всё чисто. Ужас скуки - в бесследно

исчезающих телах. Лишь ветерка волнительные звуки тоскливо дребезжат в колоколах.

Но до этого я, конечно, наблюдал ритмичные, сами собой возникшие пульсации маточных мышц, которые, подобно розе, распускающей лепестки, раскрывают шейку матки от естественного почти незаметного размера до 10 сантиметров. Ждать мне пришлось довольно продолжительное время, примерно 12 часов.

Мёртвые смиренны до забвения. Море мрака в свете мерзлых звёзд. Смерть диктует вечное рождение - сладостной любви апофеоз. Мера измерения смирения. Смерть за измерением идёт. Мёртвые измерены мгновения. Слёзы, превращаемые в лёд. Мира усмирённого отчаянье. Льду положен северный мороз. Но и на него приходит таянье. Смерть диктует правильный прогноз.

Колёса жизни медленно вращаются. Повозка едет, воз везёт сама. Земные тени вечно возвращаются, чтобы узреть, когда наступит тьма. Вот Рождество! Для всех, кто нарождается, единый день явления на свет. А колесо по-прежнему вращается. И темноты всем не избежать, нет. Воз возвращает. Воз везёт, вращается. Вращает воз земную ось Земли. И посему тьма каждому прощается, поскольку свет затем вкусить смогли. Вся наша жизнь сплошное возвращение. Вращение божественных колёс. Поставлен крест, но будет воскрешение. Везёт Земля людей бессмертных воз.

Однако я заглянул в ещё более ранний период моего появления. Я видел, как созданный по образу и подобию папа лёг на маму, которая широко развела ноги, показав всю прелесть своего виноградника, с розовым входом в иерусалимские сады, а отец, отекающий в матку, отче, отечёше семенем, сам ставший Господом, возвеличившимся во весь рост, снял шапку, обнажив сиреневую крепкую звенящую голову, и въехал на ослике в сад. И так он ездил туда и обратно, пока не воскликнул: «Се будет новый человек!».

Предвосхищение идёт до восхищенья. А до рассудка будет предрассудок. Ты ещё ничего не почувствовал, но уже появи-

лось что-то такое, что можно назвать предчувствием. То есть перед чувством существует нечто, что не нашло особого слова. Преддождевое небо ждёт дождя. Приставка - «пред», а «осторожность» - корень. После этого можно не бегать глазами по строчкам, поскольку понял, что дальше появится чувство, ибо уже «пред» было. Преддверие, предтеча, предсказание. Предсмертные записки угасанья. Ну, а до вкуса будет предвкушенье.

Белая сирень пенится в снегу. Дует ветерок. Снег клубится. Дует ветерок. Жёлтый лист крутится. Дует ветерок. Цвет волны меняется. И фонарь качается. То в снегу, то в листьях золотых. И сам столб качается фонаря высокого, тени искажаются на стене глухой. Поднялся ветерок, стал морщить гладкую воду. Ветерок студёный дует в лицо, вызывает слезы. Снег идёт морскими волнами. А сначала грозди свежей сирени висят, покачиваются на легком ветерке.

Люди, живущие животной жизнью, хотят непременно жить вечно, без смерти. Одна женщина в очереди спросила: «А разве человек - животное?» Видите, едят и не знают, что у них есть живот. А у женщин из живота вылезают новые люди. Всё, как у лошадей, кошек и ежей. Смерть ими исключается из плана жизни, и всячески замалчивается. Но, если этим людям дать жизнь без смерти, то сразу же исчезает любовь, ибо не нужно воспроизводить более себе подобных. Уничтожаются половые органы, всякие вагины и фаллосы. Человек становится бесплодным и от этого убивает себя на второй же день бессмертия. Смерть есть продолжение любви, бесконечного мирового повторения одного и того же: совокупление, зачатие, рождение, жизнь, смерть, и сразу же совокупление. Можно сказать, что совокупляются прямо у гроба. Это высший символ жизни как бесконечного секса.

По переулкам гулким вечернею прогулкой туда и обратно. Во время прогулки все темы и герои перемешались в голове, и, как только пришел домой и сел в своей рабочей комнатке к компьютеру, так слова сами собой соединились во фразы. Сам по себе...

Москва звенит, как ларь, пружиной заведенный, леденящий. Качается над пропастью фонарь, качается, над бездною летящий... И горизонт подсвеченный широкий, и купол над Москвой завис высокий, и бледный луч уже идет с востока, и смысл на всех и вся лежит глубокий. А где-то над стеной и в нишах гулких, а где-то над рекой в обводах гулких, сторожевой стеной и башнях гулких, береговой квартал в обводах гулких, как будто музыкальная шка-тулка над куполами колоколен гулких качается, качается фонарь. Луна в зените, светит всем на свете.

Вот в том-то и дело, что когда подумаешь, чем связан с миром, то сам себе не веришь - ерунда. Ерунда начинается с любви, зачатия, беременности и выхода из Родины на свет Божий. Ибо Бог и произвел тебя. А ты всего этого не видишь и заключаешь сам себя в тюрьму социума: школа, институт, учреждение, пенсия, могила. Это еще хороший социальный путь. А может быть такой: обожает до безумия Бутырскую тюрьму, потому что родился прямо в тюремной камере и она ему кажется домом родным.

Редко бывает в Москве палящее солнце, но бывает. Редко в Москве бывает лютая стужа, но бывает. Редко в Москве бывают тропические ливни, но бывают. Редко в Москве бывают наводнения, но бывают. Редко в Москве бывают песчаные бури, но бывают. Редко в Москве бывают ледяные дожди, но бывают. Редко в Москве бывают землетрясения, но бывают. А когда Москва стала прозападной и отделилась от Золотой орды, поставив на купола мечетей кресты, никто не помнит. Может ли отдельный человек держать все эти редкости в своей голове? Нет, не может. Вместо головы человека существует книга. Индивидуальный человек появляется и исчезает. Причём, производство его значительно легче, приятнее и надёжнее, нежели производство компьютеров. Книга вечна. Человечество, как операционная компьютерная система, работающая в цифре и знаке, бессмертно, вечно.

Невежество воспроизводится ежесекундно с зачатием нового существа. Другая реальность творится на основе не быв-

ших задуманных Богом вещей, хотя сам Бог стоит в начале любого зачатия, потому что Он и есть Начало. Целый символ веры в этом - крест, зачатие, жизнь, смерть, бессмертие в тексте, в Слове. Подтекст скрывает любовь в прямом понимании для зачатия...

Всякий афоризм гения нужно подвергать сомнению. Говорят, пишите кратко, ибо теперь некогда читать длинные вещи. Ну. И не читай. Смотри ящик. Глупей планомерно с вертикалью власти. Я пишу так, как хочу. Где нужно - длинно, а где - кратко. Дело не в этом. Разные настрои и повороты души. Дает неопытный автор полстранички, говорит, что он тут всё сказал. Я из одной его фразы сделал страницу текста. Мёртвая фраза превратилась в чувственную картину. Ну, я так, - говорит, - не смогу. Я давно заметил, что малоталантливые люди больше двух трёх примитивных фраз написать не могут. Картинки шлёпать в фейсбуке - это пожалуйста, большого ума не требуется. Младенец входит в язык через привычку и повторение. То, что обычный человек переносит на, - как ныне модно говорить "грузит", - другого человека своими проблемами, или наоборот, эмоциональным строем своей души, то писатель, находясь в одиночестве, все это передает в тексте. "Краткость - сестра таланта", - сказал где-то и как-то Чехов. Но сам он писал абсолютно иначе. Хорошо, но это сказал Чехов. А я говорю решительно противоположное: сестра, удались от таланта, ибо краткость - свойство бездарности!

Утекающая из-под ног земля. Когда теряется смысл, дополнения бесполезны. Вы мне можете прямо и без всяких уклонений ответить, сколько раз Земля облетела Солнце? С момента зачатия и рождения? Правильным ответом будет - 8. Потом вездесущая шестерка прикинется девяткой. И она уже не считается, она не нужна, её нет. Счёт идет только до 7. Это нужно затвердить как таблицу умножения. Умножай не умножай, а с лица Земли исчезнешь бесследно. На 3-м, 5-м или 7-м кругу. Можно и на первом. Четных кругов не бывает. Круги есть только нечетные, которые не делятся на 2. А дроби - это

всё пустое и напускное, для социалистической философии. Стало быть, Земля вокруг Солнца облетела всего лишь 7 раз. Ты опоздал словом обозначить это постоянное утекание, как будто ты стоишь на эскалаторе в метро и никак поездка на этой лестнице не кончается. Нет хода назад, нет хода вперед. Куда?

Искрит от искренности, когдаходишь в раж, дуешь без оглядки. И тут дело даже не в том, что ты говоришь правду в момент вымысла, а в удовольствии от свободно льющегося текста без чьей-либо указки, от самой ткани текста, который нужно уметь ткать. Пиши искренне и художественно, не боясь властей, потому что правда и Бог в тебе. Искренность, правда, художественность являются основополагающими принципами в творчестве настоящего писателя, то есть такого писателя, который пишет для себя. Правда и только правда, сама матка правды и ни шагу назад. С одним своим персонажем я исполнил роль могильщика на кладбище в Салтыковке, зарыли три гроба с безвестными телами и, Богу "помолимшись" и чаю "напимшись", с бутылками в карманах поехали в Храпуны, к еще одному моему персонажу из другой, правда, повести. Как-то смотрели мы с ним фильм какой-то... я уж не помню, какой... и такой вроде бы свежий фильм, такой фильм советских времен... вроде бы чувство правды там есть, все там так под правду... но самой правды так и не дождались, и разочаровавшись, выпили по стакану. Правда колет глаза колхозными вилами. Терпение, терпение, и всё придет, правда, поздно, но обязательно придет. Кстати говоря, слово "правда" происходит от слова "первый", стяжка идет по такому пути: первый-првый-правый-правда.

Если ты на самом деле думаешь, что о тебе персонально заботится Господь, то ты глубоко заблуждаешься, ибо Господа интересуешь не ты конкретно, а тело человека, то есть все люди без изъятия всех времен и народов. Но «изъятие» осуществляет сам Господь, выбраковывая из вневременного бесконечного и бессметного процесса те индивидуальные тела, ко-

торые не могут устоять пред самыми примитивными соблазнами, как то водка, наркотики, элементарные (и не только) болезни. Господь выбраковывает людей без всякого сожаления. Выживают нужнейшие Господу, сильнейшие, самые стойкие. В одном месте зомбированные границами и диалектом (языком) одного всемирного языка Господа, перестают размножаться, не вступая в контакты с плодящимися как мухи первобытными племенами, коим запрещены «верой» телевизоры, компьютеры, балалайки и матрешки. В одном месте убывает, в другом прибывает тел. Господь швыряет тела в общее дело с избытком, и в этом залог бессмертия человечества, причем при таком вечном двигателе, как деле Господа - бесконечном сексе с зачатием. Проходя мимо Зачатьевского монастыря с новым собором с фаллосами Господа, веришь в бессмертие всемирной души, которая уже сливается в экстазе, чтобы услышать ангелов, и увидеть небо в алмазах!

Мелкие людишки живут в собственной скорлупе, и из-за этой скорлупы не видят совершенных образцов литературы и искусства, да и вообще мира не видят, выставя самих себя венцом творения. Главное их свойство, по-моему, не замечать успехов других, обругать кого-нибудь они ещё способны, но чтобы похвалить (поставить, как ныне говорят, лайк) - никогда, ни при каких обстоятельствах, нет, ни в коем случае, ибо они видят себя только на трибуне суда над миром и надо всеми людьми, и право этого суда только у них. Так что они удавятся, прежде чем похвалить кого-нибудь, поскольку в противном случае они признают наличие других величин в этом мире.

Мне кажется, что все птицы и животные бессмертны, потому что они не обладают памятью. Летят себе, бегут без памяти, и мелькают города и страны, параллели и меридианы. Летят утки, летят гуси. И все куда-то каждый год летели. Так вот, летели утки с гусями, и рядом с ними летели казарки и лебеди. Внизу, ближе к земле, с шумом неслись торопливые утки. Тут были стаи грузной кряквы, которую легко можно было узнать

по свистящему шуму, издаваемому ее крыльями, и совсем над водой тысячами летели чирки и другие мелкие утки. И вся эта масса птиц неслась к югу. Я так же несусь в слове.

Металл зимой звенит сильнее. Холодная монетка на ладони. Окно трамвая занавешено снежной занавеской. Прикладываешь согревшуюся в руке монетку к этой занавеске, создавая иллюминатор обзора. Тяжёлые колеса трамвая издают визжащие наждачные звуки, словно во дворе точильщик точит ножи. В кружочек видны окна старых домиков, распаханутые подъезды, ноги прохожих. Лёд дворник скалывает ломом. Глухой грохот льдины, сброшенной с крыши. Трамвай не отапливается, пар выходит из ртов всё прибывающих пассажиров. Возгласы, жалобы, смех, подначки... голоса всепожирающего времени катятся по стылым рельсам судеб.

Сама система жизни, сами условия жизни, её вечное повторение, изо дня в день одно и то же делают человека обывателем. Это мягкое слово «обыватель» не совсем точно выражает суть вопроса. А дело состоит в том, что человек есть животное. И функционирует как животное, с регулярной добычей пищи, с регулярными физиологическими отправлениями, включая божественные сексуальные. Вырваться из животной сущности не удастся никому, кроме писателей, живущих в тексте, не умирающих. Отсюда можно сделать вывод, что дальнейшая судьба человечества будет состоять в переходе от животной сущности к знаковой, бессмертной. Мы будем жить без животной своей части, без тела, за экраном монитора. Наше сознание проснется через знак во всемирной паутине. И любовь будет знаковой.

Иван родил Петра, Пётр родил Ивана, Иван родил Петра, Пётр родил Ивана, главные в поколениях Ивана Петровича и Петра Ивановича, люди воинственные в своих поколениях; число их во дни Ивана и Петра было двести двадцать две тысячи и восемьсот... Теория огромных чисел, теория множеств. Советская власть всё перевернула с ног на голову и темные провинциалы, засевающие в ЦК и в правительстве, продвигали

всюду подобных себе, в том числе и в литературе. И до сих пор число их не сократилось в руководящем стане млекопитающих. Жизнь человека мгновенна: мы родились, мы живем, и все умрем, я в том числе. Число "один" - идея фикс и упрямая догма: вопрос суть двойственность и сомнение, ответ должен "снимать" вопрос. А все мы, в том числе и я, попадаем в знаковую систему и только таким образом, входя в эту систему, становимся бессмертными! Тебе числа и меры нет!

Интересно устроена жизнь. Живешь и чего-то главного не замечаешь, уходишь от этого главного. Отвлекаешься работой, другими делами. А есть какая-то банальная, примитивная сила жизни. Если бы мои родители не повстречались и не полюбили друг друга - не было бы меня. И эта страсть и жажда любви нами загоняется в подполье. Живем так, как будто мы с неба упали, а не появились на свет самым обычным образом. И почему в человеке заложено так много страсти, так много любви. Почему мне каждое утро (каждый день, каждый вечер, каждую ночь, каждую минуту...) хочется женщину, не какую-нибудь, а любимую?! А потому что делом этим занимается сам Господь Бог, имя которого нельзя произносить. Вот всю жизнь занимаемся этим, а говорим о другом. Эвфемизмы повсюду.

Ты композитор знаков, ты буквы, как ноты, выводешь из одной страстной любви к созданию музыки рассказов. И можно спеть что-то вроде: Россия, старая Россия, бараки жёлтые твои, твои напевы воровские, как слезы сталинской любви. Без любви в жизни нет ничего, нет даже самого человека, продукта, производного любви, как и сам Бог, созданный писателями по образу и подобию человека в страстной любви. Бывает так, что ласточка влетает в ворота темные конного двора, когда ты прошел уже километров пять и вышел по улице Заречье к прудам, где конные фигуры Клодта хранят любовь к белоколонной дворянской России.

Шел по теневой стороне улицы 50-х годов. В Москве есть любая эпоха. Квадратные дома с квадратными окнами. С 1-й Дубровской свернул на улицу Мельникова, этакую хрущевскую

новосёлую окраину. Зашел в продмаг, купил два хрустящих конуса мороженого. Посидел на скамейке в пятидесятых годах. Два мужика в майках у трансформаторной будки пили портвейн из горла. Вышел на Симоновский вал, пересек железнодорожные пути, на Шарикоподшипниковскую сворачивать не стал, прошел дальше, чуть свернул на 1-ю улицу Машиностроения, перебежал на ту сторону по диагонали, и углубился в послевоенные дворы, в атмосферу фильмов «Застава Ильича» и «Дом, в котором я живу». Миновав один двор, оказался между допотопными из побуревших выщербленных кирпичей гаражами, ворота которых были выкрашены ядовитой синей краской. Далее тянулся забор с колючей проволокой. Пройдя приличное расстояние по забору, буквально уткнулся в величественный краснокирпичный собор неизвестного храма. На табличке прочитал: Ассирийская христианская церковь. И откуда-то с неба донесся голос деда: это ассириец. Дед указывал на чистильщика обуви против моего «Славянского базара». Однажды я испытал блаженство, наблюдая, как смуглый человек надраивал мои ботиночки, за что я ему уплатил рубль. Было мне тогда шесть лет.

Человек, который любит себя, через эту любовь любит и другого человека, который есть копия того, которого люблю я. Все тираны мира проповедуют обратную любви теорию: полюби диктатора как самого себя, и еще сходи на выборы, на которых заранее известно, что он будет победителем, и проголосуй за него.

Стремишься быть ангелом, а на тебя указывают пальцем. Я так и слышу: он не желает быть как все. Он сторонится нас. Да, я сторонюсь, прижимаюсь к стенке, прилипаю к ней, чтобы только не задеть идущих густой массой прохожих. А как только оказываюсь в общем потоке, в метро, скажем, краснею оттого, что иду со всеми, и эти все не замечают меня. Поезд подходит к станции. Пассажиры не выходят, а вылетают из вагонов. Я продолжаю сидеть, чтобы спокойно выйти последним. Нет, не дают сидеть. Один напоминает, что - конечная. Другой кри-

чит, что приехали. Третий просто бьет меня по плечу. Я извиняюсь перед ним, и молча выхожу на платформу. Останавливаюсь в центре, и стою, глядя в спины бегущим на выход к эскалатору. Многие оглядываются на меня. А одна девушка в шортах, почти обнажённая, презрительно глядя на меня, крутит у своего виска пальцем.

Знает ли полевой цветок, как он произведен на свет? Знает ли человек, каким образом он сделан? По опыту моему, ни цветок, ни человек не знают, как они изготовлены. Иначе бы человек не искал Бога на облаках, в космосе, на солнце или на луне. Я с юных лет задался вопросом: где Он? И понял, что это я, ты, он, она, они, все вместе и каждый по отдельности. Самовоспроизводящийся определенным образом тираж, запечатленный в тексте. В каждом храме священники читают книги. Везде впереди толпы идёт книга. Книга есть закон, устав и поводь. Искать Бога вне человека, это всё равно, что овладеть женщиной умозрительно, без соответствующих животворящих действий. Когда существовала официальная цензура, то имя и действия Бога были под запретом. Когда же цензура отменена, то и нецензурных выражений быть не может. Но надо твердо знать, что вся божественная лексика запрещена еще на заре человечества первосвященниками, говорящими о таинствах любви иносказательно. Весь наш мир есть иносказание, то есть художественная литература. И въехал я в иерусалимские ворота. Как же это сладко!

В соборе блаженствовал золотистый сумрак, и оглушала симфоническая тишина. Ты можешь быть лампадой и водой, ты можешь быть небесной тишиной, и книгой стать живой и невесомой. Так степь звенит и дышит тишиной. Движение букв бесшумно по бумаге идёт к сердцам в полнейшей тишине, один фрагмент в другой переливая. Ты удивился сам себе во сне. Пространство тишины - оно безмерно! Ты как пиит на сцене перед залом, стихи читая и закрыв глаза, и тишина как следствие упала, как падает сочувствия слеза. Тревожна тишина. Ты ведь, в сущности, одиночек, строим повзводно и поротно никог-

юрий кувалдин

да не ходил, не числился ни в каких группах, выводил в тишине за буквой букву. Золотистая тишина обволакивает тебя ирреальными смыслами со всех сторон. И вздох, и отблеск, и волна к волне, и тишина и возвышение звука, и угасание, и медленная, почти в остановке, чья-то речь. И в шелесте страниц я слышу тайный голос, вот он звучит неясно, но уже готовый выйти на просторы книги. Ловлю его и в буквы превращаю в полнейшей одинокой тишине.

"Наша улица" №176 (7) июль 2014

ВНУТРИ МЫСЛИ

Над дверью висел масляный портрет Шопенгауэра в тонкой рамке. Портрет чуть запылится и, казалось, что белые бакенбарды ожили и шевелятся при легком колебании воздуха.

В окно сквозь опущенные из тяжёлой ткани шторы едва заметно пробивался солнечный свет.

Лев Алексеевич читал. Умение читать не предполагает пропускать каждую книгу от первой фразы до последней без пропусков. Да, в течение всей своей жизни Лев Алексеевич многие книги так и прочитал - от начала до конца. А потом стал открывать наудачу, для того, чтобы убедиться, что эта книга хороша. Ныне шелест страниц уменьшился почти до исчезновения, поскольку почти любая книга открывается кликом на нужном тебе месте. Само же по себе Слово осталось прежним - воздушным и бессмертным. Разве важно Слово - на каком носителе временно пребывать?

Лев Алексеевич читал о том, что, как это водится повсюду, Шопенгауэр стал знаменит только после своей смерти. При его жизни профессиональные ученые и философы преднамеренно замалчивали его, а масса публики, по самому характеру и роду деятельности Шопенгауэра, не могла питать особого интереса к его творениям. Лишь несколько лет спустя после его смерти, с конца шестидесятых годов, интерес к его творениям и к его учению начинает проявляться не только на родине его, в Германии, но и во Франции, и у нас в России. Считаю излишним привести здесь между прочим интересную выдержку из появившегося лишь несколько месяцев тому назад в печати письма Л. Н. Толстого к А. А. Фету от 30 августа 1869 года (напечатано в «Русском обозрении», май 1890 года, в статье «В. П. Боткин, И. С. Тургенев и гр. Л. Н. Толстой. Из воспоминаний А. А. Фета»). Вот что писал Л. Н. Толстой: «Знаете ли, что было для меня настоящее лето? - Непрестающий восторг перед Шо-

пенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения, и читал, и читаю (прочел и Канта). И, верно, ни один студент в свой курс не учился так много и столь много не узнал, как я в нынешнее лето. Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр - гениальнейший из людей. Вы говорите, что он так себе, кое-что писал о философских предметах. Как кое-что? Это весь мир в невероятно ясном и красивом отражении. Я начал переводить его. Не возьметесь ли и вы за перевод его? Мы бы издали вместе. Читая его, мне непостижимо, каким образом может оставаться его имя неизвестным? Объяснение только одно - то самое, которое он так часто повторяет, - что кроме идиотов на свете почти никого нет...»

В дверь постучали. Лев Алексеевич отхлебнул из чашки, и продолжил чтение, не обращая внимания на стук, который, скорее всего, как это часто бывало, просто показался Льву Алексеевичу.

Лев Алексеевич читал о наружности Шопенгауэра, биографы которого его описывают следующим образом. Это был человек несколько ниже среднего роста, крепкого телосложения, стройный и с громадной головой; но особенно замечательны были его светлые, блестящие, голубые глаза, обращавшие на себя во время многочисленных его странствований внимание людей, совершенно ему не знакомых. Одни находили в нем некоторое сходство с Бетховеном; другие утверждали, что лицо его, и в особенности очертание его рта, напоминало собою Вольтера. Одевался он всегда чрезвычайно изящно, сохранив, впрочем, вопреки современным модам, покрой платья начала настоящего столетия. Малообщительный и в молодости, он после своих университетских неудач стал еще больше чуждаться общества. Поселившись окончательно во Франкфурте-на-Майне, он старался держаться как можно дальше от местных интересов, мало сходясь с окружавшими его людьми. Он терпеть не мог не только светских, но и обыденных разговоров; но, когда ему приходилось говорить в обществе, он ни-

когда не говорил отвлеченными фразами: его разговорная речь была так же проста, наглядна, ясна, точна и жива, как и его слог. Сумев устранить от себя мелочные интересы, заботы, радости и огорчения семейной жизни и относясь довольно безучастно к явлениям жизни общественной, он сосредоточивал все силы своего ума на том, что в древности называлось диалектикой, то есть на искусстве вести разговор исключительно в области чистого мышления. Вместе с тем, он исходил из того основания, что глубина мысли не только не исключает красоты изложения, но, напротив, выигрывает от нее. Как бы высказываемые им мысли ни казались порою односторонни, нельзя было не признать манеры его излагать их в высшей степени убедительною.

Стук в Дверь повторился с ещё большей настойчивостью. Лев Алексеевич перевернул страницу, и с некоторым раздражением спросил:

- Кто там?

- Да это я, Шопенгауэр!

Вошли снежные, развевающиеся бакенбарды, в свете электрической лампочки блеснула лысина в обрамлении вздыбленных седых волос.

Лев Алексеевич не удивился.

- Чайку? - спросил он.

- С удовольствием, - сказал Шопенгауэр.

Сутулый и высокий Лев Алексеевич прошел на кухню, располагавшуюся рядом, взял чайники - фарфоровый с китайскими розами на боку, и с плиты большой железный с кипятком, в некотором недоумении вернулся, и осторожно, чтобы не расплескать налил сначала кипятку в чашку для гостя, затем разбавил кипятком густой заваркой.

- Я читал, что вы в Бремене что-то потрясшее вас видели, - сказал Лев Алексеевич.

- Это было в молодости. Прямо скажу, страшновато, даже не совсем приятно было посещать «Свинцовую келью» с мертвыми телами.

- В свинце тела не разлагаются, - сказал Лев Алексеевич.

- Да, - согласился Шопенгауэр, - кожа их походила на прозрачную плёнку, из которой теперь парники делают, и в супермаркетах выдают пакеты.

Лев Алексеевич наморщил лоб, пытаясь отыскать в памяти слово «супермаркет», встал и в заметном волнении прошёлся по комнате.

- Ничего-ничего, - прочитал его замешательство Шопенгауэр. - Супермаркеты в Москве появятся, главным образом, после 2000 года.

- Через 57 лет! - воскликнул, посчитав в уме, Лев Алексеевич.

- В этом нет ничего удивительного. Материальный мир под воздействием слов может изменяться в сколь угодно возможные формы.

Лев Алексеевич задумался.

- Как же так, уважаемый Артур? Ведь вы всю жизнь утверждали совершенно другое... - сказал Лев Алексеевич, полистал книгу Шопенгауэра и, найдя отчерченное карандашом, прочитал: «Особенно я радовался тому, что эта череда образов приучила меня не довольствоваться именами вещей, но рассматривать, исследовать их и судить о них не из потока слов, а на основе знания, обретенного в созерцании. Поэтому позже я никогда не впадал в искушение принимать слова за вещи".

Шопенгауэр выслушал собственную мысль, вздохнул и сказал:

- В те времена я был наивен. Я не видел слов. Я сразу созерцал то, что слова обозначали. Там, где речь, скажем, шла о реке, я не видел слово «река», а сразу ощущал прохладу воды, видел её прозрачность, различал оттенки отраженного в ней неба.

- Но и все люди точно так же ощущают себя. Слова хоть и видят, прочитывая их, но попадают сразу на предметы изображения...

- Это так, но теперь-то я знаю, что мир построен Словом. Всё написано в сложнейшей программе. Вещи - мнимы. Слово - бессмертно.

- Я много думал о том, что вы утверждаете, что характер человека не изменяется с рождения.

- Да, я писал, что характер человека или воля от начала до конца равны себе и не изменяются. И это ещё одно из моих глубоких заблуждений! - воскликнул философ.

- Смело же, однако, вы себя сокрушаете! - вскричал Лев Алексеевич.

- Что же делать! Я даже не знал, что такое Бог, а рассуждал о нём. Кроме физиологических отклонений, все люди рождаются одинаковыми, совершенными устройствами для работы с текстом программы Бога. Человек есть универсальный компьютер...

Лев Алексеевич раскрыл рот, сказал:

- Первый раз слышу...

Шопенгауэр продолжил:

- Каждый ребенок может стать гением, и каждый может стать тупицей. Никакой генетической памяти не существует. Есть память конструкционная. И все люди рождаются одинаковыми, без языка, без национальности, без партийности. Тела-компьютеры загружаются работающей на данной территории программой. Версий программы много: русская, английская, немецкая... Но всё это лишь временное недоразумение - всё идет к тому, что на земле будет один понятный всем язык. Программа сборки компьютера-человека. Программа уже заложена в сперме мужчины и в яйцеклетке женщины. А Бог - это X, из которого происходит семя. И этот знак X стоит на символе Бога - высоких куполах церквей. Программа написана Словом (знаком, символами). Мы лишь, изучая человека и мир, разгадываем давно написанный текст, раскрываем страницы нашего незнания.

Пишу рассказ из 1943 года. Идёт война. Но для моего героя её как будто и нет. Он весь погружен в умные книги. Он видит, что свой жизненный путь завершили тела, к которым, для идентификации, были прикреплены слова (имена собственные, фамилии): Кант, Шопенгауэр... Очень примечательно то,

что он считает Шопенгауэра «великим завершителем» учения Канта. Или «три блага спасения - Бог, бессмертие и свобода - могут оставаться в силе лишь в случае, если Кант прав, если пространство, время и причинность суть лишь субъективные формы созерцания, и таким образом, весь простирающийся в пространстве и времени и законом причинности управляемый мир есть лишь явление, а не вещь в себе. Ибо при допущении, что определяющий нас мировой порядок есть вечный и пребывающий независимо от сознания порядок вещей в себе, Бог, бессмертие и свобода рушились бы безвозвратно, и всю религию пришлось бы похоронить». Наконец-то мой герой уразумел значение Шопенгауэра, как философа. И всегда почему-то думал, что после Канта можно говорить лишь о Шопенгауэре.

Почему-то сегодня у него болит под ложечкой, хотя кроме хлеба он ничего не ел. Как Льву Алексеевичу надоела эта боль и как она портит ему настроение.

Сегодня Лидия Павловна должна достать продукты. Значит, вечером будет кормёжка. Утром был жидкий кофе - остатки - с молоком, и хлеб. И больше ничего.

Говорят, что сейчас очень распространён туберкулёз. При таком питании и крайне нервной жизни любая болезнь находит благоприятную почву.

Лев Алексеевич начал просматривать «Коллективную рефлексологию» Бехтерева. Капитальная работа. «Говорить об «общественном сознании», или «общественной душе», то есть о «душе коллектива» - значит, пользоваться лишь образным выражением». «Личность должна быть признана, - по его мнению, - явлением биосоциального происхождения». В её формировании и развитии принимают участие: общественная среда - раз, и наследственность и инстинкты - два. Гений или всякая одарённость, как и думал Лев Алексеевич, являются по Бехтереву даром природы. «Человек, малоодарённый, не годен для великих открытий».

В книжке Пауля Дейссена «Веданта и Платон он прочёл: «Есть мысль - её можно бы назвать самой важной мыслью, ка-

кою только обладает человечество, ибо на ней основывается религия, философия, а также и искусство во всей их широте... которая не нашла лучшего выражения, нежели в кантовской философии, где она позволяет облечь себя в простую формулу:

«Мир есть явление, не вещь в себе».

Жизненные неудачи затачивают человека клинком, которым он готов поразить каждого встречного, ибо весь мир ополчился на него, и мешает ему жить, не обслуживает его, не удовлетворяет постоянно возобновляющиеся потребности. Из всех этих мучительных страданий не обработанного культурой человека рождается тиран, готовый построить всех по принципу единоначалия, когда приказ начальника является законом для подчиненного. Но если в какой-то период жизни страдалец начинает обрабатывать себя культурой, отдаваясь собственному творчеству, тогда он свою тиранию из временной животной жизни переносит в творческую, в которой он сам себе тиран и раб, сам отдает приказания, и сам их с великим энтузиазмом исполняет. Вот в чём альфа и омега творческой личности.

Смертность среди населения, по-видимому, очень велика, потому что люди прожились, все вещи спустили, есть нечего и медленно тают изо дня в день. Печальная картина!

Говорят, что война кончится не ранее 45 года. До этого срока, как думает Лев Алексеевич, они с Лидией Павловной протянут. Значит, живут, так сказать, последний период. Из-за кого и из-за чего? Не стоит думать. Лев Алексеевич присматривается к людям, прислушивается к их разговорам. Боже, как они глупы. Были на свете великие люди, светлые люди, философы, писатели знаменитые, блестящие учёные - все они размышляли о жизни, мучились над вопросом, как её улучшить, создали системы взглядов, и, казалось бы, люди должны воспользоваться всем этим. Но нет! Люди даже не знают, что существовали такие личности. Получается, что человечество - стадо злых и глупых существ. Ну, и чёрт с ними. Беда в том, что

среди этого стада приходится жить, и из-за него раньше времени погибнуть.

С фронта не поступает никаких новостей. Весенняя распутица препятствует большим операциям. Вчера в «Правде» была любопытная статья. По словам автора, немцы теперь уже не говорят, что они воюют за жизненное пространство для себя, а за жизненное пространство для европейских народов. По газетам видно, что немцы ведут большую пропаганду об опасности для Европы в лице большевизма и, по-видимому, кое на кого действуют. Положение немцев в Африке плохое. Скоро им придется оттуда удирать. Любопытно, что тогда предпримут союзники. Все ждут второго фронта, а его всё нет и нет. Зато есть бомбёжка. Англичане и американцы делают успешные налёты.

Какое счастье, что немцы не летают на Москву! По крайней мере, Лев Алексеевич с Лидией Павловной хоть спят спокойно. Да ещё как! На днях на их улице был ночной обход квартир. К ним патруль зашел в два часа ночи, но как к ним ни дубасили в дверь, ни Лев Алексеевич, ни Лидия Павловна ничего не слышали. Вот это заснули! Даже не верится, что они могли так заснуть.

В субботу днём Лев Алексеевич дежурил в управлении - отвечал на звонки. На этой работе может сидеть девчонка. И вдруг сидит он - человек, проучившийся 17 лет со званием кандидата. Это только показывает, что его жизненное пространство занято всякой дрянью. Но ради литературного обеда Лев Алексеевич на всё смотрит сквозь пальцы.

Вечером у них никаких съедобных веществ не было. Они поели только каши. Лев Алексеевич читал Бехтерева «Коллективную рефлексологию». Местами очень интересно. В первом часу легли спать и тотчас же заснули.

Но в воскресенье Лидия Павловна и он ходили в магазин управления и достали коробку зельца, горбушу и одну бутылку портвейна. Обедали в столовой управления. Обед был обычный, но присутствие солонины-свинины в супе сыграло

свою роль: суп был наваристый и вкусный. Также и шницель. После обеда Лев Алексеевич поехал в Сокольники, к знакомой Лидии Павловны - возил ей и её мужу билеты в Большой театр. Она была столь любезна, что угостила картошкой, жареной с луком на масле. От неё Лев Алексеевич пошел в парк, прошёл-ся немного по аллеям. Смотрел, как ребята качаются на качелях. Так как погода была холодная и сырая, то парк совершенно пустой - одни только ребята. В одной из аллей ребята на деньги играют в какую-то игру.

За дежурства Лев Алексеевич получает 600 рублей, и за ответы на звонки 300 рублей. Итого 900 рублей. Это неплохо. Но на руках, так сказать, карманных денег у него нет. И он не может ничего себе позволить, даже купить дешёвую книжку. Всё же он ухитрился приобрести сборник статей Айхенвальда и Рубинштейна об эстетическом воспитании детей. Они интересно излагают мысли о воспитании Шопенгауэра, Фихте, Милля, Гюго и других. По мысли Шопенгауэра, интеллектуальная сила не может быть людям привита, и никакие ухищрения песталлоциевской педагогики не в состоянии сделать прирождённого тупицу мыслящим человеком - глупец в колыбели сидит глупцом и - в могилу. По Шопенгауэру - характер человека или воля от начала до конца равны себе и не изменяются. Чем ближе Лев Алексеевич присматривается к людям, тем более убеждается, насколько это верно. Что ни говори человеку, какие мысли ему ни приводи, он в своих решениях и действиях всё тот же «Федот».

На Москву снова начал налетать немец. Чуть ли не каждый день либо стрельба из зениток, либо тревога. Вчера Лидия Павловна пришла ночью, так как тревога её застала в метро около 11 вечера. Стрельба была в их районе, и Лев Алексеевич, одетый, стоял внизу при входе в свой дом. Когда стрельба затихла, он вернулся домой и прилёг на диван. Конечно, заснул. Во сне слышал голос диктора, что тревога миновала. Через час вернулась Лидия Павловна, и они пили чай. Лидии Павловне удаётся доставать шоколадное суфле.

С 1 числа Лев Алексеевич завтракает и обедает в столовой ОРСа, и притом через день. Это плохо. К счастью, Лидия Павловна подкидывает талончики в коммерческую столовую.

Война в этом году, безусловно, кончится. Сколько бедствий, горя и ужасов она принесла! Какое же возможно искупление? Неужели жизнь останется такой же, то есть люди не переродятся нравственно? Ужас в том, что в мире нет пророка, который образумил бы людей. Сейчас требуются какие-то необыкновенные слова, а их нет.

Лев Алексеевич читал. И всё хотелось найти смысл у Канта, у Лессинга, у Шопенгауэра. Где они физические? Нет их. А метафизические - в тексте. Стало быть, смысл их текстов в самом тексте, в нанизывании слова на слово, фразы на фразу, долгие периоды, абзацы по три страницы. Вот он смысл - в словах поставленных друг за другом, льющих, как вода из крана. Всё живое состоит из воды, все тексты мира состоят из воды, и в воду превращаются. Водосвятие. Вода святая. Особенно на Крещение. Водосвятие совершается в память о крещении Иисуса Христа в водах Иордана. Но не каждый умеет лить воду. Примитивные авторы мне всё правду какую-то несут. Прямолинейно сделанную, малопривлекательную. Я им говорю, что правды нет ни на земле, ни выше. Правда в том, когда вы научитесь писать слова, поэтому идите не в лес, а в библиотеку, поэтому сидите на месте всю жизнь - читайте и пишите, а не бегайте по гастрономам и пивным, и тем более за границам - там то же самое: люди смертны, как мухи, а тексты бессмертны. Примитиву страшно открывать Шопенгауэра. Там нет его "правды". Там - океан воды. Там космос слов. Хороший пример Пруст. Вот душечка был, законопатил окна и двери пробковым деревом, чтобы шум никакой не проникал, и писал всю жизнь напролет.

В заключении к исследованию Евангелия Толстой пишет, что в евангелии «мудрое и важное... выражено так безобразно дурно, как говорил Гёте, что он не знает более дурно написанной книги, как Евангелие». Эту мысль Лев Алексеевич

встретил впервые. Про евангелистов Толстой ехидно замечает: «Видно, что воскресить-то воскресили, но заставить его (Христа) что-нибудь сказать и сделать достойное его – не сумели». В этом Льву Алексеевичу надо разобраться - посмотреть у Штрауса и в Евангелиях.

Он очень доволен, что хоть и бегло, но всё же сумел прочесть «Введение в философию» Челпанова. Написано оно очень хорошим языком, просто и понятно. Полагалось бы ещё раз просмотреть, но где взять время? А ведь как ему хочется читать! О каком чтении сейчас можно говорить, когда ежедневно надо бороться за жизнь!

Лев Алексеевич завидует, - нет, это не так! - удивляется, глядя на людей, элементарному строю их душ. Хоть бы от одного человека он услышал бы что-нибудь важное, заставившее призадуматься. Нет, только и говорят, что жить трудно, есть нечего и что-то должно измениться после войны.

Шопенгауэр встал, прошел к книжному шкафу и, не открывая свою книгу, голосом Василия Качалова продекламировал, изредка поднимая руку вверх:

- Человек живет и существует либо добровольно, то есть по собственному согласию, либо помимо своей воли: в последнем случае такое существование, отравленное многообразными и неминуемыми горестями, представляло бы собою вопиющую несправедливость. Древние, именно стоики, а также перипатетики и академики, тщетно пытались доказать, что достаточно одной добродетели, для того чтобы сделать жизнь счастливой. Опыт резко противоречит этому. Собственно, в основе этих попыток, не вполне заведомо для самих философов, лежала предпосылка справедливости, такое отношение между добродетелью и счастьем, что на ком нет вины, тот должен быть свободен от страданий, то есть счастлив. Но серьезное и глубокое решение этой проблемы лежит в том христианском учении, что дела не оправдывают. Следовательно, даже если бы человек проявлял всяческую справедливость и человеколюбие, добродетель, он все-таки, вопреки мнению Цицерона, еще не свободен от всех обви-

нений: нет, величайшая вина человека - то, что он родился, как сказал просветленный христианством поэт Педро Кальдерон, - познавший проблему гораздо глубже, чем названные мудрецы:

О, я несчастный, о, страдалец!
Хочу, о, небо! я узнать,
Какое зло своим рождением
Тебе я сделал, если ты
Со мною так всегда сурово?
Но понимаю, я родился,
И преступление готово.
Твое жестокое решенье
Причину явную имеет:
Весь самый величайший грех
Для человека есть родиться.

Утверждение, что человек приходит в мир уже виновным, может показаться бессмысленным только тому, кто думает, будто родившийся человек только что произошел из ничего и составляет произведение другого человека. Таким образом, в силу этой вины, которая неизбежно вытекает из собственной воли человека, он по справедливости остается обреченным на физические и духовные страдания, он несчастлив, - хотя бы он и соблюдал все названные добродетели.

- Значит, вина с человека снимается тем, что Бог есть X?!

Проза длинно. Стихи коротко. Длинное коротко. Короткое длинно. Стихотворная проза. Прозаические стихи. Короткая проза. Длинные стихи. Прозаическая длина. Длинная стихотворность. Стихотворная прозаичность. Прозаическая стихия. Длинная длина. Короткая краткость. Прозаическая проза. Стихотворные стихи. Проза стихла. Стихопроза. Стихли стихи в прозе. Проза стала стихами. Длинное кажется кратким. Краткое сделалось длинным. Стихи в прозе. Проза в стихах. Отстихуй прозаик в рифму.

- Именно в этом. Запрет на произнесение имени Бога родил все тексты мира, с фонтанирующим многописанием, с вонзаю-

щимися в вечность спиралями мысли. Один размноженный творит!

Лев Алексеевич подошел тоже к книжному шкафу, Шопенгауэр сделал шаг назад, открыл застеклённую створку, снял с полки Евангелие, открыл «От Иоанна», прочитал:

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.

Лев Алексеевич читал речь одного из учеников Шопенгауэра, которую произнес на его могиле: «Гроб этого замечательного человека, прожившего около 30 лет среди нас, но все же остававшегося для нас как бы чужеземцем, вызывает особые размышления. Никто из здесь стоящих не связан с ним узами крови: он жил одиноким и умер одиноким. Но я позволю себе сказать, что усопший нашел некоторую компенсацию за свое одиночество. Это страстное желание познания вечного, которое является у большинства лишь в виду близкой смерти, было неизменным спутником всей его жизни. Будучи пламенным поклонником правды, в высшей степени серьезно относясь к жизни, он с юных лет привык бесцеремонно отворачиваться ото всякой лжи и притворства, не страшась риска оттолкнуть от себя людей и испортить свои с ними отношения. Этот мыс-

лящий и глубоко чувствующий человек провел всю свою жизнь одинокий, непонятый, оставаясь верен самому себе. Его свободный ум не преклонился под тяготами жизни...»

Продвижение по жизни без обид почти невозможно. От этого идёт с юных лет постоянное сокращение круга общения. Первыми из этого круга вылетают люди, несущие везде и всюду отрицательные эмоции, распространяющие зло, с пеной у рта, захлебываясь, рассказывающие тебе, кто попал под поезд, кто сел в тюрьму, кто повесился, у кого украли кошелек и так далее и тому подобное. Эти люди - мрак. Вторыми отваливаются из круга непререкаемые советчики - это особенно многочисленная группа, они знают с точностью устава внутренней службы, когда, что и как в жизни делать. Третьими удаляются из круга пропагандисты жизни и деятельности правительства, - на них-то, как раз, и держится несменяемое правительство, поскольку лучшая реклама - это поимённо называть пусть и в негативном виде членов власти. И таким образом, круг обидчиков исчезает. И с годами ты остаешься в одиночестве у книжного шкафа.

В ОДНО КАСАНИЕ

Футбольное поле было не ахти какое, со многими проплешинами, и особенно вытоптано у ворот. Во время дождя там стояла лужа. В жаркую погоду земля твердела до сухости асфальта. Но это неважно, и дело не в этом. Дело в том, что я сам от волнения забывал самого себя на этом поле, впрочем, как и на других полях, где нам приходилось играть. Я - игрок команды мальчиков - выхожу на поле в первом моём официальном матче на первенство Москвы в страшном волнении, как на сцену.

Ощущение было такое, как будто я один на поле. Всё вокруг размыто, хотя понимаю, что есть на небольших трибунах со скамейками из досок зрители, есть игроки соперников и свои. Но это - лишь краем сознания. Бутсы - на два размера больше.

В какой-то момент мне было грустно.

Вот-вот судья даст свисток к началу игры. Судья выплывает из воздуха неким глубоким стариком. Лысина его лоснится от осеннего солнца. Хотя сейчас, я думаю, ему было не больше тридцати.

Судья так долго не дает свистка, что, кажется, проходит целая вечность. Всё замирает, всё останавливается. Я забываю, кто я, и что я делаю тут на поле. Начинают как-то странно дрожать колени, так что хочется лечь на траву и лежать, чтобы только скорее проскочил этот матч.

Нужно сначала полежать в грязи, чтобы потом показаться чистому человеку, который бы тебя грязного полюбил. Обычных, правильных, даже хороших людей мало кто любит. Почему? В них нет события. С античных времен, если эти времена, конечно, были, поскольку уже многие понимающие люди склоняются к тому, что все произведения античности были созданы в новое время для углубления истории своих государств, так вот с тех бывших времен повелось обливать персонажа

грязью, чтобы в конце чуть-чуть осветить его светом надежды. Дело в том, что человек есть существо исчезающее, проходящее. Каждого ждет его кладбище. Если еще жестче определять человека, то это всего-навсего проигрыватель для пластинки вечности, которую создают художники. Новичок на земле, родившийся, начинает питаться этой пластинкой, изучать и понимать грязь жизни, чтобы самому, может быть, научиться излучать свет искусства.

Я играю с правого края под номером «7». Жмусь к белой ленточке, как учил тренер бегать от центральной линии поля до углового флажка, не отклоняясь в маршруте. Туда-сюда. Судья всё не свистит. Мучительно вспоминаю, что я пригласил на матч чуть ли не весь свой класс. Вот сейчас они на меня смотрят, скованного волнением, и смеются, указывая на меня пальцем. Мои первые зрители.

Соперники - ребята мастеровитые, пижонистые. Вышли все в белом, как балерины в пачках. Я стою в синих трусах и красной трикотажной футболке. Эти ожидания свистка судьи к началу матча длились целую жизнь. Как я буду играть?

В мире существуют всего несколько тем или сюжетов, которые каждый новый автор, даже, быть может, не ведая об этом, так или иначе интерпретирует их на свой лад и вкус. Степень оригинальности, ума и таланта могут придать старой теме, например, любви, совершенно новое звучание. Вот поэтому никогда не прекратится искусство, которое и есть смысл и цель человеческого развития.

Да, ребята в белом заметно подпортили мне ожидание начала игры. Что-то в них есть показное, во взглядах какая-то пренебрежительная надменность, мол, сейчас мы вас разделим под орех. В общем, когда судья дал свисток, и они начали, у меня сильно испортилось настроение. И это на фоне небывалого волнения, дрожи, так что зуб на зуб не попадал. Изредка даже язык прикусывал.

Я это так отчётливо вижу, что мне кажется, что я уже тогда размышлял о людях, которые стараются испортить мне настро-

ение. Просто вот родились они для того, чтобы портить мне настроение. Им нечем в жизни больше заняться, как портить мне настроение.

В течение всей своей жизни я сталкивался с такими. Они наводили на меня постоянную тоску сентенциями вроде: ну куда тебе до Пушкина?! зря бумагу мараешь?! пойдём лучше выпьем... И т.д. и т.п. Под разными благовидными предложениями я увиливал, отмалчивался, не вступал в спор. Я незаметно избавлялся от этих людей. И они растаяли где-то, не оставив по себе не то что следа, а даже комариного писка. Правда, очень редко, но вдруг кто-то попадает в физическом мире из них на моём пути. Сыплются восклицания типа: старик, я горжусь тобой, читаю неотрывно... И задают один и тот же вопрос: когда ты всё это успел написать? Тут я говорю кратко и просто: когда ты бегал по кабакам! Но и визави находится, что ответить: ну, я тоже так могу написать... Проходит время, и, как вы догадываетесь, - нет ни этого знакомца, ни, тем более, им написанного.

Наконец, судья свистнул, и белые покатили. Их левый инсайд стал сразу водиться. Одного нашего обошёл, второго, пока я его не догнал и слега не дал ему по пятке. Он упал. Судья дал штрафной, а мне довольно вежливо бросил: «Играем в мяч, а не в ноги!»

Футбол замечателен тем, что наиболее наглядно показывает закон противодействия на каждое твоё действие. Это на тренировке ты мастеришься с мячом, жонглируя им и правой и левой ногой попеременно в количестве пятидесяти раз. В игре только хочешь ударить по нему, как бьёшь по ноге защитника, и вместе с ним валишься на газон, испытывая сильную боль.

Хорош бы я был тогда на футбольном поле, если бы во время игры размышлял о смысле жизни.

Смысл жизни! Да такого сочетания слов в детстве не было.

Катится мяч по зеленой траве... Кстати говоря, в 50-х годах белых мячей не было. Были коричневые, или какого-то неопределённого тёмного цвета. Так вот, катится мяч, как ты

едешь по дороге жизни, но не замечаешь, что едешь. Только изредка догоняют тебя яркие впечатления прошлого. И то такие нечеткие, размытые, но приятные. Всегда такие милые, что сердце радуется. Даже мрачные страницы ушедших дней окрашиваются розовыми красками. Ты хочешь остановиться, но дорога убегает из-под тебя, выкатывая новый день, а за ним - другой, третий...

Первые минуты игры мяч всё время был на другом краю. Наш левый край тоже любил поводиться. Он был выше других мальчишек из команды на голову, очень худой, но цепкий. Крутился вокруг мяча на месте, закрывая его корпусом, чтобы защитник «белых» не подлез.

Ну, вот и еще один круг вокруг солнца я совершил без билета, бесплатно, созерцая ночные и дневные космические светила. Но каждый мой такой оборот превращен мною в буквы. Вот интересное слово «буква». Это слово говорит о юности русского языка, о коротенькой истории территории, которой приклеили название «Эрос». И так, рассматривая слово «буква», вижу её английское происхождение. «Book» - книга. Ну, об «эросе» и говорить нечего. Его знают даже в начальной школе, вода указкой по географической карте и говоря: «Россия». А тут еще попадаетея вилка. И вилка из-за границы. «Welcome» - это же наша вилка! А наш глаз по-английски - это рюмка: «Glass». И тут же вспомнил семейство Глассов из рассказов Сэлинджера. Семья Рюмкиных. Рюмки.

Выхватывая почти стеклянными глазами игроков, я всё ждал, когда же мяч дойдёт до меня, и думал, что я тоже сразу, как получу мяч, начну финтить, и вон того, рыжего, защитника «белых» приделаю, как надо. На тренировка я ловко обходился с мячом, жонглировал обеими ногами до 50 раз, подбрасывал мяч и ловил его на грудь, отклоняясь назад, пяточкой перебрасывал мяч через себя...

От этого мне стало жутко тоскливо, и опять эта проклятая дрожь напала.

На тренировке все ребята - мастера. А в игре сразу куда-то это мастерство исчезает. Потому что тебе всё время мешают соперники. Хочешь побежать, а тебе подножка. Летишь носом в землю.

Ты не вполне себе принадлежишь. Ты всё время впадаешь в тоску. Но никому не подавая даже виду об этом. Всё время живёшь на разрыв. Здесь тебе хорошо, но не так, чтобы очень, потому что стучится всегда другая мысль, что там, откуда ты ушёл, лучше. Но придя туда, где лучше, ты начинаешь судорожно скучать по тому месту, где не очень хорошо. Выходит, что ты постоянно раздваиваешься. И только ушедшие дни как-то устаканиваются, и кажутся милыми, тихими. Но оттуда, из вчерашнего дня выплывают написанные тобой строки. Ты их читаешь, удивляешься самому себе, как же ты так талантливо мог написать. Кому же ты принадлежишь? И сам себе разумно отвечаешь: Слову. Как только понимаешь, что ты в руках Господа, так сразу и вновь подступает тревога, тоска. И тут не так, и там не эдак.

Без мяча я, сам не свой, бегал, как мне показалось, часа три, хотя понимал, что тайм длится для команд мальчиков всего 20 или 25 минут. В волнении время приобретает знак бесконечности.

Потерянное время, найденное время. У меня его нет, ибо я живу вне времени. К этому приходишь не сразу. Сначала ты бегаешь по часам. Туда-сюда. Особенно насмехается над людьми школа, строящая из себя бог весть что. Какая-то угрожающая обязаловка. Никаких опозданий. Иначе - дневник на стол, и вызов родителей. Если сказать, что школа ничему не научила, то это будет полуправдой. Теперь я вижу школу, как временное место, где ты будешь изолирован от улицы. С рук - на руки. От родителей - школе. Постоянный присмотр. Общество создает свои институты для присмотра за людьми, чтобы они не били стекла и не угрожали себе подобным. Так вот из всего этого я вывалился на обочину. Потому что мне не хотелось бить стекла и тем более угрожать другим людям. Я уходил

в свои лабиринты образования, уходил к книгам, погружался в книги. Мир внешний отключался. Я жил другие жизни, перетекающие в меня строчками. Я очень заинтересовался этим перетеканием, и стал сам писать строчки, которые вытекали из меня, когда я был переполнен строчками других писателей. Я вступил в соревнование с великими авторами, потому что мелких я избегал. Мелких сразу видно по двум-трем фрагментам, которые выхватываешь глазами, потому что они пишут «правильно» для редакторов, что разрешено и за что можно получить деньги, а это всегда фальшиво. Читая великих писателей, я понял, что у меня вырабатывается вкус, появляется способность безошибочно отделять прекрасное от посредственного.

Это знакомо каждому, кто впервые выходил на поле или на сцену. Состояние, близкое к потере памяти, или, вообще, чуть ли не бессознательное. И на тебя смотрят!

Как сделать так, чтобы второстепенное сделалось главным? Отвечая на этот вопрос, могу утверждать, что в художественном произведении основную нагрузку несут сами слова, а не то что за ними стоит. Обычный читатель не видит слов. Он сразу устремляет свое внимание, если у него таковое имеется, за слова, в то пространство, которое они изображают. А более наивный, неподготовленный читатель еще сосредотачивается на сюжете: что за чем идет, кто за кем гонится? Отбрасывая все эти суждения, я пристально вглядываюсь в слова, пронизываю их буквально рентгеном мысли. Выясняется, что все слова произошли от одного слова - имени Бога, которое запрещено произносить. Чтобы обойти этот запрет, древние стали придумывать новые слова, очень простым путем это делая, меняя буквы. Умеющий писатель использует огромный лексический материал. Ведь когда-то слов на Земле вообще не было. Но тогда не было и Земли. Потому что существует только то, что названо, что записано. Палитра серьезной литературы огромна. А читатель у этой палитры малочислен. А если неподготовленный читатель вдруг берется читать серьезную прозу, то в ней всё ему, как правило, не нравится, ибо нет ни сюжета, ни фабу-

лы, ни привычных диалогов, ни понимаемых образов. Поэтому с такой легкостью и прямолинейностью в СССР массовый читатель, или просто прохожий, мог клеймить позором Зощенко и Ахматову, Бродского и Синявского... К примеру, даже хороший писатель Виктор Астафьев отвергал поэму Венедикта Ерофеева «Москва - Петушка», называя это произведение не иначе как бредом алкоголика. Это и понятно, поскольку Виктор Петрович не читал Евангелия, в стиле поэтики которых и написана эта гениальная поэма. Художественная проза иерархична. Каждому её уровню соответствует свой читатель в соответствии с интеллектуальной, культурной, философской, филологической подготовкой.

В общем, игра шла в центре ближе к левому краю, и я был без работы. Сколько это длилось, сказать не могу.

Я давно прокручивал мысль о том, что люди в хаотическом бесцельном вращении наносят друг другу сильные психологические удары, не находя подобных себе индивидов. Когда подобные себе люди сходятся, наступает и понимание, и поддержка, и тишина. Очень много людей отрицательно заряжены. Сталкиваясь с людьми из другого круга, не понятного им, они их отвергают. Культурные люди это делают молча, корректно, а примитивные, грубые - со скандалом, с оскорблениями. Но те и другие ищут соответствия. Так как в силу разных причин после октябрьского переворота на верхних этажах управленческой иерархической лестницы оказались представители социальных низов, да и представители других слоев общества с минусовым, аморальным зарядом, то и критика их была заушательской, с показательными процессами, с расстрелами. Этакая шутка: мы тебя покритикуем, а потом расстреляем. В демократическом обществе выбор нужного человеческого «этажа», практически, неограничен. Поэтому усилился хаос выбора этого «этажа» и вытекающие отсюда конфликты. Постепенно отношения между отдельными людьми и группами принимают вид осмысленных действий, устаканиваются, хаос переходит в гармонию. Минус превращается в плюс.

Потом «белые» навалилась на наши ворота, и даже кто-то из них попал в штангу.

Попасть в штангу - это почти гол. Радость для зрителей. Новые впечатления. Ведь сидеть на трибуне - это одно, а быть на поле - совершенно другое.

Есть разные принципы подхода к рукописям новых авторов. Эти принципы на виду: отрицательный, нейтральный, положительный. Я, как правило, за некоторыми исключениями (конъюнктура, советская схема, сервильность и подобное), всегда придерживался «положительного» принципа. Даже самый неудачный, с моей точки зрения, текст содержит в себе некоторые яркие места. Если я такое место нахожу, то хвалю автора за это, приподнимаю его, говорю, что от этого места и нужно танцевать, как от печки. Тот, кто меня слушает, добивается известных успехов. Во всяком случае, человек остается довольным, не обиженным, готовым продолжать работу. В каждом деле идет ненавязчивый отбор. Но я-то твёрдо знаю, что художнику нужна похвала, и только похвала, тогда у него вырастают крылья. Вот чего не было в советских редакциях, где с порога так осекали новичка, что многие из них бросали всякую писанину. Выживали только верящие в себя новички, даже если шли поперёк принятому в редакциях вкусу. И нельзя забывать, что в советских редакциях делили деньги, причем очень большие, поэтому к кормушке конкурентов не подпускали. Очень были опасны для редакций талантливые, смелые авторы. Таких зарубали на корню по идеологическим причинам двумя-тремя отрицательными рецензиями правоверных штатных рецензентов.

Большинство людей - мастера на словах. Очень они большие специалисты в футболе. И в литературе. Чего ты не попал в ворота? Я сейчас выйду и забью. Или - а чего тут такого в твоём рассказе? Сейчас сяду и напишу (сказано в 50-х годах). До сих пор забивают и пишут.

Люди, не знающие и не желающие знать классической художественной литературы, не живущие в этом великолепном мире, считают этот мир лишним и глупым, и мешающим им

жить и работать в реальном мире. Между тем, реальный их мир спустя какое-то время становится ирреальным, не существовавшим. А возвышенный, вымышленный мир становится единственно неизменной и бессмертной реальностью. Меня смешат археологи, вскрывающие гробницы. Что они ищут в материальном мире, который развалился и постоянно разваливается на молекулы и кварки?! Слово создаст новые модули интеллектуального самосознания. И это самосознание обретет оригинальное, иное тело, отличное от современного тела человека. Человек - это всего лишь временный операционный аппарат для обработки поступающих в него данных.

Временами мне казалось, что за мной наблюдает опытный глаз футбольного радиокомментатора Вадима Синявского. Уж его-то восторженный голос прилепился к моей памяти, как портрет дедушки. С высоты прожитых лет могу сказать, что Вадим Синявский был мастером невероятных экспромтов. А его экзальтированный и одновременно вкрадчивый с хрипотцой высокий голос околдовывал. Помню, уже позже, в конце 60-х или в начале 70-х годов он вёл репортаж о довольно сереньком матче под затяжным дождём армейцев с кем-то из аутсайдеров. Но Вадим Синявский создавал у слушателей впечатление феерического зрелища. Наконец прозвучала его сногшибающая фраза: "Да, вот это удар! Как говорят у нас, ударил будто рублем одарил... А бил-то Копейкин!" Да, был тогда такой игрок, 9-й номер, центр нападения армейцев - Борис Копейкин.

Иногда думаешь, а почему бы ни дать каждому то, что он желает, распрячь его от социальных пут, чтобы делали то, что хотят. И тут же спотыкаешься на неопределённом слове «справедливость». Так и есть, потому что на нём зацикливаются многие люди, считая себя абсолютно равными другим. Фактически невозможно доказать идиоту, что он идиот. Кажется, оскорбительным это слово «идиот». А писатель ставит его в заглавие романа. Мир замкнут в человеке, потому что каждый человек есть центр мира, и этот мир вращается вокруг этого

человека, индивида. Каждый человек есть экземпляр тиража Бога, по образу и подобию. Именно это и служит препятствием к классификации идиотизма напрямую, глаза в глаза. Можно только спустя время через текст, как пригвоздил к позорному столбу своих врагов Данте в «Божественной комедии». Иными словами, человеческий идиотизм нужно высвечивать так, чтобы идиот об этом не знал, и даже не догадывался о своём идиотизме. Требовать справедливости, значит, требовать выхода из соподчинения в абсолютное равенство, которое превращается в бардак.

Наконец, вижу, мяч неотвратно приближается ко мне. От кого он пошёл, не понимаю. Но вижу, что мяч довольно быстро катится ко мне.

Открывая книгу, я сначала вижу архитектуру текста. Крупная часть из десяти сложных фраз, с подчинениями и дополнениями. Потом идет короткий вкладыш из одной фразы. За ним следует новый тяжелый абзац, как фундамент у старого дома на Бродвее. Американская архитектура в Москве 30-50-х годов. Выключаешь свет. В квартире темнота. Букв не видно. Особенно понимаешь это, рассматривая шедевры живописи старых европейских мастеров. Погасили свет в студии. Поднялся переполох. Камера продолжает урчать, работая, но на пленке изображения не будет. Просто останется чернота. Хотя чернота тоже является цветом, но её нужно окантовать в светлую раму, чтобы чернота стала картиной. Что и сделал в свое время Казимир Малевич. Любопытная вещь - лист бумаги. Пустой. Голый. Чистый. А ты уже представляешь, что твоя рука сейчас нанесет на него черные (темные, любые, хотя и белое можно писать по белому) знаки, которые выстроятся в некую геометрическую фигуру, в абзац, с короткой последней строкой. Хорошо будет виден пробел перед следующим абзацем. Кто наблюдал за собственной тенью, тот знает, что в это время рождается художественный образ, поскольку всё видимое (и невидимое) состоит из света и тени. То же касается литературы, где, чем больше теней, тёмных сторон жизни, тем

произведение сильнее, выразительнее. Выведение так называемого положительного героя без теней, убивает это произведение. Без света нет тьмы. Без тьмы нет света. Это ещё блестяще понимали античные писатели.

В одно касание и текст летит из-под пера, вращаясь в воздухе мячом, летящим к другу. Там сердце верное поймёт твои порывы, преобразив их в страстную любовь к самой игре, к движению круга жизни, где каждый лучик светится мечтой, необычайно вспыхнувшей от счастья большой игры под странным словом «вечность». Лети, мой мяч, по строчкам дивных снов!

Тогда были мячи с камерой и крышкой, как автомобильные колеса. У камеры был сосок, у крышки - шнуровка. Очень больно было, если тяжелый мяч попал тебе этой грубой шнуровкой в лоб.

Сама жизнь порой навеивает ужас, когда знаешь, что всё кончится смертью. Так размышляет человек, не вошедший в Слово, не постигший высшую премудрость той жизни, у которой нет смерти. Та, высшая, жизнь рождается только в тексте художественных образов. Ибо ничего нет в мире прямого, правдивого, раз и навсегда сказанного. Всё превращается под пером писателя в иносказание, в притчи, в символы. В извивы и изливы подтекста, доступного только посвященному. Художественное творчество непостижимо для людей живущих только в жизни, а не в тексте. На алтаре подвижника мысли лежит книга. Вся жизнь посвящена книге.

При виде подлетающего ко мне мяча, я еще сильнее почувствовал скованность.

От этой скованности мяч сразу отлетает от меня и попадает к моему приятелю, центровому, он с ходу бьёт и забивает мяч в сетку. В течение игры я эту практику волнительного и моментального избавления от мяча продолжил. Причем, как это ни странно покажется, всё время отдавал мяч своему на свободное место. Тук-тук. После игры тренер поставил меня перед всеми и сказал: «Вот как надо играть - в одно касание».

На тренировках мы выстраивались в две цепочки друг против друга. В центре располагалась стойка. Первый игрок из одного ряда делал сильную передачу в ноги игрока противоположной команды, который выбегал в сторону, чтобы принять мяч. Затем этот игрок передавал мяч мимо стойки на ход движения первого игрока, который должен был бежать вперед, чтобы получить мяч и завершить игру в одно касание. Оба игрока возвращались в свои цепочки, и следующая пара игроков продолжала игру в стенку с противоположной стороны и так далее. Для улучшения этого приёма мы считали, сколько раз ребята успешно выполняли игру в стенку за определённый отрезок времени. На место стойки потом ставился кто-нибудь из ребят, чтобы он уже активно сопротивлялся передачам мяча, и тут уж дело было посложнее. Это только кажется, что играть в одно касание, или, как мы говорили, в стеночку очень легко.

Но «стеночка» и «одно касание» довольно-таки разные вещи. Стеночка - ты стукнул партнёру, к тебе от него отлетело. Другое дело - одно касание. Мяч бежит от игрока к игроку по замысловатой паутине, чтобы у соперника помутился рассудок, со скоростью электрического тока, как по проводам. Это уже полёт ментальных ассоциаций, когда из абсолютно различных сцен, складываемых непринужденно в целый матч, рождается совершенно неожиданная и прекрасная картина целого.

Десятилетия спустя, так стали играть испанцы, ставшие чемпионами мира.

Нельзя забить гол.

Можно забить мяч.

Забитый мяч в ворота называется «голом».

В ОТДАЛЕНИИ

Старик перебирал фотографии, которые называл «карточками», и на одной из них увидел мальчика в картузе с чёрным фибровым козырьком в форме гимназиста с металлическими пуговицами, которые поблескивали, наверно, в жизни тогда давно золотом, а на фотографии походили на оловянные, потому что не блестели. Сзади гимназиста были невысокие один к одному прилаженные, на взгляд вкусные, как пирожные, с украшенными карнизами и наличниками окон дома улицы, а у ворот одного из дворов стояла лошадь с белым пятном между острыми ушами.

Да, в то время лошадь привозила продукты в бакалею, расположенную в двухэтажном в стиле модерн доме на углу. Старик часто думал о здоровье лошади, сочувствовал ей, хотел уберечь от тяжёлой работы, чтобы не запрягали её в эту телегу, похожую на кузов полуторки. Но как помочь бедной лошади? У старика был дедушка, который в свои молодые годы носился по улицам в карете со скачущими лошадьми. Тех лошадей было не особо жалко старику, потому что карета была легкой, и дедушка старика, и лошади наслаждались видами уютных улиц и переулков. Счастливо сложилась судьба тех прекраснейших лошадей. Даже сердце от их красоты горит лошадиною страстью.

Смуглыми, тощими руками старик прикрыл лицо, испещрённое множеством печальных морщин, и, казалось, увидел всю свою жизнь в едином застывшем кадре какого-то невиданного доселе фильма.

Странное существо человек. Сегодня он есть, а завтра его нет. Какая-то постоянная видимость. Вот недавно он строил дом, а теперь там живут другие люди, такие же эфемерные, как строитель. Мало того, и сам дом куда-то подевался. Старик и с той стороны заходил, и с этой, но так и не увидел того до-

ма. Раньше говорили: я купил новую книгу. Теперь говорят: я выношу книги из дому, потому что негде повернуться. И так постоянно - что-то приносят и что-то выносят. Выходит, самое постоянное - это непостоянное. Постоянное приобретение, и постоянное расставание. Всю дорогу человек что-нибудь приобретает лишь для того, чтобы потерять. Но поскольку всё это растянуто во времени, то и называется «жизнью». Выходит, что человек вроде бы есть, но его нет.

- Всякое дело надо вовремя делать, - говорила мать, вздыхая и наливая чай.

- Некоторые дела вообще не стоит делать, - сказал отец, принимая чашку.

- А ты чего не пьёшь? - спросила мать у старика.

- Как же я буду пить, когда тебя нет, - ответил старик.

- Вот удивил родную мать! Как же меня нет, когда ты есть?

- Это надо тщательно обдумать, - сказал старик.

- Что ж тут думать, когда ты есть моя копия. Я же тебя выносила и родила.

- Я этого не помню, - сказал старик.

- Тут и помнить нечего. И так ясно, - сказала мать.

- Я понимаю, - смутился старик, - но не помню.

Содрогнулось сердце так, как растрavляют и надрывают сердце, как будто забилось сердце в трудный момент в жизни собственного сердца, когда у него захолонуло сердце, и он весь был с бьющимся на разрыв сердцем, словно рече безумец в сердце своем несть Бог с мертвецом внутри вместо сердца, поэтому сердце стало сильнее колотиться, постукивать так, как бьется пламенное сердце художника, словно у него сердце разорвалось, и он с сердцем хлопнул себя по лбу ладонью, то есть с таким замиранием сердца, что невольно дрогнуло сердце, и в этот момент чуть не умирала возлюбленная от сердцебиения, а у него колотилось в горле сердце, и он с бьющимся сердцем, с безумно колотившимся сердцем почувствовал, как затрепетало его сердце, увидев её, летевшую под такт сердца, и каждый взмах крыл её вбивал острый

гвоздь в его сердце, но он, скрепившись сердцем, сказал: «Люблю!» - с сердцем, поскольку в этих словах особенно дрожало у него сердце, это тот самый момент, когда сердце горит страстью, потому что любил он всем сердцем, но неосуществимость любви нестерпимым острием вонзилась в его сердце, он хотел излечить себя любовью своего неутолимого сердца, все силы этому отдавал так, как поэт носит в себе иной раз сердцевины целого, о чём с усмешкой подумал он сам о себе в сердцах, но обида сменялась в его сердце нежностью, ибо он опять видел любимую, и в этот миг снова чувствовал свежесть на сердце, понимая тем не менее, что сердцем его, как и прежде, овладеет робость.

Старик отчётливо видел себя, стоящего после гимназии на улице. Маленький, словно сейчас он такой же. Помнит себя ясно в маленькой комнате, сам себе маленький, а маленьком городе, в маленьком мире, с маленьким носиком, с маленьким ротиком, с маленькими глазками, с маленькими ножками и маленькими ручками. Как только маленькие сами стоят на ножках, не падают, как только маленькие ручки с маленькими пальчиками держат ручку со стальным пёрышком и выводят каллиграфически красиво буквы в тетрадке для прописей?! А ведь справляются! И маленькие глаза смотрели на маленькие часы на маленькой башне, не понимая ещё значения маленького времени в маленьком пространстве маленькой вечности. Маленькие каменные домики на маленьких улицах и в маленьких переулках перемежались маленькими деревянными домиками с геранями на окнах. В маленьких коммунальных квартирах жили маленькие люди в маленьких комнатах, толпились на маленьких кухнях и варили в маленьких кастрюлях щи из квашеной капусты с мозговой костью, так что острый сочный аромат разносился не только по всей маленькой коммуналке из 13 маленьких комнат, но и на всю маленькую улицу.

Обычный человек, погруженный в свои ежедневные труды и заботы, не видит не только плана своей жизни в полном объёме, но и плана бесконечного повторения жизней до него

и после него. Необыкновенный человек живёт и действует по плану вечности, дополняя этот план своими творениями. Старик это говорит к тому, что, как ему кажется, именно обычный человек, прикованный к своему времени, то есть временщик, безжалостно разрушил архитектурный облик центральных улиц Москвы, возведя убогие коробки без стиля и украшений на месте снесённых прекрасных небольших домиков, украшенных лепниной и колоннами, составлявших линию улицы, хранившую аромат ушедших эпох. Обычный человек не стремится создавать новое на новом месте, он лезет на всё готовое, и непременно поближе к власти.

На улице было тихо, стекла домов вызолотились утренним солнцем и весело отражали лучи его, все казалось чистым, умытым, один луч от стекла дома напротив, как от серебристого зеркала, ударил в лицо, старик зажмурился и, сделав два шага в сторону, увидел какими-то новыми глазами даль улицы и там - край синего неба над золотыми куполами церковки, выше которой небо из синего переходило в голубое, просветлялось, и, глядя вверх, старик вдруг почувствовал с волнением, что резко стал уменьшаться, вдавливаясь в землю, и голова у него немного закружилась, как будто жизнь стала раскручиваться в обратную сторону, в то время, когда весь трепет молодой жизни фокусировался на чем-то сладостно-неопределённом, предчувствуемом, сходящемся, в общем-то, к одному - к счастью, о котором каждый мечтает и думает, но мало говорит о нём.

Счастье увидеть себя маленьким. Столько счастья в один миг взгляда на остановленное счастливое время на счастливой фотографии! Тогда старик весь был переполнен прекраснейшей мечтой о чем-то прекрасном и в своей красоте не вполне ясном, и он был тогда счастлив. Как будто и не было многих лет с того счастливого времени, когда всё вокруг было в каком-то счастливом освещении, и самая сумрачная физиономия какого-нибудь советского служащего обращалась в счастливую, поскольку для счастья рождены все люди, и кто

из них по-настоящему счастлив, тот вполне может уверить себя в том, что он исполнил завет Божий на свете этом, потому что все одухотворённые люди, подобно всем святым, которые хоть и испили сполна чашу мученичества и страданий, тем не менее, были счастливы. Тут сокрыт великий смысл, который открывается не всем и не сразу, а спустя большое время жизни, когда понимаешь, что счастье находится в горе, что только в несчастьях нужно искать свое счастье, тогда оно откроется с такой силой, что содрогнёшься от вспышки молнии в своей душе.

- Сердце само по себе бьётся, или его кто заводит? - спросил трехлетний старик у дедушки.

- Само по себе биться сердце не может, - сказал дедушка.

- А как же оно бьётся? - спросил маленький старик.

- Бог им управляет, - сказал дедушка.

- А где Бог? - спросил трехлетний старик.

- В тебе, - сказал дедушка.

- Как? - удивился маленький старик.

- Есть такая книга, написанная Богом, о которой никто не знает. Там Бог написал, как и из чего тебя сделать. Все вещества мира в той тайной книге записаны. Бог соединяет эти вещества и получаешься ты.

Когда душа умылась белым снегом, то грешная душа оставила тело, и можно было сказать, что в это время душа была полна жизни, даже душа оказалась живее тела, а не то что расплывчатая душа или, скажем, страдающая душа, тем более, когда умирает в душах всякое чувство человечества, у которого - человечества - душа наполняется восторгом, доходя до того, что о ней можно сказать, что это в чистом виде тщеславная душа, но одновременно и прекрасная душа, когда хочется крикнуть: поцелуй меня, душа, но этого музыкальная душа не выдержит, скорее всего душа спрячется в самые пятки, как душа требует того в стихийные минуты, или попросит сочувствия между душами, только в этом случае душа бывает не встревожена ничем, а не то что, мол, не надо живой души, ведь

живая душа жизни потребует, а все знают, что живая душа подозрительна, хотя, быть может, смирится душа, не простая какая-нибудь, а избранная душа, о чём ни единая душа не подозревает, потому что душа поневоле жаждет покоя и поэтому душа прячется в халат, ибо душа не выдержит такого напора, который выдерживают другие души, здесь речь идёт о душе еще не примиренной, когда душа жаждет свободы, поскольку достойна этого, ведь душа незлобива, даже невинна, как душа младенца или как голубиная душа, когда при одном дуновении воздуха от крыл душа замирает.

В серой форме из-за берёз немец выходит. Старик опешил, и уже было хотел поднять руки вверх, но немец это сделал первым. Старик заметил на его груди подвешенную на шнурке губную гармошку. Увидев поднятые руки, старик проглотил комок в горле, чтобы что-то сказать. Но немец оказался чехом и опередил старика, вымолвив:

- Пускай меня, пускай. Я гармошка давай ты!

- Ладно, давай.

Немецкий чех снял с шеи гармошку и протянул старику. И ушёл туда, за берёзы, из-за которых вышел. Старик прислонил гармошку к губам, вспомнил «Элегию» Жюлья Массне и с этими звуками вернулся к своей энергоустановке, питавшей штаб дивизии.

В далеке далёком, в отдалении незаметен нимб судьбы значения. Нет от жизни долгой утомления - пусть она объята сеткой тления. Всё, что начинается, кончается, на конечной станции прощаются, снова возвращаются, встречаются, так из года в год по жизни маются. Даль зовёт всегда к себе далёкая - светится на солнце синеокая. Подпевает, акая и окая, песенкой пришла к тебе с востока я.

Нет дела старику до других, вовсе не думающих о нем, поскольку сначала он думал о самом себе, и даже думал про себя самодовольно, а иначе не смел и думать, потому что думает произвести хорошее впечатление на окружающих, нет, не бахвалиться, об этом он вовсе не думал, не считая себя ин-

фантильным, когда вместе с непорочностью оставляет и ум человека, постоянно думая, что «обо мне думали», которые живут в своих придумочках насчет каждого из нас, при этом полагая, как это всё ловко придумано, ибо не один он умный человек, который не скажет прочим, мол, вы и не думайте, что я один за всех думаю, когда подумал он со странною улыбкой и впал как бы в глубокую задумчивость, перекатывая в голове «я так и думал», или просто невзначай мелькнуло это в уме, но тотчас одумался, чувствуя, что в один миг крепнет ум, а как же ещё может быть, если в нём самом был и смысл и ум, хотя именно об этом он думал с грустью, когда лежал себе и думал - какой ты умный, то есть истинное существо, проникнутое умом и высокими стремлениями, за которые подчас можно угодить и в сумасшедший дом, а не жить у деда, человека больного, полоумного, жить в твои-то годы, нет, так нельзя, стыдно должно быть и очень тяжело, хотя дед живет в столице, где много умных, но вразуми сам себя, ты же можешь жить и у какой-нибудь женщины, поскольку, думается, каждая женщина может полюбить тебя за доброту и за ум, а если ей мало ума и доброты, то она всё равно поймёт рано или поздно, что ты умный и скромный человек, а при ее талантах, вкусе и уме она непременно это поймёт, ведь если она будет разбрасываться такими как ты, то выйдет большой урон для неё, потому что умным взглядом черных глаз увидит, что потеряла в твоём лице человека, умнее и любезнее любого другого, прямо-таки вместилище разума, которому, конечно, могут грозить, как и каждому человеку с большим умом, сумерки ума перед его умственным оком, но уж это просто уму непостижимо, и на уме-то у тебя всё, хотя не умею сказать, что женщину лучше не сыщешь, но умна, да не догадлива.

Старик шел в гимназию по пустынной старой улице. Люди все куда-то исчезли. А маленький старик шёл в гимназию. Здание гимназии в глубине пустого двора казалось мёртвым. Окна были пустынные. Двери были пустынные. Не было ни души. На колокольне церкви внутри двора, церкви, которая бы-

ла приспособлена под склад, висели электронные часы, зелеными цифрами отсчитывающими время. Поезд выскочил стремительно из тоннеля, не остановился, промчался пустым мимо. На станции никого не было. Конвейер эскалатора ма-нил к себе. Старик вступил на ступеньку, и поднялся к зданию гимназии, которое было мертво.

Наверняка каждый человек так или иначе задумывается о кратковременности жизни, поглощаемой прошлой и будущей вечностью, о ничтожности пространства, которое он сам наполняет. Кто поместил его сюда? По чьему распоряжению ему назначено именно это место, именно это время? Неужели каждый человек для себя есть всё, и с его смертью всё исчезнет? Что же делать, за что зацепиться? По-видимому, нужно познать самого себя. Если это не поможет разгадать загадку, то, по крайней мере, поможет хорошо направить свою жизнь.

Старик хотел эту жизнь направить, но она пересилила его и сама направила её куда надо. Да, он имеет определённые способности, но что значат способности в отсутствии прилежания, вот о прилежании и стоит задуматься, потому что способности способностями, но они становятся пустым звуком, когда нет самого простого прилежания, однако и прилежания недостаточно, чтобы чего-то добиться в жизни, поскольку и способности и прилежание как-то сами собой испарились, когда пошел в институт, даже не пошел, а поехал в институт на трамвае, чтобы ездить, не доезжая Яузы, туда пять лет, в Московское высшее техническое училище Наркомата просвещения РСФСР, бывшее императорское, для сессий, зачётов и экзаменов, и даже не заметил, как распределили в конструкторское бюро закрытого типа, в которое тоже сначала ездил на трамвае, а потом уже, когда построили, на метро, после скоротечного завтрака, который подавала ему жена, которую он сейчас хотел увидеть, но не увидел, потому что жена растаяла в воздухе отдаления, оставив по себе табличку с датами рождения и смерти, и между ними - прочерком, на Востряковском кладбище, хотел увидеть детей, их было у него трое, два сына

и дочь, но один сын спился и покинул сей свет в тридцать семь лет, а второй перестал с ним общаться, сделался диссидентом и уехал в 1974 году в Нью-Йорк, навсегда уехал, а дочь умерла в двадцать лет во время родов вместе с мёртвым ребёнком, а ведь надо было иметь способности, чтобы не попасть в это закрытое КБ, нужно было иметь прилежание, чтобы овладеть звуками и навыками игры на виолончели, когда его водили родители к известному музыканту-педагогу по виолончели, но из-за отсутствия прилежания и вместе с ним способностей покатился по штатному расписанию государственного обучения и работы.

Старик читал книги всю жизнь, но самой жизни как бы не видел. И в этом его упрекали друзья, купавшиеся в жизни. И вот случилось так, что купавшиеся в жизни давно умерли, а он, читатель, всё живет и живёт, дожил до 103 лет. Невероятно! Старик сам себе не верил, потому что вся жизнь прошла в одном и том же старом доме, построенном в 1876 году. И ничего в его жизни, казалось, не происходило. Так себе, учился, ходил на войну, женился, выпустил к жизни детей, работал, но самой жизни как бы и не заметил. Но вновь и вновь открывая, скажем, «Степного короля Лира», он видел в целостности и сохранности «казакин из зеленого сукна, подпоясанный черкесским ремешком, и смазные сапоги», или «нарочно ездил домой за железными круглыми очками, без которых писать не мог». И каждая любимая книга была переполнена жизнью, бессмертной жизнью, которую можно было повторять сколько угодно раз, стоило только отлистать страницы назад.

Дивизионная медсестра ухаживала за стариком в госпитале по случаю ранения. Она так ухаживала, что у старика под одеялом невольно вскочил внушительный член, приподняв одеяло, что заметила медсестра, сразу присевшая на край кровати, благо они были одни в боксе. Руки медсестры проникли под одеяло и прикоснулись к стволу старика, подобно пальцам виолончелистки к смычку. Затем она сбросила одеяло, подвернула подол халата, стянув с себя прикрытие низа,

перекинула ногу и села влажностью между ягодицами на член старика, воскликнув:

- Вот это Христосик!

Испытывая невероятное удовольствие от глубоких приседаний медсестры, старик вдруг вдумался в слово «Христосик».

- Как «Христосик»?

- Так у нас в селе хуй называют, - без всякого стеснений выпалила возбужденная медсестра.

И он сам связал всё в единую цепь, вспомнив дедушку с его планом жизни, с образом и подобием. Он опустил глаза, взиравшие до этого от страшного смущения в потолок, на волосатый лобок медсестры, из которого выглядывал довольно крупный клитор, похожий на его член. Стариком овладел ужас, но пересилив его, он прикоснулся безымянным и большим пальцами одной руки к клитору, а указательным пальцем другой начал слегка поглаживать миниатюрную "головку" клитора - несравненное место женского наслаждения, головку красную и возбужденную, которая, как и его член, стала еще сильнее увеличиваться в размере и ритмично сокращаться. Вот оно два в одном! И оттуда, куда входит мой Христос, вышел я, и оттуда вышел дедушка, и оттуда вышла медсестра, и оттуда вышел Шекспир, и оттуда вышел Пушкин, и оттуда вышел Иммануил Кант, и оттуда вышел вратарь "Динамо" Лев Яшин, и оттуда вышел Зигмунд Фрейд, и оттуда вышел дворник Абдула, и оттуда вышел Пётр Ильич Чайковский, и даже Достоевский, и оттуда вышел папа, и оттуда вышел Жюль Массне и все остальные без исключения.

- Господи! - вскричал старик, и кончил.

Только что, утром, перед окнами старика на фоне реки долго парил ястреб, закладывая большие круги, словно давая старику великолепное представление. Не длинные, но широкие, изогнутые каким-то томагавком крылья, растущие почти от самой головы, как бы не шевелились, лишь лёгкими едва заметными взмахами он поддерживал себя в прозрачном возду-

ном потоке. Рябоватая сталисто-каряя окраска переливалась веером в солнечном свете. Ястреб темнел, когда солнце скрывалось за облаками, и наливался новыми красками при его появлении. Старик зачарованно застыл у окна, наблюдая за редкой птицей в городе. Ястреб продемонстрировал все свои достоинства, а когда убедился, что старик хорошо и подробно разглядел его, с необычайной легкостью взмыл ввысь, и скрылся за облаками.

Золотые шары над черной решёткой ограды, как будто цветы рады, что мы увлажняем взгляды.

Говорить о том, что человек не может забыть своё прошлое, значит, говорить о памяти. Уж этот инструмент устроен так, что не может усилием воли быть уничтоженным. Магнитофон работает помимо воли человека. Он записывает всё подряд. Вся цепь прошлых дней содержится в памяти, и эту цепь можно назвать опытом жизни. Мгновение тут же становится прошлым. И человек, находясь внутри самого себя, чувствует себя наполненным до краев впечатлениями бытия и сознания. Устно он обсуждает все явления жизни, имеет на этот счёт свои суждения и твёрдые убеждения. Но вместе с угасанием его индивидуальной жизни исчезает и всё запомненное и прочувствованное им, как будто этого человека и не было. На девятый день душа отлетела, легкая и прозрачная, как облако.

ШАХМАТЫ

Опять шах. С матом.

Ну, скажите, кто не читал «Убийство на улице Морг» Эдгара По? Там рассуждения о шахматах стали бы хорошим подспорьем для тех, кто садится за шахматный столик в нетерпении начать передвигать фигуры:

«Шахматист, например, рассчитывает, но отнюдь не анализирует. А отсюда следует, что представление о шахматах как об игре, исключительно полезной для ума, основано на чистейшем недоразумении. И так как перед вами, читатель, не трактат, а лишь несколько случайных соображений, которые должны послужить предисловием к моему не совсем обычному рассказу, то я пользуюсь случаем заявить, что неприятная игра в шашки требует куда более высокого умения размышлять и задает уму больше полезных задач, чем мнимая изощренность шахмат. В шахматах, где фигуры неравноценны и где им присвоены самые разнообразные и причудливые ходы, сложность (как это нередко бывает) ошибочно принимается за глубину. Между тем здесь решает внимание. Стоит ему ослабеть, и вы совершаете оплошность, которая приводит к просчету или поражению. А поскольку шахматные ходы не только многообразны, но и многозначны, то шансы на оплошность соответственно растут, и в девяти случаях из десяти выигрывает не более способный, а более сосредоточенный игрок. Другое дело шатки, где допускается один только ход с незначительными вариантами; здесь шансов на недосмотр куда меньше, внимание не играет особой роли и успех зависит главным образом от сметливости. Представим себе для ясности партию в шашки, где остались только четыре дамки и, значит, ни о каком недосмотре не может быть и речи. Очевидно, здесь (при равных силах) победа зависит от удачного хода, от неожиданного и остроумного решения. За отсутствием других

возможностей, аналитик старается проникнуть в мысли противника, ставит себя на его место и нередко с одного взгляда замечает ту единственную (и порой до очевидности простую) комбинацию, которая может вовлечь его в просчет или сбить с толку».

Поднимаясь на свой шестой этаж на лифте, N успевал наметить план предстоящей партии.

В противовес первому ходу белой королевской пешки e2-e4 почти в каждой партии он предпочитал «игру от обороны», как говорят в футболе, и выбирал то защиту Каро-Канн, то французскую, а то и сицилианскую. Во французской защите он, как правило, отдавал инициативу белым двум слонам и преимущество по черным полям, а в порядке контрмер максимально использовал ферзевый фланг.

Всю жизнь N стремился к уединению, о котором Кьеркегор как-то сказал: «Сдается мне, я представляю собой нечто в роде шахматной фигуры, о которой противник говорит: заперта!»

Каждый человек знает, но, возможно, не отдает себе отчета в этом знании, что наиболее приятные минуты жизни были тогда, когда он находился во власти вымысла, а не в так называемой обычной жизни. Придумать себе свою собственную жизнь и жить в придуманном есть великое искусство редких счастливых, коим и был герой моего рассказа N.

Хотя, разумеется, и ему приходилось отсиживать лекции, и даже что-то конспектировать, причем как-то лениво и плавно, без суеты, точно так же, как без лишних усилий, сдавать экзамены и получать зачёты. И при этом постоянно читать под столом, положив на колени, а пристроившись в наиболее укромном уголке аудитории, и на стол читанного-перечитанного Кьеркегора, затопляя свой интеллект в глубинах музыкально льющегося текста о тех людях, допустим, которые выглядят смешными из-за своей вечной суеты, чего не допускал никогда N, поскольку был сформирован Господом сразу для жизни в эмпириях. N и выглядел эмпирически со своей вечной трубкой, которую любил набивать ароматным табаком из симпатичного

пакетика, используя при этом целую связку, подобную ключам, всевозможных трамбовочек, ну и, как и полагается, N был с бородой, довольно обширной, оттого что рыжеватые волосы на ней извивались кольцами и спиральями. Рано проклюнувшаяся лысина придавала N вид сформировавшегося учёного и навела трепет даже на маститых профессоров факультета. Быть может, N сформировал свой облик в 20-летнем возрасте для того, чтобы меньше ему досаждали, стеснялись его внушительной не по годам внешности.

Одевался он неброско, но всегда оригинально, облачаясь в некую вельветовую блузу толстовских времен и непременно обматывая шею шёлковым шарфиком. Впрочем, прав Кьеркегор, когда говорит: «Смешнее всего суетиться, т. е. принадлежать к числу тех людей на свете, о которых говорится: кто быстро ест, быстро работает. Когда я вижу, что такому деловому господину в самую решительную минуту сядет на нос муха, или у него перед носом разведут мост, или на него свалится с крыши черепица - я хохочу от души. Да и можно ли удержаться от смеха? И чего ради люди суетятся? Не напоминают ли они женщину, которая, засуетившись во время пожара в доме, спасла щипцы для углей? - Точно они спасут больше из великого пожара жизни!»

Незаметно для самого себя N стал доктором экономических наук. Это давало ему возможность бывать в своём отделе экономического прогнозирования машинного анализа два раза в неделю. N сам стал инициатором создания своего отдела, уловив идею механизации у Ботвинника. Сам N обожал шахматы, и его кабинет с шахматным столиком, погруженный в полумрак, с золотым плафоном торшера над партией, играемой с постоянными партнёрами - поэтом-переводчиком Z и артистом W, - была местом генерации интуитивных догадок о создании всего видимого и невидимого в мире одним всеильным разумом.

С полной уверенностью можно сказать, что шахматные столики относятся к предметам роскоши. Они создают в квартире

некий шик с элементами интеллектуальной атмосферы. И прежде всего тогда, когда такой столик сделан из массива натурального дерева и искусно оформлен ручной резьбой, где шахматные клетки инкрустированы ценными породами дерева, подчеркивающими его принадлежность к элитной мебели. Под столешницей в столик вделаны изящные узкие ящички для фигур.

А их имеется 6 видов: король, ферзь (в просторечии - королева), ладьи (тура), слоны (офицеры), кони и пешки. Белые и чёрные имеют по 16 фигур: по одному королю и ферзю, по две ладьи, по два коня и слона, и по 8 пешек. У каждой фигуры свои функции.

Главная фигура - король. Без короля играть нельзя по правилам. У каждой фигуры своя ценность. Но не у короля. Его нельзя бить, но ему можно поставить мат.

В шахматах существуют три основных периода: дебют - начало партии; миттельшпиль (от нем. миттель - середина, шпиль - игра) - середина партии; эндшпиль (от нем. энд - конец, шпиль - игра) - конец игры.

В начале партии оба соперника - белые и чёрные - располагают возможностью сделать первый ход из 20 возможных: 4 хода конями и 16 ходов пешками.

Артист W был в чёрном фраке, с бабочкой, в белых перчатках. Он стоял в проёме дверей. Луч света падал только на его лицо. Артист W вскинул руку и не своим голосом, отчего задребезжали стёкла в окнах, продекламировал целый каскад афоризмов о шахматах:

- Алёхин был ходячей энциклопедией русского мата. Первый принцип наступления: не позволяйте врагу развиваться. Моя партия с Господом Богом скорее всего закончилась бы вничью. Шахматы - просто опасная для психики вещь. Если не иметь внутренних сил к сопротивлению, то дело может кончиться дурдомом. Шахматы - это ловушка. Они сильнее человека. Шахматы, моя дорогая, это своего рода эдипова игра. Убей короля и трахни королеву, вот это о чем. Когда вы играете с Фишером, вопрос

не в том, выиграете вы или нет; вопрос в том, выживете вы или нет. В каждом государстве есть проходная пешка.

Н был в белом фраке с красной гвоздикой в петлице. Сидя в кресле в позе Роденовского мыслителя, он атаковал артиста W следующим образом:

- Почему афоризмы, сплошь и рядом публикуемые тут и там людьми, не способными говорить своим голосом, стремящимися изо всех сил казаться умнее самого умного человека, выглядят всегда фальшиво и вызывают улыбку? Объясню почему. Вы и не догадываетесь, что такое блеск ума. Ну, прежде всего, это идиоматическое выражение: «блеск ума». В два слова. То есть ум в данном смысле блестит. Не блещет, но именно блестит, как это бывает ночью с отраженной в реке луной. Она блестит. Так и этот ум, лишённый ума, блестит, отраженный в воде. Из этой ситуации не выходят, как на остановке из автобуса, а сходят. Иначе говоря, был ум, но с него сошли. Но ещё точнее, в ум не вошли, как в автобус жизни. Всё блестящее, естественно, подхватывается и размножается в виде афоризмов, которые всегда неестественны, и торчат поддельностью (фальшиво), как гвозди, прошедшие доску скамейки с тыльной стороны насквозь и торчащие остриём из сиденья сантиметра на четыре, чтобы вы не заметили их, и смело сели.

Н играл в шахматы превосходно, с почти бессознательной прямоотой теннисиста, на каждый удар отвечая таким изощренным и сильным гасом, что соперник онемевал.

В комнате несколько окон, все из которых, кроме одного, узкого и высокого, зашторены плотными шторами. В проеме узкого окна постоянно светится небо, меняющее в зависимости от времени суток свой цвет: от ультрамаринового до лазурного. Но проходящий сквозь узость окна небесный свет не в состоянии развеять полумрак комнаты, да он и не нужен шахматистам, поскольку глаза их отлично видят фигуры в золотом свете торшера.

Бывали вечера с застольем и цветами.

шахматы

Халатами пестрел огромный зал.
Кто занят был беседою с друзьями,
Кто собственное платье созерцал,
Кто попросту размахивал руками,
Кто трубку драгоценную сосал
И любовался дыма завитками,
Кто в шахматы играл, а кто зевал,
А кто стаканчик рома допивал.
(Джордж Байрон «Дон Жуан», перевод Татьяны Гнедич)

Но чаще N создавал себе покой, и освещал его собственным светом, исходящим по настроению то из весны, когда ему казалось, что он маленький идёт полевой дорогой среди огромных цветов, не имеющих названия, а то из осени, шелестящей тонким, почти прозрачным золотом листвы. Он любил свой старый дом, построенный в конце позапрошлого века между Покровкой и Солянкой, с большими комнатами и, конечно, как любили прежде строить, чтобы воздуха было много, не просто с высокими, но с очень высокими потолками. Под морёный дуб широкие панели и паркетные полы, немножко поскрипывающие при движении, создавали атмосферу остановленного времени, почти музейную, но в то же время по-домашнему тёплую.

Старые переулки притягивали N. Особенно он любит зимние прогулки, когда выглядывает солнце и идёт легкий снежок, серебрящийся, с золотистым отливом, очень медленно, осторожно прикасаясь к земле. Тогда как-то очень приятно возвращаться домой, в тепло, посидеть часок среди книг, пошелестеть страницами, подымить трубкой, почувствовать прилив радостного настроения и вкушать такую полноту жизни, какую можно пережить только бессознательно, как будто он только что родился, и просто живет, смотрит, дышит, да, просто живёт без всяких затей, но ничего в жизни не понимает, кроме того, что всё очень хорошо.

- Знак ведёт к знакомству, к узнаванию, - любил рассуждать N. - Иду одиноко по людной улице с лицами тысяч незнаком-

цев. Не мелькает в толпе знакомое лицо, потому что оно не помечено знаком привычного. Всюду условием узнавания служит знак, познакомившись с которым, привыкнув к которому, легко выхватываешь его взглядом из любой толпы. Улица тоже сама по себе открывает мне своё лицо по знакомству. Узнай меня, знакомый старый дом! Я жил в нём в детстве с маленьким лицом. Я появился, будто, ниоткуда, и направляюсь, вроде, в никуда. Меня не узнавали поначалу, затем привыкли, стали отличать от прочих лиц, доселе незнакомых. Всё дело в знаке, в узнаванье, в слове, которым обозначено лицо, стремящееся стать для всех знакомым. Известность извлекается из знака.

Разветвлённая система идей, идущая от одного слова - имени (непроизносимого) Господа.

С 1958 года над подобной задачей стал работать Ботвинник. Конечно, Ботвинник не дошел до понимания божественного творения всего видимого и невидимого. Он лишь локализовал свою задачу до создания машинного шахматиста.

В одной из телепередач в Голландии Макс Эйве, бывший пятым чемпионом среди шахматистов мира, спросил Михаила Ботвинника о возможности ЭВМ играть сильнее, чем лучший гроссмейстер. Ботвинник дал положительный ответ, суть которого заключалась в том, чтобы правильно поставить задачу.

- Надо тут правильно сыграть, - говорит поэт-переводчик Z, с проседью, закрывающей лоб челкой, один глаз у которого был явно больше другого, поднимая белого коня за гриву.

- Когда тебе всё время говорят: поступай правильно, - размышляет вслух над ситуацией на доске N, - то ты всё это время хочешь поступать неправильно. С точки зрения одного человека - ты неправильный. С точки зрения другого - правильный. Почему так не любят мораль? Да потому что моральный человек вычленяет из жизни только «плюс», а «минус» вовсе не упоминает. Вот поэтому в моральном человеке нет электричества. От этого почти все моралисты - злые люди, готовые прибить каждого, кто не соответствует уставу их минимальных представлений о жизни. Другими словами, чтобы создать иде-

альное художественное произведение, нужно сначала побыть чёртом, а потом уж возложить на своё чело венок ангельской славы.

- Это вы верно подметили, - согласился поэт-переводчик Z.

Часа в три дня N видит, как в начале древнего, даже ветхого Хитровского переулка экскаватор копает глубокую яму. Рядом лежат большие трубы. По обе стороны переулка, резко поднимающегося в гору от Подколокольного переулка, за редким исключением, стоят истинно московские домики позапрошлого века, а то и более раннего времени. Под ноги падают желтые кленовые листья. Пахнет увяданием не только осенним, но и вечным. Но вот переулок оглашается звонкими голосами молодежи. Эти голоса так контрастируют с московским «дном», что даже не верится, что когда-то в этом месте находило себе убежище всё отребье Российской империи. Пробежала одна стайка юношей и девушек. Следом - другая. Звенят наперебой юные голоса. Кто болтает с кем-то в коробочки. Кто-то извлекает из подобных коробочек ритмичную музыку. И в Малом Трехсвятительском переулке то же самое - многочисленные группки молодежи, спешащие, видимо, после лекций вниз к Солянке, к метро. Хитровка приютила институты и школы.

- Когда партия почти проиграна, то катишься, как под горку, - сказал артист W. Он был в грубой вязке лиловом свитере, с вывязанным орлом на груди.

Втянув бородатые щеки, смакуя трубку, N выпустил облачко синего дыма и, разглядывая орла на груди артиста, сказал:

- Идти под горку легче, чем в горку. На горке - берег, под горкой река. Вся Москва состоит из берегов и речек. Большой Демидовский переулок спадает к Елизаветинскому переулку, который катится вниз к Яузе с поворотом трамваев к Сыромятникам, к Курскому вокзалу. Трамвай идёт направо, я иду налево мимо «Туполева» к горбтому мостику на ту стороны реки. На набережной стоит разбитый спортивный автомобиль, въехавший в парапет набережной, рядом лежат два чёрных меш-

ка, стоят полицейские и небольшая группка зевак. Перехожу на ту сторону к Самокатной улице с красными кирпичными старыми строениями, в которых помещается ликёро-водочный завод «Кристалл». Фирменный магазин открыт. Никого нет. Полки забиты всевозможными сортами водки и прочих крепких напитков.

- Я там не был, - сказал артист W.

В следующей партии N играл чёрными фигурами.

В эндшпиле игра сложилась так:

... e1Ф+ (но не по артисту W - 1. ... Лс7 2. Ле5 e1Ф+ 3. Ле1+ Кре1 4. Крf4 Лг7 5. g5 Крf2 6. Крf5 Крg3 7. Крf6 Лг8 8. g6 =) 2. Ле1+ Кре1 3. Крf4 Лг2! (Вот этот ход не заметил артист W) 4. g5 Крf2 5. Крf5 Крg3 6. g6 Крh4 7. Крf6 Крh5 8. g7 Крh6 Черные выигрывают.

N говорит:

- Ходить по городу, всё равно что играть неспешно интересную партию, - сказал N, глубже затянулся трубкой и продолжил: - Обаяние прошлого не увядает, и я иду с каким-то детским чувством новизны всего того, что меня окружает. Вхожу в мой мир насквозь литературный, где улицы проходят сквозь века, где текст имеет вид архитектурный, где в камне дышит каждая строка. Прогуливаюсь беззаботно по старым улицам и переулкам, срезая углы через многочисленные проходные дворы, мимо каких-нибудь палат Шуйских и маленьких уютных церквушек.

- Как же вы ухитряетесь так тихо подойти к предметовой ситуации! - восклицает поэт-переводчик Z.

N с каким-то изменившимся взглядом, полным недовольства, даже раздражения, принимает из рук жены, сухощавой и какой-то фарфоровой женщины с разноцветными грустными и чуть влажными глазами, как будто она за минуту до этого плакала, женщины, у которой затейливые, очень эффектные украшения поблескивают на груди, на руках, в мочках маленьких чуть оттопыренных, нежно-розоватых ушей, китайскую чашечку чая, холодно благодарит, надменно откидывается к спинке

кресла и, видя, что жена исчезает, тут же меняет выражение лица на благожелательное и мечтательно рассуждает:

- Буду говорить притчами, как отец наш небесный. Стать шахматистом нельзя. Как нельзя за один день прожить всю свою жизнь. Плана своей жизни человек не знает. Он только догадывается, что кто-то его постоянно заставляет есть и любить. Любить - в смысле изготавливать себе подобных. Этому подобному тоже некогда задумываться о плане жизни, тем более, писать. А для того, чтобы играть, необходимо читать. Когда? Нет времени на это пустое занятие. В школу и из школы. В институт и из института. На работу и с работы. Всё в мире устроено так, чтобы не дать возможности человеку стать шахматистом. Некогда. Жизнь заедает. А когда у гробового входа знакомится с этим планом, оглядывая свою жизнь от конечной станции до начала, то говорит, что это судьба. Шахматистом надо быть. Красноармеец приходит с обыском и спрашивает: «Ты кто?». Отвечаю: «Шахматист». Красноармеец: «Вот садись и играй!».

- Вы хотите сказать, что в шахматы необходимо играть каждый день? - спросил поэт-переводчик Z.

- Любое существо тянется к полезному, - заговорил N, - получая при этом удовольствие, и всячески старается обходить плохое. Хотя иногда «плохое» может быть полезным, а «полезное» бесполезным. Тут всё дело в дозировке. Присматриваясь к людям долгие годы, я заметил, что каждый из них живёт исключительно в себе и для себя. Когда с человеком что-то случается, то это происходит, видимо, для того, чтобы удовлетворить потребность организма именно в этом «случае». Помимо нашей воли организм руководит как бы сам собой. Душа лишь наблюдает за организмом со стороны, не в силах перестроить его плановую работу.

- Даже не заметил, как моя ладья оказалась под боем! - изумился артист W.

И на это у N нашлась мудрая сентенция:

- В преградах (запретах) заключена сущность естественно-го отбора. Застывший в бездействии человек изо всех сил ста-

рается вернуться в прошлое, которое текло, как тихая речка, без преодолений преград. Никакие преграды не должны помешать доплыть до бессмертия души. Талант проявляется в преодолении всех преград. Гений тот, кто всю жизнь преодолевает преграды. Художественные открытия совершаются через преграды. Не осуществляются люди, пасующие перед первыми преградами, пусть даже такими простыми, как окрик учителя: «Из тебя ничего не получится!» Вот в этом окрике и кроется непреодолимая преграда. Преграды города. У города преграды. Хотел туда пойти, но там тебе не рады. Там не читаю книг, они для них преграда, как вечность, в своем непостижимом беге букв. Или еще проще, тебя всюду ожидают преграды.

Вечером позвонил артист, прокричал в трубку:

- Юрий Петрович умер!

Пришел играть в шахматы седовласый поэт-переводчик Z.

N делится с ним впечатлением, усаживаясь напротив друга друга в кресла за шахматным столиком:

- Только что вернулся с последнего представления Любимова под названием: «На сцене Юрий Любимов в гробу». Свет в переполненном до отказа зале Вахтанговского театра пригашен. Люди преклонного возраста наблюдают неотрывно за действием. На месте «Квадрата» Малевича - гроб с телом. От левого портала к правому, огибая гроб, нескончаемым ручейком струится очередь ещё живых тел, современников почившего. Я, как тело-участник представления, подошел к гробу, положил руку на бортик гроба, похожего на лодку, и довольно громко сказал: «Тело ушло, Любимов остался». Любимов писал свои спектакли телами актёров. Любимов был телесным писателем литературного театра. Душа, выраженная словом «Любимов», бессмертна.

N в жизни исполнял роль видного учёного. Актёр W был рождён, чтобы вживаться в чужие жизни и говорить не своими словами. Поэт-переводчик Z усердно перелагал чужие мысли с другого языка на свой, понятный.

Все общество на шахматы похоже:
В нем есть и короли и королевы,
Слоны и пешки, есть и кони тоже.
Ведь жизнь всегда игра. Однако все вы
Вольны в своих поступках. Ну так что же?..
Тем больше здравых поводов для гнева...
Но муза легкокрылая моя
Не любит жалить, милые друзья!
(Джордж Байрон «Дон Жуан», перевод Татьяны Гнедич)

- Как быстро мелькают люди, как стремительно исчезает время, - сказал поэт-переводчик Z.

N сказал:

- Забыл то, что хотел запомнить, даже на какое-то время запомнил, но потом забыл. Станным казался вопрос учительницы: «Ты выучил уроки?». Выучить - это запомнить, чтобы потом забыть. Обучение по памяти - это путь к полному забвению. Потому что всё то, что ты собираешься выучить, выветривается из тебя, а нужные знания находится вне тебя - в книгах и иных сохраняющихся в слове (знаке) устройствах. Нужно учить поиску нужной информации, знать, где эта информация сохранена. Память находится вне человека - это метафизическая программа, в которой сохранено всё то, что выработано великими умами за вечность.

Конечно, сама жизнь N напоминала игру в шахматы: он имел достаточно продуманный план на игру, однако план этот в равной мере зависел от действий соперника, а уж в саму жизнь, как её ни планируй - всегда вмешается судьба. Отклонения от плана бывают такими разительными, что запланировать их не было никакой возможности.

- А как она устроена эта вечность? - задал как бы сам себе риторический вопрос поэт-переводчик Z.

- Очень просто, - сказал N. - Лазерный пучок знаков-букв идёт от одного корня. Карфаген, Карское море, Каракас, Карелия, Каракорум, Карпаты, Карадаг, Каракумы, Корея, Кордильеры, Курилы с Курском, карамель с курагой, карман с курткой,

Карибское море, Каргополь, Карловы-Вары, кара, карабин, карабканье, каравай, караван, каравелла, каракатица, каракуль, каракульки, карамазовщина, карамель, карандаш, карантин, карапуз, карась, караул, карбюратор, карга, кардинал и далее на «кер», на «кор», на «кир», на «кур», а потом с начальной «Х» - хороший, Харьков и Херсон, что ближе к имени Господа - Херосу - Христу.

Н сидел за шахматным столиком и решал очередную шахматную задачу. Если взглянуть со стороны, то просто можно диву даваться, как это человек может в одиночестве сидеть несколько часов за шахматным столиком, почти не отрывая взгляда от фигур.

В этой игре на каждом шагу возникают преграды. Не сделав один шаг, не перейдешь к другому. Иногда подобные шаги играют с завидным спокойствием, как бы на автопилоте, он делает шаг, соперник отвечает своим, и эти шаги напоминают раскачивание маятника огромных напольных часов, этой шагающей с придыханием часовой башни, взад-вперёд. Вообще, если хорошенько разобраться, в шахматах каждый шаг становится каким-то вынужденным. Ибо соперник всё время сокращает для тебя возможность для маневра, и ты ищешь тот единственный ход, который приведёт тебя к будущему успеху. А будущее, известно, всегда есть величина постоянная.

Верхушке государственной властной пирамиды, устрашающе нависающей над толпой, государство, надо полагать, представляется игрушечным, как шахматный столик, в противном случае этой верхушке не хватало бы жестокой уверенности и какого-то хищного спокойствия для того, чтобы грубо и бессовестно подчинять своим глобалистическим воинственным расчётам судьбы обычных людей.

Мнится Н, он помнит этот день, поскольку мнение преумножало каждое мгновенье. Запомнил он, что был опять рассвет, был новый взгляд на старые предметы. Потом за ним последовал закат, минуя полдень середины лета. Н помнит всё. Был очень жаркий день, потом шёл дождь, стуча по жёлтым листь-

ям. И сразу выпал снег, и падал целый век. N помнит снег, который шёл при жизни. N накрепко запомнил дождь и снег, и жаркий день с рассветом и закатом. N помнит всё, как каждый человек запоминает стёршиеся даты.

Частенько артист W и поэт-переводчик Z играли партию точно так, как N её заранее рассчитал, всю до последнего хода. Они шли как бы на поводу у N, как люди идут на поводу жизни, больше подчиняясь животным инстинктам, нежели интеллекту, которого, при здравом размышлении у них не обнаруживается.

Помучившись, соперники делали именно тот ход, которые в своих расчетах и диктовал им N. При этом N, раскуривая трубку, не забывал, как бы напевая, произнести:

- Вся-то жизнь наша состоит из вынужденных ходов.

- Ну, вы играете! - восклицал в таком случае соперник, подразумевая при это всесильность N, какую-то несокрушимую мужественную силу вечного триумфатора.

- Вам шах! - оживился артист W.

- Шахуйте!

Вслед за этим из глубины квартиры раздался жуткий грохот. N побледнел, артист W зажмурился.

Они бросились по комнатам. В гостиной стекла широкого окна были выбиты.

Внизу на асфальте лежал труп жены.

ОБ АВТОРЕ

Писатель Юрий Александрович Кувалдин родился 19 ноября 1946 года в Москве, на улице 25-го Октября (ныне и прежде - Никольской) в доме № 17 (бывшем "Славянском базаре"). Учился в школе, в которой в прежние времена помещалась Славяно-греко-латинская академия, где учились Ломоносов, Тредиаковский, Кантемир. Работал фрезеровщиком, шофером такси, ассистентом телеоператора, младшим научным сотрудником, корреспондентом газет и журналов. Окончил филологический факультет МГПИ им. В.И.Ленина. В начале 60-х годов Юрий Кувалдин вместе с Александром Чутко занимался в театральной студии при Московском Экспериментальном Театре, основанном Владимиром Высоцким и Геннадием Яловичем. После снятия Хрущева с окончанием оттепели театр прекратил свое существование. Проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР в течение трех лет (ВВС) под командованием генерала, Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Автор книг: "Улица Мандельштама", повести ("Московский рабочий", 1989), "Философия печали", повести и рассказы ("Новелла", 1990), "Избушка на елке", роман и повести ("Советский писатель", 1993), "Так говорил Заратустра", роман ("Книжный сад", 1994.), "Кувалдин-Критик", выступления в периодике ("Книжный сад", 2003), "Родина", повести и роман ("Книжный сад", 2004), "Сирень", рассказы ("Книжный сад", 2009), "Ветер", повести и рассказы ("Книжный сад", 2009), "Жизнь в тексте", эссе ("Книжный сад", 2010), "Дневник: kuvaldinur.livejournal.com" ("Книжный сад", 2010), "Море искусства", рассказы ("Книжный сад", 2011). Печатался в журналах "Наша улица", "Новая Россия", "Время и мы", "Стрелец", "Грани", "Юность", "Знамя", "Литературная учёба", "Континент", "Новый мир", "Дружба народов" и др. Выступал со статья-

юрий кувалдин

ми, очерками, эссе, репортажами, интервью в газетах: “Известия”, “День литературы”, “Московский комсомолец”, “Вечерняя Москва”, “Ленинское знамя”, “Социалистическая индустрия”, “Литературная Россия”, “Невское время”, “Слово”, “Российские вести”, “Вечерний клуб”, “Литературная газета”, “Московские новости”, “Гудок”, “Сегодня”, “Книжное обозрение”, “Независимая газета”, “Ex Libris”, “Труд”, “Московская правда” и др. Основатель и главный редактор журнала современной русской литературы “Наша улица” (1999). Первый в СССР (1988) частный издатель. Основатель и директор Издательства “Книжный сад”. Им издано более 100 книг общим тиражом более 15 млн. экз. Среди них книги Евгения Бачурина, Фазиля Искандера, Евгения Блажеевского, Кирилла Ковальджи, Льва Копелева, Семена Липкина, А. и Б. Стругацких, Юрия Нагибина, Вл. Новикова, Льва Разгона, Ирины Роднянской, Александра Тимофеевского, Л.Лазарева, Льва Аннинского, Ст. Рассадина, Вадима Перельмутера, Нины Красновой, Маргариты Прошиной и др. Член Союза писателей и Союза журналистов Москвы.

В 2006 году в Издательстве «Книжный сад» вышло Собрание сочинений в 10 томах.

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Цветы	3
Князь	15
Закурить	28
ГУМ	47
Иззанимались	59
Восемь без половины	71
Тяжёлый крест	81
А то	94
Вырази точнее	102
Шопен	107
Яузский бульвар	117
Усталость	123
Генерал	133
Сто метров красного сатина и стихи Вознесенского	143
Широкий выбор	150
Сценарист	158
Назад	166
Скрещенье	176
1946	187
Справка	198
Клип	205
Флейта	213
Розы	222

Сестра жены	233
Онейросфера	247
Уединение	259
Невеста	271
Моя вечность	281
Внутри мысли	295
В одно касание	309
В отдалении	321
Шахматы	332
Об авторе	347

Юрий Александрович Кувалдин

1946

рассказы

Редактор Трифионов Ю. А.

ISBN 978-5-85676-147-3

ЛР № 061544 от 08.09.97.

Сдано в набор 13.10.16. Подписано к печати 27.10.16. Формат 84x108 1/32.

Бумага офсетная. Гарнитура "OfficinaSansCTT"

Печать офсетная. Уч.-изд. л. (авторских листов) 15,39. Тираж 300 экз.

Издательство "Книжный сад"
www.kuvaldinur.narod.ru